

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:  
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)  
А. Г. Байбородин (Иркутск)  
П. В. Басинский (Москва)  
А. В. Болдырев (Курск)  
А. В. Кирилин (Барнаул)  
В. М. Костин (Томск)  
А. К. Лаптев (Иркутск)  
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)  
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)  
М. А. Тарковский (Красноярск)  
М. В. Хлебников (Новосибирск)  
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов  
ответственный секретарь

Михаил Косарев  
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова  
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова  
редактор отдела художественной литературы

Кристина Кармалита  
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов  
редактор отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова  
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая  
Верстка: О. Н. Вялкова

**6/2020**

## Содержание

### ПРОЗА

<b>Александр ЛАПТЕВ. Итальянец.</b> Повесть. ....	3
<b>Светлана МИХЕЕВА. Роза, играй...</b> Повесть. <i>Окончание.</i> ....	67
<b>Дмитрий КОНОНОВ. Германия.</b> Рассказ. ....	104
<b>Евгений ГОНЧАРОВ. Магазин китайского чая, или Пропавшая Гуаньинь.</b> Рассказ. ....	118

### ПОЭЗИЯ

<b>Александр РАДАШКЕВИЧ. Карантинные строки.</b> Цикл стихотворений. ....	63
<b>Алена РЫЧКОВА-ЗАКАБЛУКОВСКАЯ. Жадит.</b> Стихи. ....	101
<b>Юрий БЕЛИЧЕНКО. Польша на ветру.</b> Стихи. ....	111
<b>Натура с птицей.</b> Надежда ПЕРМИНОВА, Наталья ПЕРСТНЕВА, Юрий ТАТАРЕНКО, Елена КЛИМЕНКО. Стихи. ....	133

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Лидия Зиедина: «Я тогда была ребенком...»</b> Интервью с племянницей Владимира Зазубрина. ....	136
<i>Новосибирскому государственному краеведческому музею — 100 лет</i> <b>Наталья МИНИНА. Улицы Ново-Николаевска: формирование и топонимика.</b> ....	148

### КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>Алла РАНСКАЯ. Сибирский поэт Иван Черкасов.</b> ....	162
<b>Елизавета МАРТЫНОВА. «Поэзия и музыка одна...»</b> <i>Размышления о современной молодой поэзии.</i> ....	170
<i>Книжная полка</i> <b>Анна ТРУШКИНА. Увидеть свет Твой...</b> ....	181
<b>Мария БУШУЕВА. Чувство счастья.</b> ....	183
<i>Картинная галерея «Сибирских огней»</i> <b>Евгений ПРОКОПОВ. Мир света, тепла и доброты.</b> ....	186
<i>Авторы номера</i> ....	191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Александр ЛАПТЕВ

## ИТАЛЬЯНЕЦ

*Повесть*

### Этап

— Закуривай, ребята! Разбирай табачок!

Сергей развел края довольно объемистого матерчатого мешочка и счастливо улыбнулся, глядя на золотистый табак, плотно утрамбованный под самую завязку. Смуглое широкоскулое лицо осветилось изнутри, он стал похож на ребенка, получившего любимую игрушку.

В вагоне вдруг воцарилась тишина, только железные колеса мерно стучали на стыках. Семьдесят пар глаз неподвижно смотрели на этокое чудо. На грязных изможденных лицах читались удивление, растерянность, недоверчивость. Но, похоже, все было взаправду. Такими вещами не шутят. С нар неуверенно поднялся один заключенный, за ним второй, третий, и вдруг все задвигались, заторопились по узкому проходу между деревянными лежаками и стойками, толкая друг друга, наступая на ноги соседям. К Сергею потянулись трясущиеся руки, на лицах обозначилось жалостное, а у иных — умильное выражение.

Сергей торопливо сыпал табак в каждую ладонь: этому, другому, следующему за ним... Что-то летело мимо рук, сразу несколько человек оказались на четвереньках и пытались собрать просыпавшееся с занозистых досок, по их спинам лезли другие... Сергей уже не улыбался.

— Полегче, друзья! — воскликнул он, встряхнув курчавой головой. — Не толкайтесь. Делитесь с соседями, а то не хватит на всех.

Вдруг толпа разом колыхнулась, словно ее прошел электрический разряд; послышались отвратительные чавкающие удары, ругань и чьи-то всхлипы, и перед Сергеем предстали три приземистые фигуры. Золотая фикса во рту, дебилные глумливые рожи, наглый и как бы остекленевший взгляд и у каждого финка — у кого-то за голенищем, а у кого и прямо в руках — для убедительности, стало быть.

— Чего вылупился? — молвил тот, что стоял посредине. — Давай свой сидор. Чего жописься? Или тебя перышком пощекотать? — Резко обернувшись, грозно гаркнул: — Э, фраерня, чего окружили мужика?



Быстро рассосались, пока я кому-нибудь кишки не выпустил. — И он поднял сверкающий нож с наборной рукояткой из красивого разноцветного стекла.

Сразу все попятились, головы поникли. Собрать кишки с пола никому не хотелось.

Сергей усмехнулся про себя. Это ему было знакомо. Сколько раз наблюдал он подобные сцены, когда несколько таких вот рож держат в страхе целую камеру политических или битком набитый здоровыми мужиками вагон, вот как сейчас. И никто не смеет пикнуть.

— Ну, фраер, не понял, что ли? Тебе что, уши прочистить?

Сергей медленно поднялся с нар, выпрямившись во весь рост, уверенно глянул на фиксатого. Тот опешил, увидев перед собой верзилу на полголовы выше и заметно шире в плечах. Но главное — он встретил твердый упористый взгляд. Почуял, что перед ним вовсе не фраер, не фуфло и что с кондачка такого не возьмешь. Такие открытия совершаются мгновенно.

Фиксатый отступил на полшага, на лице его обозначилась недоверчивая улыбка.

— А ты кто будешь? — спросил он хотя и развязно, но уже без прежней наглости.

— Меня Сергеем зовут.

— Я спрашиваю, какой ты масти!

Ножичек все играл в руке как бы сам по себе.

— Нет у меня никакой масти.

— По какой статье чалишься?! Ты чё, русского языка не понимаешь?

Понемногу к фиксатому вернулась прежняя уверенность. Он уже понял, что перед ним все-таки фраер, хотя и «битый».

Ответ Сергея подтвердил его догадку.

— Пятьдесят восьмая.

— А, контрик, все ясно! — обрадованно воскликнул фиксатый и, ослабившись, переглянулся со своими спутниками. Дело для тех было вполне ясное и они не понимали, чего фиксатый сопли разматывает. Давно бы сунул перо в бок этому черту. Вон стоит как столб и руки опустил. Ежели вдруг садануть его справа под ребро — не успеет увернуться, сразу ласты склеит. Не впервой...

Сергей видел эти оценивающие взгляды, понимал их значение. Когда он был матросом в керченском порту, он дрался, почитай, каждую неделю — и на ножах, и на кулаках, и чем придется. И еще никому не удалось свалить его с ног. Наоборот: это он сбивал противника одним ударом, так что за ним среди местной шпаны закрепилась слава силача и первого драчуна. Кончилось тем, что драться с ним вовсе перестали. Стоило какому-нибудь забияке узнать, кто перед ним, как он сразу утрачивал весь свой пыл и опускал руки со словами: «Это же Полундра!» (Такая у него была кличка.)

А ведь ему тогда не было и восемнадцати лет. Теперь, много лет спустя, Сергей почитал все это за детские шалости: кровавые драки на

ночном берегу в призрачном блеске звезд, поножовщину по малейшему поводу и без, обожающие взгляды чернобровых красавиц, из-за которых и происходило большинство столкновений. Все это заканчивалось синяками и выбитыми зубами — не более того. А если кого и подрезали, так не насмерть. Сами же помогали бывшему врагу зашивать рану обычными нитками — тут же, на берегу. Все были свои, жили на одной земле, ходили по одним водам и любили одних девушек — горячих южных красавиц со жгучим взглядом и нравом дикой кобылицы. Славное было время, не то что сейчас!

Фиксатый все смотрел на Сергея и никак не мог взять в толк, что у того на уме. То смотрит зверем, а то лыбится неизвестно чему. А чего тут лыбиться? Все предельно ясно.

— Давай свой табачок. Тут тебе не колхоз. На этапе свои порядки, — приказал он.

Сергей взвесил на руке наполовину опустевший мешок.

— Тут еще много осталось. Подставляй ладони, я тебе насыплю.

Фиксатый вытаращил глаза:

— Ты чё, олень, не понял? Мешок быстро дал сюда! Я повторять не буду.

Он поднял нож, словно бы готовясь ткнуть Сергею в глаз.

Сергей подумал секунду, бросил окрест два взгляда, а потом неожиданно убрал мешок за спину.

— Топайте отсюда! — проговорил спокойно. — Мой табак. Что хочу, то и делаю. Я лучше мужикам отдам.

— Ах ты падла, сука, фраер гнилой. Да я тебя щас...

Договорить он не успел. Голова его дернулась от резкого удара так, что захрустели шейные позвонки, и он рухнул под ноги своему обидчику. Приятель его также ничего не успел предпринять. Он привык пижониться со своей финкой да страшно ругаться перед «политическими», а драться ему вовсе не приходилось. Вот и растянулся во всю длину на загаженных досках. Морда его омылась кровью, половины передних зубов как не бывало. Третий экспроприатор, стоявший чуть дальше, вовремя сообразил, что дело худо. Не дожидаясь расправы, он попятился по узкому проходу, тараща глаза и крепко сжимая свой страшный нож, пара секунд — и он пропал из вида. Сергей не стал его преследовать. Он никогда не добивал поверженного противника. Это был его кодекс чести. За это его очень уважали в родном керченском порту.

По опыту Сергей знал: больше эта троица на рожон не полезет, и пайку не будет отбирать у соседей, и никого не порежет своими ножами. Да и как три отморозка могут запугать семьдесят взрослых мужиков? Ведь если позволять такое, так лучше вообще не жить! Так он и объяснил свои действия соседу по нарам — невзрачному лысоватому мужичку лет сорока, назвавшемуся Николаем Афанасьевичем. Тот был изумлен столь молниеносной расправой. Никак не ожидал от внешне спокойного и такого молодого парня подобной решительности и хладнокровия. Все никак



не мог поверить, что Сергей не из блатных и тоже сидит по политической статье. А когда узнал, что Сергей итальянец, — восторгу его не было предела.

— Как же это? — восклицал он с чувством. — Это ты к нам из самой Италии приехал?

Сергей грустно улыбался.

— Ниоткуда я не приехал. Мои предки перебрались в Россию еще при Екатерине. Осели в Крыму, и я там родился, под Керчью, до войны работал погонщиком лошадей в совхозе имени Сакко и Ванцетти. Слышали о таком?

— Нет, не слышал. То есть о Крыме, конечно, знаю. Цари там каждое лето проводили. Чехов тоже дачу имел, ему врачи прописали. А я так и не побывал ни разу. Теперь уж и не придется. А хорошо там?

Сергей испустил печальный вздох. Лицо сделалось грустным. Он опустил голову и произнес в сторону:

— У меня невеста осталась в Керчи. Дочку родила; говорят, на меня очень походит. Только я ее еще не видел. И что с невестой — тоже не знаю. А всех моих родных посадили — отца и двух братьев. Мать с сестрой выслали в Северный Казахстан. Тоже ничего про них не знаю. Живы ли? Писем от них нет. И мне не разрешают им писать. Так-то вот!

Николай Афанасьевич деликатно промолчал. Да и что тут скажешь? Подобные истории он выслушивал по десять раз на дню. Ничего не менялось в рассказах, везде присутствовали аресты, бессрочные высылки, разбитые судьбы, неизбежное горе. И все же этот случай был особенным. То все были наши люди, которым не привыкать. А тут целый итальянец, да еще такой вот сильный, бесстрашный, благородный. Благородство он приписал ему сразу и не задумываясь, еще когда он табак всем желающим раздавал. А уж когда бандюков покрошил — тогда уже всякие сомнения отпали. Это и есть настоящий человек — идеал, к которому нужно стремиться. Кабы все такие были, тогда бы не было ни горя, ни несправедливости. Никакое мурло не будет над тобой издеваться и никакая власть не страшна! К чертовой матери все эти сказки о терпимости и всеобщей любви! Не подставлять щеку под удар, а бить в ответ — наотмашь! — чтоб кровавые сопли и искры из глаз!..

Такие диковинные мысли проносились в голове у Николая Афанасьевича Карева — профессора философии, ученика и последователя виднейшего советского философа А. М. Деборина, — потратившего лучшие годы на объяснение мироустройства и поиски смысла жизни. Смысл этот вполне открылся ему прямо сейчас. Истина находилась рядом — он смотрел на нее во все глаза и не мог насмотреться. Он бы променял все свои познания, всю свою мудрость и свою судьбу на судьбу этого парня. Вот как надо жить на свете! Выходит, сам он всю жизнь занимался ерундой. Витал в облаках, зато когда приперло, то выяснилось, что он ни черта не может в этой жизни. Он обычная тварь, и правильно его гнобят разные уроды. Потому что заслужил! Сделал ошибку в ранней юности: по-

гнался за премудростью, когда надо было копить силы и пестовать волю. На такой вот случай, на борьбу за достоинство и самую жизнь.

Николай Афанасьевич долго крепился и наконец спросил:

— А ты не боишься, что тебе будут мстить?

Сергей с удивлением посмотрел на него:

— Кто — эти? — и он мотнул головой в угол, где копошились избитые.

— Нет, не эти. Недели через две мы прибудем в пересыльный лагерь. А там много таких типов. У них ведь спайка... в отличие от нас, — добавил он, понижая голос и словно бы стыдясь.

Сергей лишь отмахнулся:

— До лагеря нужно еще доехать. Да и что я такого сделал? Все видели, что они первые полезли со своими ножами. Их трое было. Что же мне, смотреть на них? Ждать, когда они мне кишки выпустят?

Он произнес это с такой убежденностью, что Николай Афанасьевич сразу и безусловно согласился: выбора действительно не было. Нужно было победить или погибнуть. О том, что Сергей мог просто отдать блатным свой табак, он даже и не подумал. Таково было воздействие той внутренней силы, которая так и лучилась из глаз его молодого друга.

## Сходка

Опасения Николая Афанасьевича были небеспочвенны. Уже на второй день после прибытия этапа на пересылку в Комсомольске-на-Амуре блатные собрали сходку. В лагерной столовой к Сергею подошел незнакомый парень и сказал, что после обеда его ждут в первом бараке. На вопрос: «Зачем?» — ответил: «Там узнаешь».

Сергей сразу все понял. Еще он понял, что если не пойдет, то за ним придут в его барак и будет только хуже. Но, главное, он не чувствовал за собой никакой вины. Поэтому спокойно доел свой обед и пошел туда, где должна была решиться его судьба.

Внешне первый барак ничем не отличался от второго (в котором разместился почти весь прибывший этап). Но внутри было гораздо уютнее — чище, просторнее, светлей. На всех шконках были одеяла с подушками, вдоль длинных деревянных столов стояли крепкие лавки. На столах разместились не только кружки и миски, но даже и бачки с кашами и супами. Глядя на все это богатство, Сергей невольно проглотил слюну.

— Чего хавло разинул? — обратился к нему уркаган с землистым лицом и волчьими глазами. — Выходи на середину. Будешь ответ держать перед братвой.

Сергей обвел взглядом присутствующих. Публика была весьма характерная, а в самом углу сидело несколько человек, разительно отличавшихся от остальных. На них были щегольские хромовые сапожки, добротные штаны навывпуск, а двое были с бородами (хотя и молоды на вид). И выглядели они не как заключенные, а как случайно забредшие





сюда люди. Лица у них были властные, но смотрели они лениво, с прищуром, словно оценивая: стоит ли их внимания все то, что они вынуждены лицеэзреть.

Сергей вышел на середину и увидел воткнутые в шконки ножи — множество ножей. Он понял, что если не добьется справедливости, то не выйдет из этого барака живым.

— Ну, рассказывай, гаденьш, как ты обижал мужиков в вагоне! — громко произнес все тот же урка с волчьими глазами. Как видно, он тут был чем-то вроде тамады.

Сергей набрал в грудь воздуха, хотелось сказать многое, но слова на ум не шли. Он все думал про ножи и про эти равнодушные лица с хищным прищуром. Он уже знал, что внешность бывает обманчива: за спокойными лицами могут прятаться звери, а бывало и наоборот: кто-нибудь страшный выходил на поверку сущим добряком.

Собравшись с духом, он поднял голову и хрипло произнес:

— Ты лучше скажи, кого я мог обидеть!

— Не прикидывайся! Давай рассказывай. Нам все известно, что творилось в твоём вагоне, как ты там шишку качал.

Сергей скосил глаза в сторону. Вот и эти трое шкодников тоже тут — сбоку на нарах пристроились. Смотрят с ненавистью. Дай им волю — накинутся и разорвут голыми руками.

Молчать было нельзя. Тяжело вздохнув, Сергей начал так:

— Если это действительно справедливый суд, то я не боюсь этих ножей. Они предназначены не мне. Я знаю, что ни в чем не виноват. Я никого не обидел зря, а если кто-то наклепал на меня, то он должен стоять на этом месте. Здесь, на пересылке, есть люди, которые ехали в нашем одиннадцатом вагоне, они сейчас во втором бараке. Позовите их и спросите: кого я обидел? Я догадываюсь, кто меня оклеветал. Тот, кому я морду бил как раз за то, что обижал мужиков. Я настаиваю позвать людей со второго барака, или пойдем все вместе туда. Пусть люди укажут, кто кого обижал. А так можно всю пересылку перерезать. — Сергей прищелкнул и узнал двух паханов из прежнего лагеря, прибывших тем же этапом. Он кивнул на них подбородком. — Да, кстати, вон сидят Курнай и Хрипатый. Они могут сказать, как я вел себя в лагере, обижал ли кого-нибудь. Я знаю только одно: на лбу написано — работать, а сзади — без выходных. Вот и все. Решайте.

Воцарилась тишина.

— У тебя все? — спросил «тамада». Потом обратился к сходке: — Какие будут мнения?

В эту секунду решалось все. С места одновременно поднялись Курнай и Хрипатый.

— Мы знаем этого фраера по Карбасу. Ничего плохого за ним не замечено. Наше мнение — разобраться подробно.

Шкодники при этих словах заерзали, стали быстро переговариваться. Видно было, что им хочется что-то сказать сходке, но они не решаются. Тут не комсомольское собрание.



«Тамада» подошел к паханам, почтительно склонился. Через минуту выпрямился и быстро пошел на свое место.

— Решение такое. Сходку не закрывать, пока не выясним всю правду.

Все разом зашумели, задвигались. Стали подниматься с мест, но никто не уходил. Все ждали развязку, предчувствуя что-то необычайное.

Хрипатый, Курнай, «тамада» и Сергей отправились во второй барак. Паханы решили, что на Хрипатого и Курная можно вполне положиться.

Трое авторитетных уркаганов без всякого предупреждения ввалились во второй барак. Заключенные (а это была сплошь пятьдесят восьмая статья) со страхом смотрели на вошедших, ожидая от них какой-нибудь пакости типа отбора денег, шмотья, жратвы. А может, пришли набирать шнырей на уборку барака. Или проиграли кого-нибудь в карты, или еще какая беда. От блатарей всего можно ожидать.

Вперед выступил Хрипатый. Обвел всех тяжелым взглядом.

— Ну что, мужики, рассказывайте всё про этого парня. Все, что знаете, — хорошее и плохое. Только, чур, не врать. За вранье ответите! — и указал на Сергея, стоявшего чуть в стороне.

Сергей вглядывался в лица своих товарищей. «Неужели не скажут, как все было?!» Теперь он боялся не расправы, а боялся предательства товарищей — тех, за кого он вступился, рискуя своей жизнью.

Из самой гущи протиснулся Николай Афанасьевич:

— Я все видел! — громко произнес он. — Расскажу, как было. Мне терять нечего.

И он быстро изложил то, о чем все знали в этом бараке: как Сергей получил от своего брата на пересылке богатую посылку, и как он делился хлебом и табаком со всем вагоном, и как трое мерзавцев хотели забрать себе табак, а до этого отнимали у соседей шмотье и продукты. Грозилась порезать, ежели кто пикнет. Но Сергей не побоялся и дал одному в зубы, а потом и второму тоже. После этого в вагоне до самого конца этапа был порядок, все получали свои пайки и все было по справедливости. Это могут подтвердить все присутствующие.

Произнеся столь длинную речь и задохнувшись в конце, Николай Афанасьевич обвел всех торжествующим взглядом, а потом быстро исчез в толпе. Хрипатый выдержал паузу, потом спросил всех сразу:

— Правду он говорит?

— Правду, правду! — закивали сразу несколько голов. — Мы все свидетели, так оно и было. А вы приведите сюда этого друга, которому Серега морду бил. Пусть сам скажет, как все было.

Хрипатый лишь отмахнулся:

— Мы его сами спросим. Пошли обратно, братва ждет.

Когда они вернулись в первый барак, там было по-прежнему тихо. Урки шушукались промеж собой, а в углу паханы курили папиросы и прихлебывали черный, как деготь, чифирь из алюминиевых кружек. Лица их были сосредоточенны, словно они делали важное дело.



Хрипатый, Курнай и «тамада» сразу направились к ним. Советские длилось несколько минут, говорили приглушенными голосами, причем паханы все больше молчали и слушали, а говорили Хрипатый и Курнай. «Тамада» не произнес ни слова, только усиленно кивал, когда паханы переводили на него немигающий взгляд.

Наконец все слова были сказаны. Решение принято. Вперед снова выдвинулся «тамада». Он вышел на середину и стал кого-то высматривать на нарах.

— А, вот вы где! — воскликнул. — Ну-ка иди сюда. Да, ты. Иди сюда, Жорик, а мы на тебя полюбуемся.

К нему с видимой неохотой подошел тот самый тип, которого Сергей ударил первым и который пугал его финкой. Теперь в руках у него ничего не было и выглядел он откровенно напуганным. Он уже понял, что дело его проиграно, и думал лишь о том, как бы полегче отделаться. Физиономия его постепенно приобретала жалкое выражение.

— Ты говорил вора, что этот фраер обижал в вагоне мужиков. Говорил? — спросил «тамада».

Фиксатый стоял, опустив голову.

— Ну, что молчишь? Язык откусил?

Фиксатый утробно хрюкнул, приподнял голову:

— Он обижал нас троих, а мужиков не трогал.

— А за что он тебе в рыло заехал, можешь рассказать?

Фиксатый снова опустил голову.

Все так и поняли: сказать ему нечего.

— Будешь говорить? Или лучше спросим твоих корешей?

С нар выгаташили двух его друзей. Те страшно трусили, но в какой-то момент сообразили, что всю вину можно свалить на фиксатого, который был у них вроде атамана.

В бараке стало тихо. Паханы сделали знак «тамаде», и тот направился к ним. Через минуту один из паханов поднялся на ноги и объявил:

— Перекур на пять минут.

Сергей подивился такому решению. Ведь все было ясно, чего тут думать? Но еще больше он удивился, когда по истечении пяти минут «тамада» при всеобщем внимании объявил решение сходки:

— Раз цыган ложно обвинялся, значит, вопрос отдается на его усмотрение. Как он захочет, так и будет.

Сперва Сергей ничего не понял. Что значит: как захочет, так и будет? Но все разъяснилось тут же. К нему приблизился Хрипатый и подал финку, остро отточенное лезвие хищно блестело.

— Бери, цыган. Делай гада!

Сергей отрицательно помотал головой:

— Я не могу. Может, я чего не так сказал. Вы уж извините. Я всех ваших правил не знаю. Но убивать не буду.

Неспешно встал со своего места вор по кличке Васек Дипломат:

— Ты правильно поступаешь, цыган. Но ты не учел одного: как бы он поступил на твоём месте. А он не стал бы искать человечность, а взял

бы финку и порешил тебя не задумываясь. Но это дело твое. Мы разбирали по справедливости, хоть ты и молодой, но кое-кто знает тебя как правильного фраера. Может, ты передумал и не станешь проявлять мало-душие с этой гнидой? — И он в упор посмотрел на Сергея.

Сергей ответил не раздумывая:

— Пусть его совесть убивает, а я не стану пачкать руки. Думаю, что он и сам все понял.

Стало очень тихо. Паханы снова стали о чем-то шептаться. Наконец поднялся один из них — невысокий крепыш с аккуратной бородкой и рыжими усами. Он объявил высоким голосом, ни на кого не глядя:

— Воровская сходка приняла решение помириться, чтобы в дальнейшем такое не повторялось.

И это был действительно конец сходки. Дело на этот раз закончилось без кровопролития.

К Сергею подошел фиксатый, протянул руку, на глазах его были слезы:

— Прости меня, цыган, я виноват перед тобой. Но больше это не повторится. Будем корешами!

— Только честными! — ответил Сергей, крепко пожимая протянутую руку.

Фиксатый пошел прочь, стараясь ни на кого не глядеть. За ним крадучись последовали его кореша. Вся троица походила на побитых собак.

Сергей постоял некоторое время, но, видя, что никто им больше не интересуется, пошел в свой барак, где его ждали товарищи.

## На пересылке

Сергей сделался местной знаменитостью. Такого еще не бывало, чтобы фраер ударил урку и это сошло ему с рук. Дело обычно даже не доходило до сходки, а отчаянного малого резали или во время драки, накидываясь всей кодлой, или в бараке на шконке в первую же ночь. В лагере негде было укрыться от блатных — это все понимали. Победить в этой неравной борьбе было нельзя. Тем поразительнее было случившееся. Урки, в свою очередь, были удивлены поступком Сергея, когда он отказался резать фиксатого. Любой из них сделал бы это не задумываясь — для утешения обиды, а главное — для укрепления своего авторитета среди воров. В этой среде не было ничего хуже и позорнее душевной слабости. А доброта и покладистость среди воров считались признаками слабости. Жестокость, переходящая в садизм, бесшабашность и бесчувственность — вот набор качеств, гарантирующих уважение и почет среди этой публики.

Однако «цыган» (так они окрестили Сергея по своей воровской традиции) чем-то им понравился. То, как он вел себя на сходке и как вломил двоим уркаганам — только сопли полетели! — все это не могло не вызывать уважения у людей, признающих лишь грубую физическую силу. Возможно, они почуяли в нем своего. И возможно также, что они не



очень ошибались в своих оценках. Дальние предки Серджио Паскалеви-ча Де-Мартино, жившие на берегах Средиземного моря, отнюдь не были ангелами. Они становились контрабандистами (среди рыбаков это вовсе не считалось преступлением), корсарами. Они были просто вольными людьми, сроднившимися с морем и буйной южной природой, — такие же непосредственные, шумные и веселые, ценящие справедливость больше самой жизни. Так уж сложилось. Серджио был достойный сын своего народа, дальний потомок отважных и свободолюбивых рыбаков.

Все это безотчетно чувствовали. Сергей (как звали его окружающие) был высок и статен, имел смуглую кожу и густые черные волосы. Смотрел всегда в глаза собеседнику, очень пристально и прямо. Бывалые люди по одному только взгляду определяли в нем человека твердой воли и отчаянной храбрости. Правда, по этому взгляду нельзя было сказать, добрый он или злой, великодушный или бесчувственный. Но эти качества сказывались в поступках. В лагере ничего нельзя скрыть от окружающих. Человек тут весь как на ладони — со всеми потрохами. Прежние заслуги — должности и звание, былой почет и успешная карьера — ничего не значили в этом подземном мире. Человека в лагере просвечивали сотни взглядов, и приговор был всегда безошибочен. Так же было и с Сергеем. Он и сам чувствовал изменившееся отношение к себе. Урки, завидев его издали, чему-то лыбились, а некоторые делали знак рукой, как старому знакомому. А политические (которых на пересылке было раз в десять больше) — те смотрели чуть не с испугом. Лишь ближайšie знакомцы видели в нем того, кем он всегда и был, — славного малого, своего парня, на которого можно положиться в трудную минуту, который не подведет, не продаст и не бросит, даже если это будет грозить ему гибелью.

— Сергей, а за что тебя арестовали? За версту же видно, что ты не политический! — спросил Николай Афанасьевич, когда теплым солнечным днем они сидели на завалинке своего барака. Было воскресенье, заключенным дали выходной. В пересыльном лагере работы немного, все-таки не прииск и не касситеритовый рудник. Это ждало их впереди.

Сергея многие спрашивали о причинах ареста, и он каждый раз отделялся скупыми фразами. Да и чего тут рассказывать? Вся пятьдесят восьмая статья сидела ни за что — все это прекрасно знали. И все-таки у каждого была своя история, своя душевная боль, своя кровоточащая рана. Но не каждый согласен был рассказать правду о себе. Слишком тягостны были воспоминания. Да и какой в том толк? Рассказы эти ни к чему не вели. А беречь душевные раны — себе дороже.

Однако на этот раз Сергей решил поделиться своей историей. Перед ним был человек уже немолодой, повидавший многое и чем-то ему очень симпатичный. Он раньше не встречал таких людей. Да и где он мог их встретить? Ведь он даже начальную школу толком не окончил. Зато рассказывать умел не хуже других. Русский язык был для него родным. Он впитал его, можно сказать, с молоком матери. И вся семья его говорила на русском.

— Меня арестовали пятого марта сорок третьего года, — начал он свой рассказ. — Мы с семьей жили в селе Спасское, это в Казахстане, в Акмолинской области. Нас выслали из Керчи в январе сорок второго. Тогда наши войска неожиданно для немцев высадили десант в районе Камыш-Буруна и выбили фашистов из Керчи. Мы сперва обрадовались, думали, что закончились наши мучения. При фашистах мы всей семьей прятались в каменоломнях за городом. Сильно голодали, холодно было. Зима все-таки. Однажды меня чуть не расстреляли. Я пошел ночью в город за продуктами. Там меня схватили полицаи. Подумали, что я еврей. Поволокли в комендатуру. Я уж решил, что все, каюк. Но мне удалось убежать. Там у нас был консервный завод, его разбомбили, одни стены остались. А напротив был узкий проулок, он выходил на берег моря. До войны там, на берегу, ремонтировали деревянные суда. Место это мне было хорошо знакомо. Когда мы проходили мимо, я резко рванулся и побежал со всех ног. Полицай кричит сзади: «Стой! Стрелять буду!» И выстрелил несколько раз. Но не попал. Я молодой был, верткий. Мне ведь еще не было восемнадцати. Пробрался знакомыми проулками и выбрался на окраину города. Так и спасся тогда. А наши, когда пришли, обвинили нашу семью в пособничестве немцам. На меня один знакомый донос написал в НКВД, что я хвалил фашистов, ждал их прихода.

Николай Афанасьевич при этих словах с недоумением посмотрел на Сергея:

— Ты это точно знаешь?

— Знаю. Мне следователь показал эту бумагу, перед тем как отпустить.

— Так тебя отпустили?

— Конечно! А за что меня было арестовывать? Я же еще совсем пацан был. Мы с этим парнем, который бумагу на меня накатал, любили одну девушку. Ее Тосей звали. Так она меня выбрала, а ему дала от ворот поворот. Вот он и разозлился. Решил мне отомстить.

Николай Афанасьевич лишь усмехнулся:

— Знакомая картина! И все-таки я не понимаю, как же тебя отпустили?

— Все очень просто. В те же дни вышло постановление о выселении из Керчи всех итальянцев в двадцать четыре часа. Ну и решили, что с меня будет этого довольно. И всю нашу семью посадили в грузовики и отправили в Камыш-Бурун. Оттуда на пароходе в Новороссийск. Там мы прожили трое суток. Затем нас повезли в теплушках в Баку, потом пароходом до Красноводска, а уж оттуда ехали целый месяц в товарных вагонах, сами не зная куда. В начале марта нас привезли в город Атбасар Акмолинской области. Нашу семью распределили в колхоз «Заветы Ильича». Там я проработал до осени. Осенью меня вызвали по повестке в военкомат и направили в трудовую армию, в Караганду. Там я работал в шлак-карьер на погрузке угля. На работу нас водили под конвоем. Кроме итальянцев там были поляки и немцы Поволжья. Нас подозревали в измене, хотя все мы родились и выросли в Советском Союзе и другой



родины не знали. И арестовали меня уже там, ровно через год — пятого марта. Посадили в камеру. Спрашивают, за что взяли, а я не знаю, что сказать. Не было за мной никакой вины. Только одно и есть, что я итальянец. Отца моего тоже арестовали и двух братьев — Франческо и Джузеппе. Я потом узнал, что все они получили по десять лет. С Франческо я встретился на пересылке в Карбасе. Это он мне перед этапом дал тот табачок, из-за которого вся заварушка случилась.

Николай Афанасьевич кивнул с довольной улыбкой. Вспоминать об этом было приятно.

— Ну, а что дальше было? — спросил он. — Что тебе следователь предъявил?

— Сначала спрашивал, знаю ли я Италию, бывал ли за границей, имеются ли у меня там родственники, и все прочее. Я на все вопросы ответил отрицательно. Не был, не знаю, связи ни с кем не поддерживаю. Даже языка итальянского не знаю. Какие уж тут связи! Тогда следователь говорит: а теперь рассказывай, какие ты вел антисоветские разговоры. Я снова отвечаю, что никаких разговоров не вел. Тут он вскочил со стула, будто его ужалила оса, и стал размахивать пистолетом у меня перед носом. Стал кричать: «Врешь, фашист, будешь говорить, что я захочу! Понял меня? Еще раз повторяю, если не понял. У нас времени еще много. Это только цветочки, а ягодки будут впереди!» Потом он успокоился и дал мне закурить. Предупредил, чтобы я в камере никому не болтал о том, что было, и что он все равно об этом узнает, потому что у него везде свои люди. В камеру меня привели уже под утро и сразу объявили подъем. А днем спать мне не давали, один раз я уснул, так меня в карцер таскали. Так оно и тянулось недели три. Ночью допросы и угрозы, а днем спать не дают. Я уже дошел до точки. Ничего не соображал, не мог на ногах стоять. Галлюцинации у меня начались, всё пауки мерещились, большие такие! А следователь все подначивает: подпиши протокол да подпиши, и все сразу закончится. Меня накормят и спать дадут, в отдельную камеру устроят. И допросов больше не будет. А будет суд, на котором мне дадут лет пять, не больше, по моей молодости. И сразу же отправят в лагерь на вольный воздух, где я искуплю свою вину, потом вернусь к семье и буду дальше жить!

— Они всем это обещают, — заметил Николай Афанасьевич.

— Вот-вот. Я и поверил. Да и что мне оставалось? Меня ведь пока еще не били. А многих из нашей камеры избивали на допросах. Били вдвоем, втроем, да так, что некоторые потом умирали прямо в камере среди ночи. А я еще молодой был. Не хотелось умирать. А следователь был хитрый, то добрым прикинется, то расстрелом пугает. Горлачев его фамилия. В общем, уговорил он меня подписать протокол. Сперва накормил обедом из столовой прямо у себя в кабинете, а потом подsunул допросные листы, чтобы я их прочитал и на каждом расписался. Пришлось сказать ему, что я неграмотный и прочитывать ничего не могу.

Тогда он засмеялся, взял в руки папку и стал читать, что там написано, иногда поглядывая на меня поверх листов и проверяя, как я воспринимаю.



А мне уже было все едино. Я помнил его обещание про отдых и про скорый суд, где мне присудят пятерик. И я ведь понимал, что он не все читает. Как тут проверишь? Приходилось полагаться на его честное слово.

Николай Афанасьевич, не выдержав, помотал головой, будто споря с кем-то невидимым. Лицо его сделалось жестким.

— Да ты что! Разве можно верить следователю на слово? Ему ведь только и надо — под расстрел человека подвести. Чем больше смертных приговоров, тем ему лучше! У них ведь там план по расстрелам. Они соревнуются друг с другом, кто больше врагов народа отправит на тот свет!

Сергей испустил вздох.

— Так все и было. Только я тогда этого не понимал. А если бы и понимал — что бы это изменило? Измордовали бы меня на следствии, выпотрошили, и все одно кончилось бы тем же самым.

Подумав, Николай Афанасьевич согласился:

— Это тоже верно. Видел я и подписавших признание, и не подписавших — все одинаково получили по десять лет, а многих расстреляли. Но расстреливали больше тех, кто подписал признание. У них на этот счет была установка. Это еще Вышинский вывел такой закон, что обвиняемый должен признать свою вину и этого признания будет достаточно для обвинительного приговора. А все остальное неважно. Вот следователи и старались выбить признания из невинных людей. Ведь, кроме этого признания, им больше ничего не нужно было — ни доказательств, ни свидетелей, ни орудия преступления, ни мотивации. Повезло тебе, что жив остался!

— Это верно, — подтвердил Сергей. — Мне ведь сперва вынесли смертный приговор. Судила меня выездная сессия военного трибунала Петропавловского гарнизона. Суд проходил в местном клубе НКВД, при закрытых дверях. В зале, кроме судей и охраны, никого не было. Я, конечно, сразу отказался от признания вины, сказал, что меня обманом вынудили подписать признание, что я неграмотный и даже не знаю, что в протоколе написано. А судья мне отвечает, мол, вы все, как попадете на скамью подсудимых, так говорите, что ни в чем не виноваты и что вас оговорили. А на самом деле есть неопровержимые доказательства моей вины. Судья сказала, что я занимал большой пост (это притом, что я простой матрос и мне не было тогда и двадцати лет) и что я делал темные дела и вовлек в преступную деятельность множество народа. И тому есть свидетели — братья Козловы. Их тоже вызвали в суд и допрашивали. Я их знал, оба были из трудармии, жили в моем бараке. Вместе на работу ходили.

— И что же они сказали?

— Их вызывали по отдельности. Старший брат сказал, что я ничего не говорил против советской власти, а когда судья сказала, что в деле есть его показания, он ответил, что следователю Горлачеву он ничего не говорил, а только слушал, что тот читал из протокола. А от меня он никогда не слышал антисоветских разговоров. Потом вызвали младшего брата, и тот сказал судье, что ничего плохого не слышал от меня. После этого





судья объявила перерыв, а минут через двадцать меня снова завели в зал. Вошли судьи, сели за стол, посмотрели в бумаги, и судья сказала: «Подсудимый, встать!» Я с трудом поднялся, голова от волнения кружилась. Судья прочитала вступление, а потом объявила решение суда: «Подсудимый Де-Мартино Серджио Паскалевич приговаривается к высшей мере наказанию — расстрелу». Потом повернулась ко мне и спросила: «Ну что, судом довольны?» Что я мог ответить? Пол подо мной закачался, стало трудно дышать. Ноги подкосились, и я опустился на скамейку. Взглянул на судей и увидел слезы на глазах женщины из состава суда. Она отвернулась, заметив мой взгляд. Солдат, стоявший сзади, приказал: «Смертник, ведите себя спокойно!» Так я стал смертником. Какое жуткое слово! Я тогда думал, что меня сразу поведут на расстрел, прощался с жизнью. Но потом ко мне в камеру пришел адвокат и уговорил подписать кассацию о помиловании. Я сначала не хотел, сказал адвокату, что пусть пишет следователь Горлачев, который подло обманул меня. Но потом все же поставил свою подпись. Адвокат ушел, а я стал ждать решения. В камере смертников я провел два месяца, каждую минуту ожидая расстрела. Особенно тяжело было по ночам, когда приговоры приводили в исполнение. Я, помню, вздрагивал от каждого шороха. Надзиратель проходил по коридору, а я вскакивал, мне казалось, что идут за мной. Бр-р-р! Жуткое дело. Никому такого не пожелаю!

Сергей опустил голову и весь погрузился в воспоминания. Лицо его потемнело, щеки набрякли.

Николай Афанасьевич тронул его за плечо:

— Ну же, ты чего? Ведь не расстреляли же!

Сергей поднял взгляд и несколько секунд смотрел, как бы не узнавая. Потом брови его дрогнули, лицо оживилось, и он медленно растянул губы в улыбку.

— Верно, не расстреляли. Заменяли расстрел десятью годами. Только я после этого едва не ослеп. Когда меня вывели из камеры смертников и объявили новый приговор, я вдруг перестал видеть. Думал, так и останусь слепым навеки. Положили меня в больничку, а через три недели выписали. Зрение вернулось. Врач сказал, что это от пережитого потрясения, а еще оттого, что я долго не видел дневного света. Меня ведь за эти два месяца ни разу не выводили на прогулку. Так и сидел впотьмах, как крот. Вот и ослеп. Да еще спал на цементном полу без всякой подстилки. Бока себе застудил. Я уже под конец хотел, чтобы меня поскорее расстреляли.

— Понятно, — протянул Николай Афанасьевич. — А что дальше было?

— Дальше? Да ничего особенного. После больницы меня отправили этапом в лагерь на станцию Жарык. Там и началась моя лагерная жизнь. Сначала я был на уборке урожая, а потом отправили на строительство плотины. Через полгода меня определили работать на овцеферму, на всю зиму. Там мне приходилось делать все, что прикажут: возить сено на быках, убирать в кошарах, пасти и кормить овец. Работа была не очень тяжелая, мне нравилось ухаживать за овцами. Все-таки живые существа.

Мне с ними как-то легче было. Потом меня опять вернули в лагерь и зачислили в строительную бригаду. Я стал работать подсобным рабочим на кладке саманных домов, месил глину, подносил саман и присматривался к мастерам по кладке. Очень хотелось научиться их ремеслу. Бригадир это заметил и предложил мне работать кладчиком. Я с радостью согласился. Так я стал кладчиком. Там-то меня и прозвали цыганом. Шутили надо мной, хотя и знали, что я итальянец. Но мне это было все равно. Работа мне нравилась, и бригада была хорошая. Кормили нас хорошо. Но все это было недолго. Однажды прошел слух, что собирают большой этап — всех, кто с большим сроком. Некоторые стали делать себе «мастырки», а я не умел. Вот и загремел в этот этап. Была у нас пословица: «Дальше солнца не угонят, а пайку все равно дадут».

Николай Афанасьевич недоверчиво улыбнулся:

— Это вы хорошо жили, если у вас были такие пословицы. У нас в сорок первом в иные месяцы вовсе не было подвоза в лагерь муки. От двух с половиной тысяч к весне в живых осталось восемьсот человек. Тогда и появилась эта присказка: «Кто в войну не сидел, тот лагеря не видал!» Так-то, брат! — И он тяжело вздохнул.

— Да, я понимаю, — согласился Сергей. — Ведь меня посадили в сорок третьем, когда уже война на спад пошла и снабжение стало налаживаться. Про сорок первый я слышал. Жуткое время было. Да и в сорок втором не слаще. А вы и в сорок первом сидели? — спросил он. — И как там было, шибко тяжело?

Николай Афанасьевич задумался, потом махнул рукой:

— Потом как-нибудь расскажу. Вспоминать неохота. Эх, день-то какой! — И он блаженно зажмурился на солнце.

Сергей деликатно замолчал. Николай Афанасьевич приоткрыл один глаз, скосил в его сторону.

— Ну, а дальше что было? Куда тебя отправили?

— Так на пересылку же, в Карбас, откуда мы с вами в одном вагоне ехали. В Карбасе я своего старшего брата Франческо встретил, он там работал кузнецом в цехе. От него я узнал про отца и мать с сестрой. А еще брат сказал, что та девчонка, с которой я дружил в Керчи, родила девочку и эта девочка очень похожа на меня. Брат мне очень помог тогда. За долгие годы я впервые увидел родное лицо, понял, что дороже семьи нет у человека ничего. Брат мне махорки дал в дорогу. А дальше вы сами все знаете.

Сергей умолк и стал смотреть на темнеющие на горизонте пологие холмы, а Николай Афанасьевич в это время любовался им. Открытое лицо дышало мужеством и спокойной уверенностью. Как-то сразу чувствовалось, что этот человек ничего не боится, а еще — что он не способен на подлость, на обман. Странно было видеть его здесь — среди отверженных обществом людей. Он уже не удивлялся, что в лагерь отправили его самого — профессора философии. Не удивлялся, что в лагерях находятся ведущие генетики и биологи, физики и конструкторы, математики, писатели и музыканты. Все эти люди были затронуты цивилизацией и словно бы



испорчены своей образованностью. Но вот перед ним был чистый лист, добротный материал, из которого можно вылепить все — бесстрашно-го полководца, талантливого строителя, наконец, подлинного вождя, за которым пойдут тысячи! Вместо этого его держат в камере смертников и доводят до иступления. Ради чего? Этого Николай Афанасьевич не знал. И никто этого не знал в великой советской империи.

## Берлаг

Рудник «Днепровский» располагался в районе трехсотого километра Колымской трассы, на знаменитом Колымском нагорье, сразу за Яблонным перевалом. Это был каторжный лагерь, созданный специально для политических. Сидели в нем заключенные со сроками от десяти до двадцати пяти лет. В этом лагере в сорок восьмом году оказался и Сергей. Чья-то злая воля решила испытать на нем убийственный климат Приполярья.

В один из вечеров всех заключенных построили на вечернюю поверку. Перед строем встал сам начальник лагеря — майор Федыко. Он встряхнул бумажный лист и стал читать нарочито грубым голосом:

— Приказ по Берлагу номер пять. Пункт первый. Все заключенные Берлага должны носить номера на одежде, на правой ноге — выше колена, на спине и на шапке — на лбу; на шапке шесть на три сантиметра, на ноге двенадцать на восемь, на спине двадцать пять на пятнадцать сантиметров. Номер должен быть написан черной краской на белом материале. Всем бригадирам получить материал в портновской, в уже нарезанном виде. Писать номера и пришивать самим. Номер получить каждому у нарядчика. За невыполнение — наказание в виде десяти суток изолятора. Срок исполнения — два дня. Пункт второй. Обращение с обслуживающим вольнонаемным персоналом следующее: подойдя, стать по стойке смирно, громко сказать: «Гражданин начальник, разрешите обратиться!» Не забывайте, что выданный вам номер заменяет вашу фамилию, имя и отчество. — Начальник отстранил от себя бумагу и обвел взглядом весь строй от края и до края. — Всем все понятно?

Ответом ему было молчание.

— Р-р-разойди-ись! — гаркнул он и, резко развернувшись, пошел прочь.

Заключенных загнали в бараки, опасаясь бунта. Но ничего такого не случилось. К номерам отнеслись не без юмора. В тот же вечер в бараках закипела работа. Заключенные стали пришивать номера, подшучивая друг над другом. Через два дня все было готово. Все были пронумерованы, и каждый должен был запомнить свой номер и откликаться на него. А имена и фамилии нужно было забыть — кому на двадцать пять лет, а кому и до самой смерти (такому и на бирке, привязанной к большому пальцу на правой ноге, укажут номер, а не фамилию). Сергею достался номер 1799.

На утренней поверке, глядя друг на друга, заключенные стали громко смеяться. Стоявший рядом надзиратель тоже начал хохотать, широко

раскрывая рот и показывая свои лошадиные зубы — кривые и желтые от табака. Сергей повернулся к нему, проговорил с усмешкой:

— Что, надели на людей номера и радуется? Здесь, в лагере, половина невиновных сидит и совесть у них чище, чем у вас!

Надзиратель так и застыл с раззявленным ртом. Потом вдруг сделал два шага и двинул Сергея прикладом винтовки в бок. Тот охнул и согнулся пополам, хватая ртом воздух.

— Встань в строй, фашист! — со злобой процедил надзиратель. Это был Зубенко — дюжий мужик с отъевшейся рожей и выкатившимися из орбит глазами. Заключенные знали, что Зубенко любит исподтишка ударить, поэтому старались близко к нему не подходить и на шмонах обойти его стороной. Сергей тоже это знал, но все же не думал, что Зубенко посмеет его ударить при всех.

Кое-как отдышавшись, держась за бок, он подошел к нему. Поглядел в замороженные глаза.

— За что ударил? — произнес, стараясь не выдать волнения.

— Ты еще спрашиваешь, фашист? — Зубенко перехватил поудобнее винтовку и размахнулся для сокрушительного удара. Но сделать ничего не успел. Сергей подшагнул к нему и нанес молниеносный удар в челюсть. Зубенко рухнул как подкошенный. На Сергея тут же бросился второй надзиратель, но и он оказался на земле после мощной оплеухи. А в следующую секунду на Сергея навалились сразу пятеро. Они сбили его с ног и хаотично пинали извивающееся тело, мешая друг другу, теряя равновесие и рыча, словно дикие звери. Заключенные, до тех пор молчавшие, все разом вдруг закричали, надвинулись черной массой на озверевших людей в военной форме. Те сразу охолонулись, попятиться было, но потом вспомнили про винтовки, посрывали их с плеч.

— Быстро зашли в барак! Стреляем без предупреждения. Ну, живо!

Заключенные остановились. Все понимали: могут перестрелять в любую секунду и никто за это не ответит. Всё спишут на бунт. А кроме того, они видели, что надзиратели перестали избивать Сергея. Он лежал неподвижно — окровавленный, грязный, со спутавшимися волосами. Возможно, что его уже убили, когда пинали по голове коваными сапогами. Во всяком случае, надзиратели больше не делали попыток его ударить. Видно, им было неинтересно пинать бесчувственное тело.

## Карцер

Сергей очнулся глубокой ночью. Долго не мог понять, что с ним и где он находится. Только чувствовал резкую боль во всем теле. Проведя рукой по лицу, нащупал запекшуюся кровь. Губы были разбиты, передние зубы шатались. А когда он попытался подняться, ощутил острую боль в правом боку. Боль эта была ему знакома — так болят сломанные ребра. Несколько минут лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к себе. Казалось, все его тело наполнено горячим металлом, так и тянет к земле. А снизу голый цементный пол, от него разит могильным холодом. Сергей



пошевелил одной рукой, потом другой, подвигал головой влево-вправо и сделал глубокий вдох, затем так же медленно выдохнул. Каким-то животным инстинктом он понял, что у него ничего не сломано, кроме ребер. Но ребра — это пустяки. Поболит и перестанет, не впервой! Так он думал про себя, пытаясь успокоиться. Но тревога не отступала. Он знал, что утром его поволокут к оперуполномоченному. Будут обвинять в нападении на конвой. А это — расстрел, и к попу ходить не надо!

Так он лежал несколько часов среди мертвящей тишины, то падая духом, то возгораясь надеждой, что все как-нибудь обойдется, Зубенко не станет подводить его под расстрел. Ведь он первый ударил. А потом его били сразу несколько человек — Сергей отчетливо помнил, как катался по земле, уворачиваясь от тяжелых сапог и закрывая голову руками. А потом раздался многоголосый рев — это все разом закричали заключенные. И это его спасло. Если бы не ребята, его бы забили до смерти, и теперь он бы лежал в мертвецкой — разбухший, синюшный, страшный... Нет, лучше не думать об этом. Наступит утро, и все разрешится. Его отпустят в барак, все пойдет по-прежнему.

И утро действительно наступило. Но в барак его не отпустили. А прямо из изолятора подняли и поволокли в оперчасть.

Оперуполномоченный — такой, как и все они, затянутый в кожаные ремни, в тугой гимнастерке и черных хромовых сапогах, с уродливой портупеей на боку — холодно глянул на Сергея.

— Ну, рассказывай, за что ты напал на представителей советской власти.

Сергей стоял перед столом, прижимая правый локоть к ребрам, чтобы не очень болело. Его мутило, голова кружилась. Он боялся упасть от слабости. Голос уполномоченного доходил до него как сквозь подушку.

Собравшись с силами, он произнес:

— Зубенко первый меня ударил, ребра мне сломал прикладом. Такие, как он, позорят советскую власть, избивая ни за что заключенного. Мы такие же люди, только лишены свободы. Если нас можно бить, так объявите об этом, чтобы все знали.

Уполномоченный вскочил со стула.

— Замолчи, сволочь!

— Вы мне будете клеить дело, а я должен молчать? На прошлой неделе дежурный офицер ударил заключенного Батогу при всех. Если это так положено, зачитайте приказ, что нас можно избивать. Тогда мы будем знать, что наши бока служат для кулаков надзирателей, а заключенный не имеет права защищаться.

Оперуполномоченный онемел от такой наглости. В какой-то момент рука его потянулась к портупее. Но он вовремя опомнился. Стрелять в заключенного прямо в кабинете он не мог. Теперь не тридцать восьмой год, когда он мог садануть обвиняемого графином по скуле или мраморной пепельницей в висок, а то и просто пристрелить. Хоть это и противно, но иногда приходилось делать — ради мировой справедливости и братства.

Взяв себя в руки, он вернулся на свое место, извлек из картонной папки уже заполненный каракулями лист и стал читать:

— Следствием установлено, что заключенный Де-Мартино Серджио Паскалевич, осужденный по статье 58, части восьмая, десятая, одиннадцатая и четырнадцатая, во время отбытия наказания в Береговом лагере номер пять не подчинился требованиям администрации, напал на конвойных и попытался завладеть оружием, но принятыми мерами был обезврежен и заключен в следственный изолятор.

— Я не пытался завладеть оружием! — воскликнул Сергей.

Уполномоченный поднял глаза от бумаги и насмешливо посмотрел на него:

— Это ты будешь судье объяснять. А я пишу согласно показаниям свидетелей. Того же Зубенко, на которого ты напал. Скажи спасибо, что он тебя на месте не пристрелил! Имел полное право.

— Все ясно, — ответил Сергей. — Я ничего подписывать не буду. Хватит того, что я на следствии подписал себе срок ни за что. Теперь я стал умнее. И вообще я больше не буду отвечать ни на какие вопросы. И на допрос меня больше не вызывайте. Я больше не произнесу ни слова.

Уполномоченный стукнул кулаком по столу:

— Я заставлю тебя говорить, фашист недобитый!

— Вы можете избивать меня, как угодно издеваться. Но я все равно не подпишу этого обвинения, — ответил Сергей.

Уполномоченный бросил бумажный лист на стол.

— Хватит дипломатию разводить. Сейчас пойдешь в изолятор, подумаешь хорошенько, а завтра я тебя вызову. Все подпишешь, или я тебя сгною.

Уполномоченный вызвал надзирателя, и тот повел Сергея обратно в изолятор. Сергей шел медленно, припадая на правую ногу. Надзиратель не торопил и не прикрикивал. Он уже знал о случившемся и почитал Сергея за покойника. Что бывает за нападение на конвой — он хорошо знал. К тому же он слышал, как оперуполномоченный орал в своем кабинете. «Уж лучше бы этого бедолагу пристрелили прямо там, на месте, — бесхитростно думал надзиратель. — А то будут теперь мучить, а потом все одно расстреляют!» Он также думал о том, что, возможно, ему самому и придется расстреливать этого парня. От такой мысли на душе становилось мутно, и он старался не смотреть на Сергея, чувствуя перед ним безотчетную вину.

В такой-то момент к ним приблизился заключенный. Сергей повернул голову и увидел соседа по бараку — Пашу Ребрину. Остановившись в нескольких шагах, тот спросил разрешения дать Сергею курево. Надзиратель подумал секунду, потом кивнул:

— Давай, только быстро.

Паша быстро подошел, сунул в руки кулечек с махоркой и бумагу на самокрутки. Приблизив лицо, быстро проговорил:

— Держись, Серега, тебе клеят серьезное дело!

Сергей кивнул:





— Знаю. Ты вот что, скажи ребятам, чтобы к вечеру принесли мне в камеру иголку с нитками покрепче. Сделаешь?

— Конечно. А тебе зачем?

— Надо.

Сергей пожал протянутую руку, и Паша быстро пошел прочь.

Настал вечер. В изоляторе наступило время ужина. Сергей с нетерпением ждал этой минуты. Вот забрякали бачки в коридоре, распахнулась «кормушка». Раздатчик — Витя Зинченко (из заключенных) — заглянул внутрь и заорал нарочито грубо:

— Чего как неживой ворочаешься? Получай паек!

Он поставил на кормушку миску с баландой и пайку черного запекшегося хлеба, а сам подморгнул и показал глазами на пайку. Сергей быстро кивнул. Он уже понял, что в хлебе припрятано то, что ему нужно.

Кормушка захлопнулась, тележка с бачками покатилась дальше.

Сергей взял горбушку, подержал на весу, потом осторожно разломил надвое. Внутри мякиша была спрятана деревянная катушка с нитками, в которые наискось была воткнута толстая швейная игла. Сергей похолодел, глядя на эту иглу. Но делать было нечего, он должен исполнить задуманное. А иначе — смерть!

Но прежде надо было расправиться с ужином. Кто знает, когда еще ему удастся поесть.

Он уселся на топчан и придвинул к себе миску. Впереди была целая ночь, спешить некуда.

Он успел немного поспать и лишь глубокой ночью, когда стихли все звуки, принялся за дело.

В юности (которая теперь казалась ему чем-то вроде сновиденья) ему приходилось зашивать на себе раны от ножа — на левой руке, на бедре, а однажды и на боку. Тогда было много крови, но рана оказалась пустячной. Сергей в горячке даже не почувствовал боли — сделал три стежка у себя на боку, как если бы он зашивал подушку, потом облил уже зашитую рану разбавленным спиртом и заклеил пластырем. И все тогда обошлось. Даже шрама не осталось. Воспоминание это придало Сергею уверенности. Он нащупал в темноте катушку, вытащил иглу и размотал нитку — сантиметров сорок, этого должно было хватить. Дальше все происходило как бы само собой. Он запретил себе думать и просто смотрел на свои руки, которые совершали привычные движения: вдевали нить в игольное ушко, завязывали узел на конце сдвоенной нити; потом иголка приблизилась в темноте к подбородку... Сергей весь напрягся, перестал дышать. Вот игла ткнулась в нижнюю губу, он ощутил укол и невольно откинул голову. Но однако же... так дело не пойдет. Он заставил себя опустить подбородок на грудь, левой рукой взял себя за нижнюю губу с правой стороны, крепко сжал иглу правой рукой. Провел острием по мягкой плоти, а потом резким движением проткнул губу снизу вверх... Боль была ужасная, он весь покрылся потом. Во рту стало влажно от крови. Был бы сейчас рядом надежный товарищ — сделал бы все как надо.





А так... Собрав волю в кулак, Сергей примерился к верхней губе. Крепко зажмурился и стал медленно вводить иглу в трепещущую плоть. Снова было нестерпимо больно. Сергей дивился неподатливости губы, она словно бы сопротивлялась грубому вторжению, не хотела пропускать через себя холодный металл. Иглу приходилось сжимать изо всех сил, чтобы она не выскользнула из влажных пальцев.

Второй стежок дался ему чуть легче, он действовал уже увереннее, и боль немного притупилась. Сергей перестал чувствовать холод, и весь окружающий мир перестал существовать для него. Он видел лишь иголку, тускло проблескивающую среди бесконечной тьмы, а еще он чувствовал свои губы, они казались ему разбухшими, тяжелыми. А больше у него ничего не было — ни тела, ни головы. Даже рук он уже не ощущал, игла словно бы сама плыла к нему по воздуху и вонзалась то снизу, то сверху, а потом тянула, тянула за собой нить, обжигая кровоточащую рану, взрывая беззащитную плоть...

Сергей потерял счет времени и, когда все уже было закончено, долго сидел неподвижно, словно не веря себе. Однако стало уже светать. Надо было убрать следы преступления. Он сдернул с иглы остатки окровавленной нитки и бросил в стоявшую тут же парашу. Иглу засунул обратно в катушку, саму катушку положил в дальний темный угол, чтоб не было видно. Потом осторожно провел пальцем по губам. Губы были плотно сомкнуты, кровь уже подсыхала и взялась корочкой. Шесть крепких швов наложил он себе в эту ночь. Каждый шов двойной нити был крепко стянут морским узлом. Если он теперь резко раскроет рот, то неминуемо порвет себе губы. Но рот он теперь не раскроет ни за что на свете. Если хотят, пусть стреляют прямо так — с зашитым ртом! Подумав так, Сергей неожиданно для себя успокоился. Да и чего теперь переживать? Он сделал свой выбор. А дальше будь что будет!

Сергей осторожно лег на топчан. До подъема было еще часа полтора. Он закрыл глаза, и в голове сразу зашумело, его закачало на длинной волне, понесло куда-то вдаль. Через минуту он был уже далеко: шел под парусами в бурное море, берег отдалялся, а впереди были страшные волны. Но он не боялся! Лодка шла наперерез волнам, раздувшийся парус отчаянно трепетал, морская пучина то разверзалась до самой глубины, то возносила лодку к мрачным небесам; трепещущие молнии раскалывали небо на две неравные половины, — Сергею все было нипочем! Он что-то кричал бушующим волнам, рвущему парус ветру, молниям, грозившим ему гибелью. Он ничего не боялся и смело шел вперед. Так отчаянное мужество перебарывает смерть и одолевает саму Судьбу.

## Непреклонность

Утром, когда раздатчик, открыв кормушку, поставил на нее миску и глянул на Сергея, тот показал рукой на свой рот и отмахнулся от миски, делая знак убрать ее.

Кормушка тут же захлопнулась. А через несколько минут дверь распахнулась, и в камеру вошел начальник изолятора Фролов.



Увидев, что рот у Сергея, точно, зашит, Фролов вдруг вскипел:

— Что ты творишь-то, а? Ну погоди у меня!

Он выскочил из камеры, железная дверь громоыхнула, лязгнули ключи. Тяжело бухая сапогами, начальник изолятора торопливо шел к выходу.

Дело закрутилось.

Сергей присел было на топчан, но отдыхать долго ему не пришлось: коридор вдруг наполнился топотом множества сапог. Опять забрякали ключи, заскрежетал замок, дверь распахнулась.

В камеру вошел сам начальник лагеря майор Федыко — бывший вояка, фронтовик, отправленный на Колыму за пьяный дебош в ресторане. По натуре он был человек не злой, близко видел смерть на фронте, а попав на Колыму, все никак не мог привыкнуть к лагерным порядкам и к бессмысленной жестокости надзорсостава. В лагере сидели и бывшие фронтовики, такие же, как он, вояки, которым повезло чуть меньше, чем ему. А могло случиться, что кто-нибудь из них оказался бы на его месте, а Федыко — в бараке и носил бы четырехзначный номер на шапке и на штанах. Жизнь — она по-всякому может повернуться. Это он понял еще на фронте.

Начальника сопровождали начальник КВЧ\* Качатурян и дежурный офицер Белов. Само собой, здесь же были начальник изолятора и дежурный надзиратель. Кто-то еще топтался в коридоре — этих Сергей уже не мог разглядеть. Но, кажется, зря они все сюда пришли. Федыко сориентировался быстро. Кинув два беглых взгляда на Сергея и на зарешеченное оконце, он распорядился:

— Ведите его ко мне в кабинет! — И первым вышел из камеры. За ним с неохотой потянулись остальные.

Подождав, когда все уберутся, начальник изолятора и надзиратель подступили к Сергею.

— Ну, заварил ты кашу! — проговорил начальник не то с угрозой, не то с восхищением. Обернулся к надзирателю и скомандовал: — Давай, Калининенко, веди его к начальнику лагеря, пусть он сам с ним разбирается. — И махнул рукой, словно обрубая концы.

Сергей почти год просидел в этом лагере, но в кабинет начальника попал впервые. Тот, в свою очередь, тоже ни разу не видел этого заключенного, который вызвал в нем безотчетную симпатию. Нюхом бывалого человека он сразу распознал в нем крепкую натуру. Еще он подумал, глядя на Сергея, что с таким парнем не задумываясь пошел бы в разведку, и Сергей не подвел бы, вытащил бы его, раненого, из вражеского тыла, если б случилась такая беда. Он и сам не понимал, почему у него возникла такая уверенность. Но тем интереснее было дело. Он решил досконально разобраться в случившемся, а заодно понять, что тут у него под носом творится и что из себя представляют все эти люди — надзиратели, оперуполномоченные, конвойные? Почему они так ненавидят заключенных и проявляют столько рвения, пресекая малейшее неповиновение? И он

\* КВЧ — культурно-воспитательная часть.

все время помнил, что вся эта гвардия ни одного дня не была на фронте, не нюхала пороха, не кормила вшей в окопах, не драпала от фрицев в сорок первом и не брала Берлин четыре года спустя. А интересно, как бы они себя повели, если их кинуть в самое пекло? «Поджилки небось затряслись бы!» — подумал он с удовольствием. «А вот у этого бы не затряслись!» — была вторая мысль, когда он перевел взгляд на Сергея, молча стоявшего перед ним.

— Ну что, дружок, — неожиданно для самого себя произнес Федько, — рассказывай, зачем ты себе рот зашил. Говори все как на духу. Обещаю разобраться по справедливости.

Сергей сдержанно кивнул, потом показал рукой на стол, где лежала бумага и карандаши. Про то, что начальник лагеря мужик справедливый, он уже знал. И все заключенные об этом знали.

Поди разберись, как об этом становится известно. Каков бы ни был человек, где бы он ни находился, как бы ни скрывал свою суть, а окружающие — назло ему и наперекор здравому смыслу — все про него знают и понимают, даже и такое, чего человек сам о себе не ведает. Человек проявляется в поступках, в своих делах — больших и малых. И что характерно: в малых проявляется отчетливее — честнее, если здесь уместно это слово. Вот из этой суммы мельчайших поступков и телодвижений и складывается безошибочное мнение о том или ином субъекте. Иной об этом вовсе не задумается. Но бывалого зэка обмануть невозможно. Наблюдательность — его оружие. Безошибочное чутье на людей — единственная защита от множества невзгод и опасностей, щедро рассыпанных на его опасном и непредсказуемом пути.

Федько вытащил из стопки несколько чистых листов и положил на стол, придвинул карандаш.

— Садись, пиши все как есть. Ничего не бойся.

Сергей шагнул к столу, сел на стул и пристроился писать.

За четыре года отсидки Сергей мало-помалу освоил грамоту и научился не только читать, но и довольно связно писать. От природы он был наблюдателен и смекалист. За считанные недели освоил профессии каменщика и печника, получил высокий пятый разряд и заслужил уважение бригадира и товарищей (это еще на материке). Грамота далась ему легко, что никого не удивляло из тех, кто его близко знал. Если бы он смолodu учился, кто знает, каких высот смог бы достичь!

В объяснительной Сергей поведал о случившемся, а в самом конце сделал приписку, что расшивать рот не даст, пока в лагерь не придет начальник Берлага. Еще он прибавил, что все изложенные факты могут подтвердить другие заключенные, которые видели, как его избивали надзиратели и с чего все началось.

Когда он закончил, начальник взял листы и стал внимательно читать. Едва он закончил чтение, как в кабинет явился оперуполномоченный. Он был все так же подтянут и строг, но в лице его Сергей уловил признаки неуверенности. На начальника он глядел совсем не так, как на Сергея.

— Принес дело на этого кадра? — спросил начальник.



— Так точно!

— Давай.

Уполномоченный подал ему несколько скрепленных вместе листов.

Федько погрузился в чтение. Дочитав до конца, поднял взгляд на уполномоченного.

— Я не могу поверить, чтобы заключенный без причины набросился на надзирателя. Вот прочтите, что пишет сам заключенный. Этому можно поверить больше. — И, не дожидаясь ответа, добавил: — Вы эту волокиту бросьте! То же самое скажет начальник управления. Нам нужны рабочие, а не подследственные. Если уж наказывать заключенного, то за дело. Ну ты сам подумай, Гаврилов, его избивали семь человек. И все это видели. Что ж ты тут понаписал?

Лицо уполномоченного покрылось багровыми пятнами. Он произнес:

— Пусть уведут заключенного, а потом поговорим об этом.

— Хорошо.

Федько повернулся к двери.

— Фролов, уводи этого друга.

В кабинет шагнул надзиратель.

— Куда его?

— В камеру, куда ж еще!

Сергей поднялся. Бросил испытующий взгляд на начальника лагеря, но тот стоял с непроницаемым лицом. Оперуполномоченный, казалось, застыл на месте. Мимо него и мимо начальника Сергей прошел к двери и шагнул через порог.

Через десять минут он снова был в своей одиночке.

А еще через два часа его отвели в санчасть. Там его уже ждали Федько и Качатурян. За столом сидела врач — Валентина Александровна Федько, жена начальника лагеря. Она сразу предложила немедленно расшить Сергею рот.

Сергей взял бумагу со стола и написал крупными буквами: «РАСШИВАТЬ НЕ ДАМ, ПОКА НЕ БУДЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СНЯТИИ С МЕНЯ СЛЕДСТВИЯ, ТАК КАК СЧИТАЮ СЕБЯ НЕВИНОВНЫМ».

Тогда Качатурян вытащил из папки приготовленный заранее лист и зачитал приказ начальника лагеря:

— Следствие по делу заключенного 1799 Де-Мартино С. П. прекратить. За допущенные нарушения дисциплины объявить Де-Мартино С. П. пять суток строгого ареста в изоляторе с выводом на работу. Установить довольствие на время ареста: хлеба 350 грамм в сутки, одна кружка воды в сутки. На третий день горячая пища — один раз в сутки.

Кончив читать, он спрятал бумагу в папку.

Федько пристально посмотрел на Сергея:

— Все ясно? Есть еще вопросы?

Сергей отрицательно помотал головой.

Начальник потер руки с довольным видом:



— Вот и славно! Валентина Александровна, можете приступать. А мы, пожалуй, пойдем. Как закончите, отправите его в изолятор. И чтоб без приключений мне! — при этих словах он строго посмотрел на конвоира. — Я вечером приду, проверю, как он у вас сидит. Поняли меня?

— Так точно!

— Все. Исполнять.

Федько и Качатурян ушли, а врачаха взяла из стеклянного шкафа хирургические ножницы с изогнутыми краями и подступила к Сергею.

— Ну что, молодой человек, начнем операцию? Ты, я вижу, не робкого десятка. Когда губы себе зашивал, небось, больно было? Как же ты такую муку вытерпел? Видно, несладко тебе пришлось, раз ты на такое решился. Ну да ничего, бог не выдаст, свинья не съест, давай-ка подними чуток голову, сейчас я аккуратненько поддену шовчик, ты даже ничего не почувствуешь, так, самую малость, словно комарик укусил...

Она что-то еще говорила, а сама в это время состригала нитки — справа, и слева, и посередине; потом осторожно тянула за концы. Сергей невольно морщился.

— Ну-ну, потерпи немного. Когда иголкой себя колол, небось больнее было. И ведь не закричал ни разу. Конвойный всю ночь по коридору ходил и ничего не слышал. Эх ты, терпило!

Шумно вздохнув, она наконец отстранилась от лица, выпрямилась, продолжая смотреть на кровоточащие губы.

— Ты пока не разговаривай. Подожди до завтра. Я тебе ранки сейчас обработаю спиртом, а потом вазелинчиком слегка намажу, чтоб губы не шелушились. Ты, поди, пить хочешь? Но пока нельзя. Еще инфекцию занесешь, вода тут плохая. Вон у тебя сколько проколов на губах. И все кровоточат. Как ты себе губы-то не порвал такими ручищами!

И она со страхом посмотрела на его жилистые руки, покойно лежащие на коленях.

Сергей хотел поблагодарить ее, но не решался разжать крепко сомкнутые челюсти. Лишь кивал в такт ее словам и пытался сказать глазами то, чего не мог произнести.

Врачиха быстро заполняла медкарту. У дверей стоял надзиратель и молча наблюдал за происходящим. Сергей тем временем думал о том, как ему необыкновенно повезло. Он и не надеялся, что все так быстро разрешится. В иные минуты падал духом и ждал самого плохого: расстрела или отправки на штрафной прииск. В крайнем случае его могли оставить сидеть в изоляторе как есть — с зашитым ртом. И тогда бы он медленно умирал от истощения и упадка сил. Все заключенные знали, что никакой голодовкой лагерную администрацию не проймешь. Голодающих или расстреливали всем скопом (выждав для порядка несколько дней), или предоставляли им медленно подыхать от голода. Да, так вполне могло случиться. Но не случилось. Сергей отнес это к вмешательству высших сил, в которые он втайне верил (как и вся его семья) и которые, возможно, и в самом деле помогали ему в трудную минуту.



## Охота на человека

Однако ничего еще не закончилось для Сергея. Вскоре после того, как он вернулся в барак, к нему подошел надзиратель Керимов. Приблизив лицо, сказал приглушенным голосом, неподвижно глядя в глаза:

— Серега, будь осторожен. Эти падлы решили тебя пристрелить.

Сергей недоверчиво отстранился.

— Какие падлы? Кто?

— Конвойные, которые тебя избивали. Зубенко и все остальные. Я слышал, как они говорили меж собой. Зубенко говорил, что не успокоится, пока тебя не пристрелит, что замочит тебя, чтоб неповадно было другим. Они это умеют. Пошлют тебя за дровами в «запретку», потом пальнут в спину, а спишут на побег. Это у них быстро делается. Не впервой. Скольких они таким макаром отправили на тот свет — не перечесать. У них это вместо развлечения.

Сергей призадумался. Не хотелось верить, что его так вот запросто могут убить. Хотя он и слышал про такие дела, что конвойные стреляют в эков без всякой причины. Но чтобы так вот хладнокровно заранее спланировать убийство — это после того, как они избивали его до полусмерти, а потом он еще отсидел пять суток в одиночке, — это было невероятно. И все же он сразу поверил Керимову. Вспомнил перекошенное от злобы лицо Зубенко, хмурые взгляды конвойных, которые (он и сам заметил) следили за ним исподтишка и однажды уже пытались поставить в колонну с самого края, когда они шли из лагеря на объект. Тогда он не подчинился, потому что не любил ходить сзади, где обычно плелись доходяги. Да это и не дело конвойных — указывать, кому и куда вставать. Обычно заключенные сами разбираются по пятеркам, а следят за этим бригадиры. Но даже и они редко вмешиваются. Это ведь не пионерлагерь. Заключенные и сами понимают, что и как.

Через несколько дней Сергей убедился в правоте Керимова. Конвойные настойчиво пытались поставить его в последний ряд колонны, а уже на месте несколько раз отправляли за дровами в «запретку». Сергей всякий раз отказывался. Однажды его пытались заставить работать отдельно от других. Среди конвойных как раз был Зубенко. И Сергей решительно отказался. Тогда на него составили докладную об отказе от работы. Докладная ушла к начальнику лагеря, а Сергей решил, что пусть лучше его снова посадят в изолятор, чем пристрелят конвойные.

Он держался из последних сил. Борьба была неравной и жестокой. С одной стороны — лишенный всяких прав человек, брошенный на край земли, в насквозь замороженные пространства, а с другой — толпа вооруженных людей, наделенных правом убивать всякого, кто не подчинится их приказу.

Но все это закончилось очень быстро, хотя и не так, как того хотел Зубенко.

Утром во время построения колонны Зубенко подошел к Сергею и с силой ударил прикладом в плечо.



— Быстро встал в последнюю шеренгу! — приказал он, крепко сжимая винтовку и показывая всем видом, что может шарахнуть еще раз.

Сергей сделал было шаг, но потом одумался.

— Я туда не встану. И на работу не пойду. Веди меня в изолятор! — проговорил так, чтобы слышали окружающие.

Зубенко сплюнул с досады. Слюна, не долетев до земли, превратилась в ледышку. Мороз был за сорок.

— Ну ты у меня попляшешь! — пообещал он и, обернувшись, крикнул стоявшим у ворот конвойным. — Эй, быстро сюда. И наручники там прихватите.

Сергей вскинулся:

— Зачем наручники? Я и так пойду. Я ведь не сопротивляюсь!

— Поговори мне еще. Не захотел по-хорошему, будет тебе плохому.

Сергей понял, что спорить бесполезно, и замолчал.

Через минуту к нему подошли двое конвойных, один держал в руках металлические наручники, покрывшиеся густым инеем.

— Ну-ка оборачивайся, давай сюда руки! — приказал один.

Сергей повернулся спиной, подставил руки. В ту же секунда оба запястья словно обожгло огнем. Насквозь замороженный металл крепко сжал теплую плоть, и Сергей сразу почувствовал, как стальные тиски стали постепенно пережимать кровоток. Это были автоматические наручники, при малейшем движении они сами собой усиливали зажим, обрекая человека на дополнительные мучения. Использовать такие наручники в сильный мороз было нельзя, об этом знали и надзиратели, и сами заключенные. Но протестовать было бесполезно, Сергей промолчал. И те заключенные, кто видел это издевательство, тоже промолчали. Лишь покачали головами и отвернулись. У каждого была своя думка, своя печаль.

Сергей с тоской смотрел на уходящую в ночь колонну. Запястья резало все сильнее, а кисти рук словно бы разбухали, наполнялись чем-то тяжелым и, казалось, вот-вот лопнут, разорвутся от внутреннего напряжения. Он потихоньку шевелил кистями, но делал только хуже — наручники затягивались все сильнее, и в какой-то момент он вдруг перестал чувствовать боль. У него больше не было рук, пальцев он не чувствовал вовсе.

К нему подошел Зубенко, спросил с усмешкой:

— Что, хорошо тебе, падла? Будешь еще вылупаться?

Сергей склонил голову, крепко сжал челюсти, стараясь взять себя в руки, потом медленно проговорил:

— Веди меня в санчасть. Я рук не чувствую.

Зубенко кивнул:

— Пойдем, когда надо будет. Я все делаю по инструкции! Ты не подчинился приказу конвоя, а за это карцер и наручники. Вот и получил, что заслужил.

Зубенко тянул до последнего. Но настала такая минута, что тянуть уже было некуда. Колонна давно ушла, двойные ворота закрыты и заперты





на огромную задвижку, а все конвойные ушли с мороза в тепло. Стоять на улице без всякой цели было бы уж слишком подозрительно, и Зубенко медленным шагом повел Сергея в больницу.

Врачиха, увидев посиневшие руки, похожие на две брюквы, переменилась в лице.

— Это что же, ты его в наручниках вел по такому морозу? — спросила она Зубенко. — И не стыдно тебе? Он же без рук может остаться!

Тот лишь ухмыльнулся и ничего не ответил.

— Что ты стоишь как столб! Давай снимай с него эти железяки. Смотри, я рапорт на тебя подам за жестокое обращение!

Зубенко перестал улыбаться и быстро подошел к Сергею. Поочередно щелкнули замки, и Сергей наконец увидел свои руки. Ему на секунду стало страшно. А что, если они уже не отойдут? Отрежут обе кисти к чертям собачьим, и будешь потом ходить с культями. Он таких видал. Операции местные лепилы делают весьма проворно, иной раз обходятся вовсе без обезболивания. Это уж как повезет — если хороший врач попадет, так он поможет, все сделает, чтобы руки сохранить. А иной и специально отрежет, чтобы не возиться с перевязками да всякими примочками.

Но Валентина Александровна была не из таких. Она живо принялась за дело. Помогла Сергею снять бушлат и телогрейку, потом налила теплой воды в эмалированный таз и стала осторожно обмывать Сергею руки, сначала одну, потом другую. Лицо ее было озабочено, и Сергей, глядя на нее, все ждал, когда же она скажет заветное слово. Но она ничего не говорила. Тщательно вымыв руки с мылом, насухо вытерла их полотенцем, а потом долго рассматривала посиневшую кожу под прямым светом настольной лампы. Ничего не сказав, достала из шкафчика объемистую банку темного стекла с зеленоватой тягучей мазью и стала наносить мазь на кожу тонким слоем, осторожно втирая ее внутрь и как бы сомневаясь. Сергей по-прежнему ничего не чувствовал. Зубенко молча стоял у дверей, лицо его было непроницаемо. Сергей перевел взгляд на квадратное оконце, на котором в два пальца намерз лед; за окном было все так же темно и морозно. Казалось, что эта ночь — навеки. И всегда будут этот жуткий холод и ночь, весь мир застыл в неподвижности.

Наконец врачиха выпрямилась, продолжая смотреть на забинтованные кисти.

— Ничего, бог даст, подвижность восстановится. Кровь уже пошла в пальцы. — И, поглядев на Сергея, молвила со вздохом: — Повезло тебе. Еще несколько минут, и остался бы ты без пальцев!

Из угла вышел Зубенко. Скомандовал, глядя на Сергея:

— Поднимайся, пошли в изолятор!

Врачиха всплеснула руками:

— Да ты что, ошалел? Его в стационар надо класть, перевязки каждые шесть часов нужно делать.

— На перевязки его будут приводить.

— Да как же это? Ведь он минимум неделю ничего руками брать не сможет. Ты что, не видишь, что они забинтованы?

— Ничего, как-нибудь приспособится. Он на разводе приказу не подчинился, отказался идти со всеми на работу. А за это карцер, сами знаете. Раньше его к стенке бы поставили за такие дела. А теперь дали им волю, вот и наглеют.

Врачиха перевела взгляд на Сергея:

— Ничего не понимаю. Он что, правду говорит?

— Они охоту на меня открыли, — произнес Сергей. — Договорились пристрелить меня при попытке к бегству. Зубенко хотел поставить меня в самом хвосте с краю, чтоб удобнее было стрелять. Вот я и отказался. Лучше в карцере сидеть, чем отправиться на Луну. — Помолчал, добавил: — Им за это дают дополнительный отпуск и премию сто рублей. Вы сами знаете. К тому же тут личные счета.

— Тогда понятно. — Врачиха неприязненно глянула на Зубенко. — Я Федько обо всем расскажу. Будет тебе премия.

У того заходили желваки на скулах.

— Рассказывайте, если хотите. Только я все делаю по правилам. Все видели, что он отказался идти на работу. А насчет охоты — это все домыслы. Если бы хотел, я б давно его пристрелил. Возможности были. И будут еще...

Сергей надеялся, что врачиха настоит на своем и оставит его в стационаре; все заключенные прекрасно знали, что вольнонаемный врач имеет право освобождать заключенных от работы и класть их в больничку. Об этом мечтали все ээки всех лагерей, а те немногие, кому посчастливилось полежать несколько деньков на больничной кровати с панцирной сеткой, долго потом рассказывали об этом как о каком-то чуде. Простое лежанье на кровати и ничегонеделанье казалось им высшим блаженством и лучшей наградой, какая только может быть на земле (не считая, конечно, внезапного освобождения из лагеря, на которое всерьез никто и не рассчитывал).

Но врачиха на этот раз уступила, позволила увести Сергея из теплого чистого кабинета в грязный ледяной склеп. Почему это так случилось, Сергей мог лишь гадать. Но когда он очутился в одиночке и увидел лед на цементном полу, решил бороться до конца. Понял, что помощи ждать неоткуда и надеяться можно лишь на самого себя.

Вечером, когда ему принесли ужин, он сказал конвоиру, что объявляет голодовку, и потребовал, чтобы к нему пришел начальник лагеря.

Надзиратель с удивлением посмотрел на него.

— Ну-ну, — произнес с угрозой. — Будет тебе начальник. Все будет. Жди!

И захлопнул кормушку.

Сергей принялся ходить по камере. От слабости кружилась голова, и кисти рук болели все сильнее. Иногда, забываясь, он ударял себя по ноге забинтованной рукой, и тогда по всей руке пробегал электрический разряд. Устав ходить, присел на каменный топчан, привалился к стене. Закрыв глаза, и его сразу словно бы понесло куда-то мутным потоком.



Он все ниже клонился, пока наконец не коснулся головой каменного ложа. Через минуту он спал.

Но ему не суждено было выспаться этой ночью. Чутьем загнанного в угол зверя он вдруг почувствовал опасность. Открыл глаза в кромешной тьме и прислушался. Из коридора доносился приглушенный шум: неясный говор и топот множества ног. Ступали осторожно, говорили вполголоса. Сергей узнал голос Зубенко.

— Все будет нормально, — тихо произнес тот, — скажем, что затеял драку с этапниками и они его избили.

Шаги приблизились к двери, на мгновение стало тихо. Сергей рывком поднялся, пытаясь сообразить что-то, потом подскочил к параше, вдруг решив зачерпнуть дерьма и швырнуть его в глаза надзирателям, но вспомнил, что руки у него забинтованы. В эту секунду громко щелкнула задвижка, и дверь рывком распахнулась, Сергей едва успел встать в самый угол. В камеру упал сноп света. Надзиратели гурьбой ввалились внутрь, окружили пустой топчан.

— Его здесь нет! — воскликнул один.

— Я специально посадил его сюда, из этой камеры невозможно уйти.

Он где-то здесь, смотрите по углам! — крикнул Зубенко.

Надзиратели — их было четверо — стали озираться и вдруг увидели Сергея.

— Вот он, гад, бейте его!

И все разом кинулись на Сергея.

Сергей уворачивался как мог, потом крепко ухватил кого-то зубами за ухо и что есть мочи рванул на себя, с хрустом разорвав отвратительный жирный хрящ. Надзиратель дико заорал, а в следующую секунду Сергей получил такой удар по затылку, что свет померк у него в глазах, ноги подкосились и он рухнул на пол без чувств. Его еще пинали какое-то время, а потом отступились от распростертого тела. Не так это просто — избить человека до смерти. Да и Зубенко в какой-то момент опомнился. Все-таки этот осужденный был водворен в изолятор под его личную ответственность. Пришлось бы потом объясняться — как это он допустил, что в его дежурство был до смерти избит заключенный, а он ничего не видел и не слышал. За это можно и поплатиться. Будет еще возможность поквитаться, Сергей никуда не денется из этого лагеря. Срок у него большой, получит свое сполна!

И он со спокойной совестью оставил окровавленное тело лежать на каменном полу.

Сергей очнулся уже под утро. Он лежал на холодном каменном полу и пытался понять, что с ним случилось. Мысли с трудом ворочались в отяжелевшей голове, думать было больно. Усилием воли, страшным напряжением всех своих сил он заставил себя вспомнить — шаг за шагом — все, что было накануне. Мелькнуло перед глазами перекошенное от злобы лицо Зубенко, захрустел на зубах окровавленный хрящ, голова дрогнула от тяжких ударов... На него нахлынула дурнота, он снова

отключился. Потом грудь его напряглась, он с шумом втянул в себя холодный воздух и открыл глаза. Да, теперь он все помнил и знал. Надзиратели избили его и оставили лежать на полу, даже не уведомив врача. Он запросто мог умереть здесь, мог замерзнуть на ледяном полу, истечь кровью. Но почему-то не умер. Судьба хранила его для чего-то. Но для чего? Этого он не знал. И никто этого не знает про себя. Человек брошен в этот мир неведомой силой. Что это за сила? Для чего она призвала к жизни мириады живых существ? Куда все они движутся, к чему стремятся? Почему беспрестанно борются друг с другом? И зачем им нужна эта жизнь, эта беспрестанная борьба, у которой один конец — неизбежная смерть, великое небытие, вечная ночь без всякой надежды на возрождение. Так стоит ли принимать муки? Не проще ли покончить разом со всем?

Если бы у Сергея был пистолет, он убил бы себя в эту ночь. Но не было ни пистолета, ни веревки. И не было сил подняться. Так он лежал без движения — час, и другой, и третий, пока где-то вдали не пробили подъем железной трубой о рельс, а по коридору не стали разносить завтрак.

Окно кормушки распахнулось, и надзиратель как ни в чем не бывало просунул внутрь миску баланды и горбушку черного хлеба.

Сергей даже не повернул головы.

Надзиратель помедлил несколько секунд, потом захлопнул кормушку и пошел докладывать начальству.

Прошло еще несколько часов. За стенами каменной тюрьмы занялся тяжелый колымский рассвет, через зарешеченное оконце под потолком едва просачивался тусклый отблеск. Сергей все так же лежал на полу, лишь немного приподняв голову и привалив ее к топчану. Все тело его одеревенело и медленно застывало, делалось чужим. Еще несколько часов — и он бы в самом деле умер. Где-то в глубине души он и хотел этого, но смерть все не шла. Вместо нее в камеру шумно вошла врачиха. Увидев на полу залитого кровью человека, которому она накануне с такой осторожностью бинтовала отмороженные руки, она онемела от изумления.

— Это что же, он всю ночь у вас тут лежал? — наконец спросила она стоявшего у дверей надзирателя.

Тот равнодушно пожал плечами:

— Насчет ночи я не знаю. Я только что смену принял. Мне сказали, что это его заключенные так отделали.

Валентина Александровна удивленно осмотрела пустую камеру:

— Какие заключенные? Где?

— Он сперва в другой камере сидел, вместе с другими. Что-то там они, видать, не поделили... — Надзиратель видимо затруднялся с ответом. — Вы лучше спросите у начальства, я же говорю, меня тут не было ночью. Чего я мог видеть? За каждым не уследишь, мы ведь тоже люди, где-то и прикроешь чуток...

Он что-то еще бормотал, но врачиха не слушала. Склонившись над скрюченным телом, она осторожно оттирала влажным платком засохшую



кровь с лица, терла виски и с тревогой заглядывала в подернутые пеленой глаза. Потом решительно выпрямилась.

— Вот что. Немедленно несите его в изолятор. У вас там носилки есть. Чтоб через пять минут его тут не было! Я сейчас пойду к Федько и все ему расскажу. Так и передай своему Зубенко. Ему это с рук не сойдет. Это ж надо так над человеком измываться!

И она торопливо пошла из камеры.

Сергей слышал ее голос, но смысл сказанного не доходил до него. Он понимал только, что кто-то рядом с ним чем-то недоволен, однако причина ускользала от него. Он был сам по себе, а весь остальной мир — тоже сам по себе. Сергею не было до него никакого дела, пусть он развалится на куски — ему все равно. Но и его пускай не трогают. Наконец-то он обрел покой. Ему ничего больше не надо, ничего не хочется. Только бы остаться одному, лежать в тишине и ни о чем не думать. Все его желания, вся боль, воспоминания, мечты и чувства — все это куда-то ушло, словно растворилось в каменном полу и в холодных стенах. Стены вытянули из него все тепло, а взамен отдали ему холод и бесчувственность. Сердце его оледенело, и ему стало так покойно, как никогда еще не было за всю его двадцатипятилетнюю жизнь.

Но покой длился недолго. Он смутно чувствовал, как чужие грубые руки оторвали его от пола и куда-то понесли. Словно в тумане, мелькнула железная дверь, поплыл, раскачиваясь, потолок над головой, а потом его охватил жуткий холод: тысячи острых игл вонзились в его тело, он крепко зажмурился и застонал.

«Вишь ты, живой еще, падла! Возись тут с ним. Другой бы давно уж подох», — услышал он чей-то хриплый голос.

На голову ему упала какая-то тряпка, и сразу стало темно. Он попробовал поднять руку и убрать тряпку, но это у него не получилось. Руки были страшно тяжелы. Он двинул было головой, но и это оказалось невозможным. Сопротивляться не было сил. И он покорился.

## Возвращение к жизни

Дальнейшее было как во сне. Сергея перенесли в лагерный стационар — обычный одноэтажный барак, приспособленный под медицинские нужды. В бараке было почти тепло и относительно чисто, а еще — очень тихо. Здесь не было надсмотрщиков и никто не ругался и не подгонял. Санитары из заключенных молча делали свое дело, дорожа местом и стараясь изо всех сил, боясь снова попасть в бригаду забойщиков или откатчиков, где из них за три месяца сделают доходяг (все это они уже испытали на себе). Врачи и фельдшеры знали об этом страшном опыте и вполне доверяли санитарам, полагаясь на их инстинкт самосохранения. Повторять распоряжения по два раза не приходилось.

Когда Сергея занесли в больничный барак, к нему сразу подступил долговязый санитар. Врачиха уже предупредила его о новом пациенте, и он заранее подготовил таз с горячей водой, мыло с мочалкой, пижаму

с кальсонами, большую простыню (вместо полотенца). Тут же, в углу, жарко пылала печь, сложенная из кирпичей, дрова весело потрескивали в топке. Справа от входной двери стоял длинный прямоугольный стол из свежеструганных досок; на этот стол и водрузили безжизненное тело.

На шум прибежала Валентина Александровна, с беспокойством глядела, как Сергея укладывают на стол. Голова глухо стукнулась о неокрашенные доски, и она недовольно поморщилась:

— Поаккуратнее!

Санитар уже снимал с Сергея одежду, ловко орудуя большими хирургическими ножницами там, где нельзя было сделать это обычным путем. Грязная, перепачканная кровью одежда, порезанная на полосы, бросалась в тут же стоявший таз.

— Когда все закончите, отвезите его в процедурную, — распорядилась она. — И с руками, пожалуйста, поосторожнее. Вчера сама перевязку делала. Там обморожение второй степени. Да вы сами увидите! — И, вздохнув, пошла в свой кабинет.

— Валентина Александровна, я все сделаю как надо, пожалуйста, не беспокойтесь, — ответил санитар. До ареста он был главным врачом областной детской больницы, а здесь, в номерном лагере, почитал за счастье сутки напролет работать простым санитаром. Опытным взглядом профессионала он сразу понял, что Сергей был сильно избит, что у него сотрясение мозга и переломы ребер и лицевых костей, сильные ушибы по всему телу. Все это на фоне сильного истощения организма и вполне отчетливого угасания жизненных сил. Пациент был без сознания, но он не умрет — если только ему оказать необходимую помощь. Помощь заключалась в бережном обращении, в чистых простынях и теплом одеяле, в мягкой постели и четырехразовом питании. Плюс — согревающие уколы хлористого кальция. Антибиотики тут не понадобятся, да их и не выпишут простому эку — это санитар тоже понимал. Еще он знал — и это знание было многократно проверено его лагерной жизнью, — что первыми умирают те больные, у кого не осталось жизненных сил. А молодые и выносливые борются до последнего и часто побеждают. Лекарства тут не играли решающей роли (как это бывало в обычной гражданской жизни). Доставленных в больницу доходяг вовсе не лечили, и это поначалу возмущало бывшего главного врача, но потом он и сам убедился, что вылечить доходягу нельзя никакими таблетками или уколами. Когда организм предельно истощен и отказывается бороться с недугом — тут уже ничем не поможешь, никакая операция его не спасет. Таков колымский лагерь. Таков климат Крайнего Севера. К ним нужно было приспособиться. И тогда появлялась маленькая надежда на большое чудо — на чудо спасения жизни, которая едва теплится в безжизненном теле.

Последующие несколько суток слились для Сергея в один нескончаемый день. Его словно бы несло в мутном потоке, он то погружался в него с головой, и тогда все глохло и гасло, то выбирался из липкой жижи, и тогда видел какие-то тени, слышал приглушенные звуки и пытался выскочить из захватившего его течения; но это никак не удавалось, и его все несло





и несло куда-то вдаль. Он метался по кровати, часто вскрикивал и рвал с себя бинты. Тогда к нему подходили санитар или соседи по палате. Брели за руку и мягко, но настойчиво придавливали к постели. Так продолжалось семь дней. А на восьмой день Сергей пришел в себя. Открыл глаза и впервые осмысленно посмотрел на поперечную балку над головой. Потом перевел взгляд ниже, повел глазами вбок и увидел несколько кроватей, на которых лежали люди в пижамах. Он смотрел на них целую минуту, потом попытался поднять голову и засипел, беззвучно открывая рот.

Через несколько минут в палату быстро вошла врачаха. Села на краешек кровати, наклонилась...

— Так-так, очень хорошо! — произнесла с довольным видом. — Теперь дело пойдет на поправку. Ну-ка, скажи что-нибудь. Как ты себя чувствуешь? Помнишь, как сюда попал?

Сергей во все глаза смотрел на нее, силился произнести хоть слово, но не мог. Из глотки вырывались какие-то хрипы, было такое чувство, будто в горло уперлись колом и так держат, давят изо всех сил. Он судорожно пытался сглотнуть слюну, протолкнуть в себя то, что мешало ему, но это никак не удавалось.

Врач заметила его потуги, лицо ее стало озабоченным.

— А ну-ка открой рот! Шире! Еще, давай-давай, я так ничего не увижу!

Приблизила лицо и, крепко ухватившись пальцами за нижние и верхние зубы, осторожно раздвинула челюсти и заглянула в самое горло. Неподвижно смотрела несколько секунд, потом отпустила челюсти и стала осторожно прощупывать горло.

— Подъязычная кость цела, — проговорила как бы про себя. — А вот тут что такое — не пойму! — И она внезапно надавила куда-то в самый центр шеи, в самый нерв. Сергей дернулся всем телом, словно пытаясь выпрыгнуть с кровати, утробно захрипел, выкатив глаза из орбит.

— Ну-ну, все уже прошло. Больше не буду трогать, — поспешила она успокоить и демонстративно убрала руки за спину. Лицо ее стало озабоченным.

— В общем так, — произнесла Валентина Александровна, глядя Сергею прямо в лицо. — Говорить ты пока не сможешь. У тебя повреждены голосовые связки в результате сильного удара. Со временем голос восстановится... Должен восстановиться. Ты пока старайся молчать. Связкам нужен покой, они сами восстановятся, когда придет время. Понял меня?

Сергей медленно кивнул.

— Вот и хорошо. Ты лучше молчи пока. Оно и для тебя спокойней. А то встречаешь во всякие переделки. То с надзирателями дерешься, то чуть руки себе не отморозил. Уж лучше здесь побудь, пока все не успокоится. Тебя и допрашивать сейчас нельзя. Как же ты будешь отвечать без голоса? И рот не придется зашивать. Верно я говорю? — И она неожиданно улыбнулась и подмигнула Сергею. — Поправляйся давай! Еще



поживешь. Главное, спи побольше. Тебе сил нужно набираться. Ты еще молодой, справишься.

Много лет спустя Сергей вспоминал это напутствие доброй и мудрой женщины. Тогда он впервые поверил, что все выдержит, выйдет на свободу и будет жить дальше. Он словно прошел роковой рубеж, миновал самое дно, после которого начинается медленный подъем. Из преисподней к свету и к новой жизни, в которой не будет надзирателей и колючей проволоки, не будет лагерей, все будет по справедливости, по-человечески. Такая вера была ему необходима, потому что без нее человеку нельзя жить.

С этого дня Сергей пошел на поправку. Понемногу появился аппетит, с рук сняли бинты, и он стал осторожно шевелить пальцами. Потом начал подниматься и ходить между кроватями, крепко держась за спинки. А потом и вовсе стал выходить в коридор, шаркая ногами по полу и заглядывая в палаты, в которых лежали больные — такие же, как и он, заключенные в полинялых застиранных халатах. Половина больных были ампутантами с отморожениями. Смотреть на них было жутко, верно, оттого, что Сергей сам едва не остался без рук — воспоминание об этом было слишком живо.

Другая половина больных страдала пеллагрой, цингой, деменцией. И у всех без исключения была явно выраженная дистрофия. Да и как могло быть иначе в условиях Крайнего Севера при скудном питании и полном отсутствии витаминов? Сергей сам едва стоял на ногах. Только молодость и природный запас сил помогали ему держаться. Да еще толика везения (если здесь уместно это слово). Это такое везение, когда для приговоренного к расстрелу человека не хватает последнего патрона. И его отпускают — до поры. Патроны еще найдутся. А пока живи и радуйся.

Внимание Сергея привлек один больной с туго забинтованными руками. Он выглядел как старик — согбенный и страшно худой, костлявый, с глубокими морщинами на страдальческом лице. Но с этого лица смотрели удивительно чистые глаза небесно-голубого цвета. По этому взгляду Сергей понял, что это совсем не старик и что, быть может, ему нет сорока лет. В этом не было ничего удивительного. Колыма за несколько месяцев превращала молодых здоровых людей в дряхлых стариков — Сергей это знал. Сам он был недалеко от этого, а многие его товарищи состарились и умерли за один промывочный сезон. Сергей все присматривался к странному больному, пока с ужасом не обнаружил, что у того нет кистей обеих рук. Тугие бинты стягивали обрубленные культы. Тогда он и понял, отчего во взгляде этого человека было столько тоски. И он решился. Подошел к больному, когда тот прогуливался после обеда во дворе. Вытащил из кармана щепоть табаку и клочок газеты, ловко свернул сигарку и протянул больному.

— Закуривай!

Слово это он не произнес, а скорее подумал, выдохнул вместе со стывшим воздухом. Получилось сипло и невразумительно, но человек все понял, потянулся к сигарке. Сергей ловко вставил ее в раскрытые губы, чиркнул самодельной зажигалкой и поднес колеблющееся пламя ко рту.



Больной несколько раз жадно затанулся, непрерывно выпуская клубы дыма сквозь судорожно сжатые зубы, потом перевел взгляд на Сергея и медленно кивнул, одновременно смыкая веки. Благодарил, стало быть. Сергей кивнул в ответ и улыбнулся грустной улыбкой, как бы говоря: да, брат, досталось нам с тобой!..

Так они стояли несколько минут под холодным весенним солнцем, а потом так же молча разошлись.

После этого они обменивались взглядами при встрече, пару раз Сергей делал для него самокрутки и помогал прикурить. Этого было достаточно для возникновения того, что в обычной жизни называют взаимным доверием, а в колымском аду правильнее назвать осторожным прощупыванием друг друга. Однажды они разговорились, и Сергей услышал страшную историю этого человека без рук. Пару месяцев назад он совершил побег с прииска «Светлый», расположенного на сотом километре Тенькинской трассы. Ушел в сопки, прихватив с собой пару килограммовых буханок и несколько соленых горбуш. Пошел по солнцу и по звездам прямо на восток — к Колымской трассе, до которой было километров семьдесят по прямой. Но что такое прямая на Колыме? Бесконечная череда невысоких сопки, по которым зачастую приходится передвигаться на четвереньках, а то и ползком. За день удавалось пройти не больше десяти километров. Хлеб кончился на третьи сутки. Рыбы хватило на неделю. Воду он топил из снега в консервной банке. А уж как он проводил ночи среди снегов и пронизывающего ветра в двадцатиградусный мороз — об этом рассказать нельзя.

Закончился его побег вот как: солдаты из лагерной охраны нашли его заснувшим и закоченевшим возле костра. Увидели неподвижное тело и решили, что он уже мертв (а может, и не были уверены, а просто им было удобнее считать его мертвым). Только они сделали то, что делали всегда в таких случаях: большим тесаком отрубили обе кисти рук, чтобы предъявить их в лагере в качестве доказательства поимки беглеца и его смерти. Отрубили, значит, обе кисти, бросили их в холщовый мешок и пошли обратно в лагерь, до которого было километров десять. Беглец почти добрался до Колымской трассы, ему не хватило одного дня, чтобы выйти на нее, а там, если б повезло, мог влезть в какую-нибудь машину и поехать хоть на юг, хоть на север...

Он очнулся уже днем и увидел свои окровавленные обрубки. Его охватил ужас, он вскочил на ноги и побежал (так ему казалось) вниз по склону. Он проваливался в глубокий снег, падая, каждый раз с трудом поднимался (опереться на руки он теперь не мог). Спустился в ущелье и шел по нему наугад, сам не зная, куда он идет и зачем. Его подгонял смертный ужас, он не мог стоять на месте или сидеть — ему было страшно, дико, невыносимо жутко... этого нельзя выразить в словах! — и он все шел и шел, падая и поднимаясь, не чувствуя холода и боли, желая заглушить этот смертный ужас, это отчаяние. И случилось так, что он пришел в тот самый лагерь, куда принесли его отрубленные кисти! Это был лагерь «Развилочный», расположенный на двести сороковом километре



Колымской трассы. Туда-то он и явился — полусумасшедший, замерзший, перемазанный кровью. Его сразу отправили в санчасть, обработали культы, а акт о смерти от переохлаждения порвали. И тут же забыли о нем — такие случаи не были чем-то из ряда вон. Инвалидов без рук и ног, а то и без обоих глаз было полно. Никто особо не удивлялся и не печалился. Одним меньше, одним больше — невелика разница!

Рассказ этот поразил Сергея. Чтобы отрубить руки еще живому человеку — это было выше его понимания. Но он тут же вспомнил, как ему самому надели наручники в сорокаградусный мороз, и удивляться перестал. Он отдал весь запас табака этому бедолаге и отправился напрямик в кабинет к врачу.

Валентина Александровна, увидев его на пороге, радостно улыбнулась:

— А, это ты. Заходи, раз уж пришел. Молодец, хорошо выглядишь. Быстро на поправку пошел. Как твое горло? Можешь говорить?

Сергей легонько кашлянул и просипел:

— Могу, только тихо.

— Вот и славно. Раз начал говорить, значит, все будет в порядке. Связки постепенно восстановятся. Ты только береги горло. Старайся поменьше бывать на холоде.

При этих словах Сергей невольно улыбнулся:

— Скоро лето, а до зимы еще надо дожиться.

— Это точно, — подтвердила врачиха и строго посмотрела на Сергея. — Ну ладно, ты чего пришел? Говори скорее, мне некогда. Отчет готовлю для Магадана, видишь, сколько бумаг!

Сергей переступил с ноги на ногу.

— Хочу проситься на выписку, надоело мне тут.

Валентина Александровна вскинула брови:

— Вот как! На выписку просишься? Очень интересно. Обычно к нам все просят, «мастырки» себе разные делают, чтобы подольше остаться в больнице, а ты, выходит, сам хочешь уйти от нас?

Сергей посмотрел ей в глаза.

— Я тут узнал от ребят, что формируют новый этап куда-то на север, на днях отправят. Вот бы мне туда попасть.

— Да ты что! — вскинулась врачиха. — Ты хоть знаешь, куда их отправляют? Их на рудник Лазо повезут. Слышал о таком? Это же черт знает где! Туда трое суток нужно добираться — и все на север! Это за Эльгеном — километров триста с гаком. Там голые сопки, и больше ничего.

Сергей опустил голову:

— Все равно я должен отсюда уехать. Вы сами знаете — Зубенко от меня не отстанет. Как выйду из больницы, что-нибудь придумает. Уж лучше пусть я буду там, чем здесь меня пристрелят. Или еще чего...

Врачиха открыла было рот, но так ничего и не сказала. Некоторое время думала, потом шумно выдохнула:

— Ладно, поезжай. Там тоже люди живут. От этих иродов избавишься. Ты прав: не будет тебе здесь житья. Я тебе помогу. С мужем по-

говору, чтобы включили тебя в списки. Отправка послезавтра утром, так что будь готов. И никому не говори об этом. А то прямо на больничной койке тебя прикончат. Подговорят кого-нибудь и задушат ночью. Был тут у нас один такой убивец. Сколько душ загубил — ой-ё-ёй! У него срок был — двадцать пять лет. Смертную казнь ведь отменили, вот он и душил тех, кто ему не понравится. Задушит ночью полотенцем, а утром его забирают на новое следствие. Дают ему те же двадцать пять лет. А ему горя мало. Через несколько месяцев он опять кого-нибудь прирежет и дальше так живет. Кононенко его фамилия, вспомнила. Жуткий тип. Когда его к нам в больницу привезли, он мне сразу не понравился. Настоящий зверь! Вот попадись такому.

Сергей внимательно выслушал этот рассказ. Про такие вещи он слышал и не особо боялся подобной расправы. Блатные его уважали за смелость, за умение дать сдачи. И не блатных ему следовало бояться, не Кононенко, а обычных конвоиров, у которых винтовки и полная безнаказанность. Противопоставить этому ему было нечего.

Он лишь кивнул головой и произнес еле слышно:

— Спасибо. Я никому не скажу. Поеду на этот рудник. Не пропаду.

С тем и вышел.

## Рудник Лазо

Утром, сразу после завтрака, к Сергею подошел долговязый санитар — тот самый, что принимал его в приемном покое несколько недель назад.

— Собирайся быстрее. Тебя на вахту вызывают с вещами! — И он с тревогой посмотрел на Сергея. Он уже знал, что у лагерных ворот собирают большой этап, а за воротами стоят два грузовика с высокими бортами. Но не ожидал, что в этот этап попадет и Сергей. Ему все это представлялось недоразумением. Он хотел сразу идти к главному врачу и сообщить об ошибке, но решил сперва переговорить с Сергеем, к которому испытывал безотчетную симпатию.

Когда Сергей молча поднялся и стал собирать вещи из тумбочки, санитар взял его за плечо:

— Слушай, ты бы не ходил. Схоронись где-нибудь до вечера, а я скажу, что не нашел тебя. Там этап собирают. Повезут на север. Тебе не нужно туда ехать. Там гиблое место. Оловянный рудник, такой же, как здесь, только намного хуже. Понимаешь?

Сергей кивнул и слабо улыбнулся:

— Я все знаю. Я сам туда хочу, — произнес чуть слышно.

— Сам хочешь? — Санитар смотрел недоверчиво. — Да ты в своем уме? Кто ж туда по своей воле едет?

— Мне надо уехать отсюда, или меня здесь прикончат, — глядя санитару в глаза, проговорил Сергей. — Вы сами видели, как меня в изоляторе отделали. Я не хочу, чтобы это повторилось.

— Ну, тогда конечно, — с сомнением ответил санитар. Он все еще не верил, но уже понял, что Сергей точно решил ехать и отговаривать его бесполезно. — Поезжай, раз такое дело. — Добавил со вздохом: — Я-то думал, что тебя при больнице оставят. Может, оно бы и обошлось как-нибудь.

— Не обошлось бы, — с полным убеждением ответил Сергей и выпрямился. Собирать ему было особо нечего. Кружка, миска, ложка, пятисотка хлеба, приготовленная заранее; жестяная банка для кипятка и длинный верблюжий шарф, который он выменял на две пайки у бывшего инженера. Шарф у того все равно бы отобрали в бараке, а так он получил за него вполне солидную компенсацию.

— Жаль, что ты уезжаешь, — сказал санитар. — Хороший ты парень, береги себя!

— Вы тоже себя берегите, — ответил Сергей. — Бог даст, еще свидимся!

Санитар промолчал. Сколько он перевидал людей за восемь колымских лет — ни с кем ему не довелось встретиться во второй раз. Большинство его знакомых уже лежали в мерзлой земле, а остальные были рассеяны по множеству лагерей на гигантской территории, раскинувшейся от Охотского моря на юге до Ледовитого океана на севере и до Якутии на западе. Хотя и западнее Якутска было множество гиблых лагерей, но это уже считалось материком.

Сергей крепко пожал костлявую руку и, кивнув на прощанье, пошел на вахту.

Там уже метался начальник оперчасти со списком в руках.

— Где Осипов? Вот гад! Опять куда-то смылся. Ну я ему устрою... — Обернувшись, увидел Сергея и закричал издали: — А ты чего тянешься? Быстро залазь в кузов, сейчас поедem.

Сергей подошел к двухосному грузовичку с длинными бортами, вдоль которых уже сидели заключенные. У всех был пришибленный вид, на головы натянуты зимние шапки, телогрейки и бушлаты завязаны на все веревочки и тесемки. Все уже знали, что едут вглубь континента, туда, где июльский снегопад никого не удивляет, а зимой морозы бывают под шестьдесят градусов. Сергей заметил у лагерных ворот Зубенко. Тот смотрел на него не отрываясь и, кажется, готов был броситься с кулаками. Никак, видно, не ожидал, что добыча уйдет из-под носа. Будь его воля, он бы застрелил Сергея сию секунду. Но он видел список в руках у главного опера и понимал, что если Сергей значится в этом списке, то ничего уже сделать нельзя. Он уже не принадлежал этому лагерю. Вот если бы Зубенко назначили в сопровождение этапа, тогда бы, пожалуй, он что-нибудь придумал. Он и предположить не мог, что Сергея заберут прямо из больницы. По его подсчетам, тому оставалось лечиться еще недели две — так говорил один из фельдшеров. Да и врачиха к нему благоволила — это он тоже видел. Как же она допустила?.. Ответа на эти вопросы не было, и Зубенко кусал с досады губы, злясь на целый свет и стараясь скрыть свою злобу. Получалось, что заключенный, набивший ему морду



при всех, уходил из лагеря на своих двоих, и вряд ли теперь дороги их пересекутся. Теперь ему помнить эту оплеуху до конца своих дней!

Сергей видел сложную игру чувств на лице своего врага. Не сдержавшись, он ухмыльнулся и показал Зубенко крепко сжатый кулак, но так, чтобы этот жест выглядел естественным. Просто он вскинул руку, замер на мгновение, на что-то там пристально посмотрел, а потом ухватился этой рукой за высокий борт и одним махом запрыгнул в кузов. Уже оттуда снова посмотрел на остолбеневшего надзирателя и громко захохотал.

Его тут же дернули за рукав.

— Э, ты чему радуешься? Спятил, что ли?

Сергей посмотрел сверху вниз на сидящего прямо на досках круглолицего парня и, не переставая улыбаться, ответил:

— Да я тут фраеру одному сюрприз приготовил. Век будет помнить.

— Пайку, что ли, значил?

— Вроде того. Ну-ка, друг, подвинься. Скоро поедем. А что, далеко нас повезут?

Он уже опустился на доски и втискивался между тел, стараясь плотнее прижался к борту.

— Далеко, — невесело молвил сосед и отвернулся.

— Скорей бы уж, — пробормотал Сергей и посмотрел краем глаза туда, где стоял Зубенко. Того уже не было. Сергей натянул поглубже шапку на голову и опустил подбородок на грудь. Теперь он ничем не отличался от тридцати его собратьев, сидевших вдоль бортов и посередине кузова. Этап был готов к отправке.

— Зав-води мотор! — послышалась лающая команда.

Захлопали дверцы, зафыркал стартер, деревянный кузов дрогнул и мелко затрясся. Двигатель взревел, и все сидевшие в кузове разом покачнулись. Набирая ход, грузовик покатился по ухабистой, усеянной камнями дороге. Мелькнули уродливые лагерные ворота, за ними вторые; грузовик поехал под уклон. До Колымской трассы было километров двадцать. Потом около сотни километров до «Стрелки», а потом еще триста пятьдесят уже до самого места — мимо распадков и каменистых сопок, пересекая множество ручьев и горных речушек, вдоль берега Колымы, — все на север, в пустоту безжизненных пространств.

Сергей поначалу неотрывно следил за дорогой, словно хотел ее покрепче запомнить. Всем своим естеством он ощущал спадающее напряжение; казалось, что холодный ветер выдувал из него всю тяжесть и все то недоброе, что не давало расправить плечи и свободно и вольно вздохнуть всей грудью. Лагерь давно уже пропал из вида, а он все не верил, что вырвался из него и никогда уже сюда не вернется. Долгие месяцы он жил с гнетущим ощущением смертельной опасности, каждую минуту ждал какой-нибудь подлости: или конвоир вдруг ударит прикладом, или во время шмона получит по зубам, или его выдернут среди ночи со шконки и поведут в ледяной карцер, чтобы там подох. Он так и не понял, в чем тут дело, не мог постичь такой неистовой злобы со стороны людей,



которым он не сделал ничего плохого. И никто этого не понимал и даже не задумывался об этом. Все принимали происходящее как данность, как что-то такое, чего нельзя избежать, — этакая напасть вроде стихийного бедствия, пожара или наводнения, когда некогда думать о причинах, а нужно спастись или погибнуть. Вот и Сергей — спасался.

Он сидел возле борта и напряженно смотрел на дорогу, которая все время петляла среди сопок, то стремилась к бледно-голубому небу, то скачивалась в сумрачный распадок, то стелилась по равнине среди моря бурой травы и чахлах кустиков.

Наконец ему надоели все эти однообразные пейзажи, и он уселся поудобнее, тяжело навалившись спиной на борт, а голову втянув в плечи, чтоб не задувало сбоку.

— Что, передумал прыгать? — вдруг услышал он и повернул голову. На него насмешливо смотрел круглолицый парень.

— С чего ты взял? — ответил Сергей. — Я и не собирался. Что я, дурак — прыгать посреди дороги. Конвой сразу пристрелит. Да и куда тут убежишь?

— Это точно, — легко согласился парень. — Тут сильно не побегаешь. Я вон цельный месяц был в бегах. А все одно поймали. Сперва хотели меня расстрелять, а потом передумали.

Сергей недоверчиво оглядел тщедушную фигуру парня. Росточка он был небольшого, лицо простодушное, и говорил так, что никак нельзя было заподозрить в нем сильную волю или, скажем, непреклонность. Не иначе — врет. Что ж, дело обычное. Сергей уже с таким сталкивался, когда заключенные рассказывали про себя всякие небылицы. Частью от скуки, а главным образом — чтобы приобрести авторитет у окружающих. И что еще страннее: слушатели хотя и понимают, что все это туфта и нелепость, но все равно внимательно слушают и даже получают удовольствие от всех этих небылиц. Так радуются дети, когда слушают сказку про ковер-самолет и мечтают о несбыточном. С особым и никогда не ослабевающим интересом заключенные слушали рассказы о побегах. Тут уж кто во что горазд! Хотя опытные зэки знали, что бежать с Колымы невозможно, все же каждый втайне лелеял мечту о чуде, о каком-то тайном знании, которое поможет ему совершить то, чего еще никому не удавалось. Одна мысль о свободе заставляла учащенно биться сердце и придавала сил. Вот и Сергей, хотя не поверил парню, но не отвернулся сразу, не выказал насмешки, а решил расспросить поподробнее. Дорога длинная, ехать далеко. Отчего бы и не выслушать очередную сказку? Авось расскажет что-нибудь дельное. Россия — страна чудес. Это он давно уже понял.

— Ну давай, рассказывай, — произнес он таким тоном, будто делал одолжение.

— Чего рассказывать?

— Про то, как ты плутал по этим горам!

Парень обиженно засопел.

— Ничего я не плутал. И вообще, это не здесь было.

— А где?

— На Верхнем Сеймчане. Мы как раз мимо него поедem. Я оттуда, слышь ты, на Северный полюс едва не уплыл! — и он бросил на Сергея испытующий взгляд, проверяя реакцию.

Сергей принял новость спокойно. Понял, что парень не то чтобы привирает, а скорее шутит.

— Ну-ну, — сдержанно молвил он. — Про Северный полюс — ты это хорошо придумал. А поконкретнее?

Парень понял, что собеседник ему попался с понятием. Он словно бы задумался, отвел взгляд и вдруг спросил:

— Ты по какой статье сидишь?

— По пятьдесят восьмой. А по мне не видно?

Парень пожал плечами:

— Всякое про тебя говорят. Вон, урки тебя стороной обходят. С конвоем поцапался. Бедовый ты, видать!

Сергей улыбнулся:

— Было дело. А что я, терпеть должен, когда меня по морде бьют? Не на того нарвались. — Он немного помолчал, потом спросил: — Тебя как звать? Давно сидишь?

— Да я уж восьмой год срок мотаю. Еще пару лет — и домой... если отпустят, конечно. Я слыхал, сейчас на материк никого не отпускают. Многие прямо при лагерях остаются, вольнонаемными. А кому-то новый срок накручивают. Это у них запросто. — Он вдруг замолк и посмотрел в глаза Сергею. — Меня Григорием зовут. Я тут уже все объездил. В Ягодном побывал, в Сусумане чалился, да и всю Колымскую трассу, почитай, на брюхе прополз. Лучше всего было в Сеймчане. Там большая овощеводческая ферма, может, слыхал?

— Слыхал.

— Ну и вот. Баб там полно. Они-то меня и прятали, прямо в теплице. Зароют в навоз, я и сижу там, пока идет проверка. Потеха! Они меня после вытащат, отмоют — и к себе в постель. С месяц кантовался у них, пока меня по всей трассе искали. Не жизнь, а малина! А потом выдала меня одна бабенка. Приревновала к подруге, ну и стукнула куму. А так они бы меня еще долго искали.

Сергей недоверчиво посмотрел на парня:

— Сочиняешь, небось?

— Вот те крест! — вскинулся тот. — Про меня там каждая собака знает — в Сеймчане то есть. Я ведь, когда в побег ушел, сначала прятался на острове, а потом мне это надоело, и я прямо по трассе почапал в сторону Магадана. А там посты через каждые двадцать километров. Останавливали меня, а я им плел, что в больницу иду, мол, заболел и все такое. У меня были с собой талоны на дополнительное питание за хорошую работу с печатью и подписью начальника ОЛП\* Ляховецкого.

\* ОЛП — отдельный лагерный пункт.

Мне и верили. Тушенкой меня кормили, а однажды даже посадили на попутный транспорт, он как раз шел в мою сторону. Ну и довез меня до Нижнего Сеймчана. Шофер-то быстро смекнул, что к чему. Но не выдал. Сам из бывших, спасибо ему.

— Да, удачно получилось, — произнес Сергей. — Ну а дальше что было? Что ты там про Северный полюс говорил?

Парень сразу заулыбался.

— Так это еще раньше было. Я ведь сперва на острове отсиживался. Там Колыма течет. Это река такая, слышал, небось? — И он блеснул озорно глазами.

Сергей лишь кивнул.

— Ну так вот, остров в прямой видимости, а догадки ни у кого не хватило, что я на нем могу прятаться. Днем отсиживался в кустах, а ночью переплывал обратно и таскал продукты со склада. Там на берегу лодка брошенная была, я на ней и плавал туда-сюда. Так и думал, что поплыву на этой лодке по Колыме аж до самого Ледовитого океана. Тыщи полторы километров будет! Но мне-то что? Не ногами же идти по камням. Сел в лодку, и плыви себе, лодка сама тебя донесет. Я уж и продуктов запас на дорогу, снасти приготовил для рыбалки. Да только ничего не пригодилось. Однажды меня застукали и пришлось все бросить и срочно уходить. — Он пригнул голову и погрузился в воспоминания. — Хотя все одно — никуда бы я не уплыл. Мне уже потом сказали, что по всему берегу Колымы расставлены оперпосты. И ниже по течению лагерей полно. Никак не проскочишь. Да и весел у меня не было. Куда там!

— Ну все равно, попробовать стоило, — заметил Сергей. — Сам же сказал — лодка была. Вместо весла взял бы палку подлиньше — и плыви себе. Ночью плывешь, а днем затащил лодку на берег и дрыхни. Кто тебя увидит?

Парень с отсутствующим видом смотрел на него. Видно, сам теперь жалел, что не решился.

— Так я чего, я не против, — проговорил со вздохом. — У меня все уже готово было. Только решил я в последний вечер еще раз сплавать на другой берег. Там склад с продуктами, а я место знал, где пролезть можно. Ну и решил еще раз слазить. Поплыл в темноте. Ну и что? Иду себе, а навстречу мне начальник лагеря «Туманный». Представляешь? Увидел меня и кричит: «Шевяков, ты, что ли? А мы уж тебя искать перестали. Ты чего тут делаешь?» А я стою — ни жив ни мертв. Думаю, сейчас как пальнет из нагана, а тело сбросит в воду. А че ему? Одно развлечение. Пристрелил беглеца, еще и орден дадут! Но он не стал стрелять, а повел меня в лагерь. Идет сзади и приговаривает: повезло тебе, сукин ты сын, что это я тебя поймал. Другой бы тебя порешил на месте, а я не хочу о тебя руки пачкать. Пускай тобой оперчасть занимается. Получишь сполна за свой побег. Так и знай!

Парень замолчал, лицо его приняло обиженное выражение.

— Как же ты ушел от него? — спросил Сергей.



— Сделал вид, что покорился. Я и в самом деле думал, что все кончено. Только в какой-то момент меня словно пронзила молния. Мы как раз вдоль берега шли, а темно, кусты густые прямо у воды. Ну я и кинулся в эти кусты. Сам от себя этого не ожидал! Продрался сквозь ветки и прыгнул в воду. Погрузился с головой и плыл, пока воздух не кончился. Начальник стрелял по воде, да что толку! В темноте ничего не увидишь, а я под водой плыл. Так и уплыл от него. Выбрался на берег ниже по течению и как был, так и пошел прямо по дороге. Думаю: будь что будет. Возьмут так возьмут.

Сергей недоверчиво глянул:

— Погоди, а погони разве не было?

Парень ухмыльнулся:

— В том-то и фокус, что начальник никому не сказал про меня. Видно, стыдно стало, что упустил. Над ним бы потом смеялись, вот и промолчал.

— А выстрелы?

— Там выстрелами никого не удивишь. Он же начальник лагеря! Скажет, что померещилось в темноте, вот и начал палить.

— Тогда понятно, — согласился Сергей.

Рассказ этот вызвал у него двойственное чувство. Парень рассказывал очень убедительно, как будто все было на самом деле. Но сам рассказ казался неправдоподобным. Начальник лагеря самолично конвоирует беглеца. Тот сбегает и после этого спокойно идет по дороге, и никто его не останавливает. Все это выглядело нелепо, но он уже знал, что такие вот нелепицы вполне могут происходить в жизни. А кроме того, они как раз ехали в те места, где, по словам парня, происходили все эти события. И если только он наврал, то это скоро выяснится. Так зачем же ему придумывать такие небывальщины?

— Мы в Сеймчане будем делать остановку, ты сам увидишь, что там про меня всё знают, — словно прочитав его мысли, молвил парень. — Я ничего не придумал, ей-богу! Так все и было.

Сергей отвернулся. Было или не было — это не так уж и важно. Могло быть — и точка! А раз могло, значит, считай, что было. Но его что-то не устраивало в этом рассказе, была какая-то досадная неувязка. Он склонил голову и поджал губы. Так сидел некоторое время, потом кивнул своим мыслям и шумно выдохнул.

— Зря ты не поплыл в своей лодке! — произнес, не поворачивая головы. — Ты ведь мог вернуться к ней и спокойно уплыть вниз по течению. Тем более что начальник никому не сказал про тебя — чем же ты рисковал?

Парень глянул на него с удивлением и как бы не веря, а потом вдруг кивнул:

— Я тоже об этом думал. Но в тот момент как-то все перепуталось в голове. Я все ждал погони, думал, что он всех на ноги поднимет. А так бы оно, конечно, мог и уплыть.

— А может, он тебя пожалел? — спросил Сергей, но парень глянул на него таким взглядом, что Сергей смутился от собственной наивности.

Больше он ни о чем спрашивать не стал. Уселся поудобнее, обхватил покрепче колени и прижал их к себе, опустил голову на руки и закрыл глаза. Машина все тряслась на усеянной острыми камнями дороге, мотор натужно ревел, ледяной ветер проносился поверх голов, а он в это время представлял, как плывет в лодке по ночной реке. Вокруг тишина, все замерло, лишь слышатся изредка слабые всплески. Он плывет точно посередине, во тьме его не видать с берега. На дне лодки мешки с провизией, бушлат, большая консервная банка и двухметровый шест. Время от времени он внимательно смотрит по сторонам, но все тихо. Так он плывет всю ночь, и лишь перед рассветом берет шест и направляет лодку к берегу, к черным кустам. Смог бы он так проплыть полторы тысячи километров? Если за ночь проплывать полсотни километров, то за тридцать дней он бы добрался до океана. Ничего невозможного в этом нет. Вот он уже видит впереди бескрайнее море, суша здесь заканчивается, береговая линия убегает влево и вправо и исчезает вдали. Над головой бесконечное пространство, наполненное светом. Полное безлюдье. Тишина. Свобода! Господи, как это хорошо...

В эту секунду грузовик подпрыгнул на ухабе, и все тридцать сидевших в кузове заключенных одновременно подлетели и тут же опустились на жесткий настил. Сергей сдавленно вскрикнул во сне и широко открыл глаза. Бескрайнее море исчезло; вместо неоглядной дали он видел копошащихся вокруг людей в грязных бушлатах и шапках-колымках, слышал ругань, перемежаемую всхлипываниями. Не все благополучно перенесли этот толчок. Но горя мало: машина неслась вперед, поглощая километры и оставляя позади себя бескрайние пространства. Впереди были такие же сопки и такие же неоглядные дали. Чья-то злая воля влекла людей прочь от обжитых мест и устоявшегося быта — в неизвестность. Каждый, верно, думал про себя: доведется ли проехать по этой дороге обратно? Или навсегда останешься там, в этой жуткой дали, среди вечной мерзлоты и всеобщего равнодушия?

Изменить ничего было нельзя. И люди кутались в свои лохмотья, стараясь сберечь силы и не заколеть на ледяном ветру.

Весь путь до места назначения занял трое суток. Сергей произвольно запоминал крупные лагеря с причудливыми названиями: «Тунгуска» (на 230-м километре Колымского тракта), «Филатовка» (255 км), «Мякит» (260 км), «Берентал» (280 км), «Галандино» (290 км), «Герба» (302 км), «Красная Речка» (315 км) и, наконец, знаменитая «Стрелка» (335 км), возле которой Колымская трасса раздваивалась. Основная дорога уходила на северо-запад, к Якутии, а побочная ветвь резко поворачивала вправо, словно бы желая догнать реку Колыму, по берегам которой было построено множество лагерей, в том числе и знаменитый «Сеймчан». В этой стороне названия лагерей стали более поэтичными:



«Радужный», «Вертинское», «Сентябрьский», «Аннушка», «Геологический», «Топографический», «Осенний», «Сенокосный», «Золотистый», «Семилетка», «Юрты». Хотя, конечно, попадались и суровые названия: «Кинжал», «Партизанка», «Среднекан», «Таежный», «Колымское», «Суксукан», «Буюнда», и другие лагеря и «командировки», а еще приземистые бараки и большие армейские палатки, разбросанные там и здесь. Сотни тысяч людей жили и работали в этом суровом краю среди бескрайних сопок, под холодным колымским солнцем летом и в шестидесятиградусные морозы зимой, которая наступала уже в октябре и длилась до конца апреля.

Дорога уводила все дальше на север, и все это чувствовали: становилось холоднее и неприятнее. Никто уже ни с кем не разговаривал, всем хотелось поскорей прибыть на место. А уж там — будь что будет, лишь бы выбраться из проклятого кузова, распрямить затекшие ноги, съесть миску горячей баланды и упасть без сил на деревянные нары в бараке. И сразу спать! — хоть до второго пришествия. Сергей тоже порядком устал. Все тело занемело, не хотелось ни говорить, ни слушать. Эти безжизненные пространства подавляли душу, заставляли чувствовать себя какой-то мошкой, случайно залетевшей в эту глушь себе на погибель. Он вспоминал родную Керчь и дивился, что на одной планете могут быть столь разные места. Там — теплое ласковое море и буйная растительность, дружелюбные люди и ощущение полета. А здесь один лишь холод, мертвящее дыхание ледяных ветров и безжизненные просторы, от которых веет безнадежностью. Зачем же их везут в эти дали, где нет ничего? И, отвечая себе, он подумал: их везут сюда умирать. Но прежде из них выжмут все соки, вытянут последние силы, заставят надрываться на непосильной работе. Государство получит тонны золота и олова, в магазинах крупных городов появится белый хлеб и сливочное масло, люди будут ходить в театры и читать газеты, не зная, что все это оплачено страданиями и кровью невинных людей. За взятое из земли золото в эту же землю ложатся сотни тысяч людей — со своими чаяниями и надеждами, с несбывшимися мечтами и со страшной тоской, о которой невозможно рассказать.

Под вечер третьего дня машина подъехала к лагерным воротам и, качнувшись, остановилась. Двигатель затих. Захлопали дверцы, послышался топот множества ног, хрипло залаяли собаки.

— Выходи из машины! — раздалась команда.

Сергей поднял голову и увидел конвоира с винтовкой; тот смотрел на Сергея в упор.

— Ну, чего смотришь? Быстро спрыгнул на землю. Тут вам не материк!

Сергей усмехнулся и стал подниматься. И все вокруг тоже зашевелились и полезли через борта. Вокруг машины уже стояли конвоиры, у двоих были овчарки на поводках. Овчарки злобно лаяли и вставали на задние лапы, казалось, они вот-вот сорвутся и бросятся с оскаленными



клыками на незащитных людей. Сергей уже имел дело с овчарками и не боялся. Овчарки предсказуемы — они обычно прыгают на грудь человеку, стараясь дотянуться до шеи. Но это редко удается: человек закрывает лицо руками, и тогда собака хватается за локоть или за кисть. Если на человеке толстый бушлат (а заключенный на Кольме почти всегда в бушлате, даже летом), то прокусить руку не удастся, и собака в неистовой злобе мотает и дергает эту руку изо всей силы, и в это время нужно обязательно устоять на ногах, потому что если упадешь, то овчарка кинется тебе на грудь, схватит за лицо, за скулу — вырвет мясо прямо с костями, такое тоже бывало. Но Сергей был в себе уверен. Он спрыгнул на землю и, косо глянув на конвоира с беснующейся овчаркой, равнодушно отвернулся и пошел вдоль борта.

В ту же секунду овчарка сорвалась с поводка и бросилась сзади на него, растопырив лапы. Сергей почувствовал опасность и резко обернулся, рефлекторно нанеся правой ногой сильный удар овчарке в грудь. Та лягнула челюстями и отлетела на несколько метров, тяжело упав на землю. Тут же подбежал конвоир, заорал с перекошенным лицом:

— Ты чего, фашист, руки распускаешь? — И, оглянувшись на своего пса, приказал: — Буян, куси его! Рви его, сволочь такую!

Но овчарка лишь злобно рычала и скалила зубы, не решаясь на повторный бросок. Она почуяла в Сергее такого же зверя, только более сильного и бесстрашного. Это был звериный инстинкт — безошибочный и властный. Переступить через него она не могла.

Сергей в это время прижимал к груди окровавленные пальцы (овчарка все же успела зацепить его клыками) и пристально смотрел в глаза собаке. Он уже знал: та больше не бросится. И просто стоял и ждал, когда все закончится. Применять оружие конвоир не имел права, ведь Сергей не проявлял агрессии. Это конвоир не удержал собаку на поводке, с него и спрос!

Подбежал начальник караула.

— Что тут такое? — спросил, хмуро оглядывая притихших заключенных.

Конвоир замялся, потом проговорил обиженным голосом:

— Да вот этот фраер хотел броситься на меня, а Буян не дал.

Сергей остолбенел.

— Ты чё, дурак? Зачем я буду на тебя бросаться, когда у тебя собака? Я тебя первый раз вижу, зачем мне это надо? — И, повернувшись к начальнику, твердо проговорил: — Это он ее не удержал, когда я из кузова выпрыгнул. Я пошел к воротам, а собака кинулась на меня сзади. Вон за руку меняхватила! — И он показал пальцы на правой руке, с которых капала быстро густеющая кровь.

Начальник нахмурился.

— Ладно, потом разберемся. Живо ведите его на санобработку. — И, повернувшись к конвоиру: — А ты своего кобеля держи крепче! Еще раз такое повторится — сам у меня будешь тачку катать. Понял меня?



Конвоир опустил голову:

— Понял.

Сергей уже шел к лагерным воротам. Рука болела, но он радовался, что легко отделался. Зубастая овчарка запросто могла отхватить пальцы, хватка у нее крепкая. Повезло, что зубы скользнули по кисти. Все произошло молниеносно, опоздай он с ответным ударом, все бы закончилось куда хуже.

Он шел в толпе и думал над случившимся, а заключенные искоса поглядывали на него, удивляясь его удачливости: и собаке не поддался, и начкару ответил как следует. Видно, правду говорят, что смелость города берет!

Всех заключенных загнали в лагерную баню. Выдали каждому по тазу чуть теплой воды и по маленькому кусочку мыла. А все тряпье забрали в санобработку (сказать проще, «вошебойку» — изобретение местных умельцев, сделанное из двухсотлитровой бочки, в которую заталкивали одежду, а потом нагнетали пар).

Когда они уже вышли из моечной и натягивали на мокрое тело влажное белье, Сергея кто-то тронул за плечо.

— Ловко ты этого пса отоварил. Я уж думал, он тебя сожрет с потрохами! — Перед ним стоял тот круглолицый парень, назвавшийся Шевяковым. — Как рука, ничего он тебе не оттяпал?

— Да нет, все в порядке. Уже и кровь не идет, — ответил Сергей, мельком глянув на свою руку. Пошевелил пальцами и удовлетворенно кивнул. — Все нормально. Не успела цапнуть. Я ее в грудь саданул. Она, видать, не ожидала. А я сам не знаю, как это произошло. Ударил не думая. А что мне оставалось?

Парень согласно кивнул.

— Ты молодец. Слушай, а давай вместе работать! Тут все парами работают, один тачку катает, а другой насыпает. Выработка общая. Норма — десять кубов за смену. Мне уже рассказали местные. Нужно в одну бригаду попасть. Ты не смотри, что я такой невзрачный. Я выносливый, работать умею. Меня даже бригадиром ставили на сенокосе. Потом, правда, сняли, в карцер посадили. Но это уж я не виноват. Просто сено закончилось, а они всё требовали — давай да давай. А как я дам, когда нету! Вот и загремел на десять суток, чуть не загнулся там. Я ведь из-за этого карцера и ушел в побег. А так бы ни за что не решился. Просто довели меня...

Сергей неспешно одевался, слушая парня. Тот ему чем-то нравился. Не то своей простодушностью, не то какой-то чудинкой. А впрочем, с кем ни работай и как ни старайся, а всё равно тебя будут гнуть и ломать со всех сторон. И никто не поможет. Вся надежда — только на себя.

— Ладно, попробуем, — молвил он, когда кончил одеваться. — Вместе так вместе. Только смотри — не влипни со мной в какую-нибудь передрягу. Со мной вечно разные истории случаются. Так что не обессудь, ежели чего.

Дальше все было так, как и говорил парень. Они заняли нары по соседству и угодили в одну бригаду. Когда на следующее утро их повели в каменный карьер, парень встал рядом и так шел до места. Уже в карьере быстро схватил тачку, кинул в нее лопату и подкатил к Сергею.

— Порядок! Я взял самую хорошую лопату. И тачка вроде ничего, сильно не скрипит.

А потом была тяжелая работа, которую не всякий выдержит. Даже Сергею, несмотря на его молодость и силу, было нелегко. Шесть часов кряду он врубался лопатой в россыпь камней и закидывал ее в железную тачку, которую и порожняком было непросто катить. А тут почти центнер веса. Попробуй-ка укати ее по гнущимся доскам, а где-то и в гору! Сначала Сергей накидывал породу в тачку, а парень возил ее на промприбор, а после обеда они поменялись, и тогда Сергей почувствовал всю ее тяжесть и удивился силе парня, умевшего провезти этакую неповоротливую махину пятьдесят метров по узкой вертявой доске. Так они работали двенадцать часов, а потом пошли обратно в лагерь. Все жутко устали и едва волочили ноги. Норму почти никто не выполнил, и конвоиры привычно ругались, обещая в следующий раз оставить бригаду на ночь, пока не сделают норму. Шевяков устало брел, опустив голову. Видно, тоже не ожидал такой напасти. Не зря их пугали этим прииском. Выдержать тут хотя бы год вряд ли удастся. Это уж он понимал. Понимали и все остальные. Пережить здесь зиму почти никто не надеялся. И убежать отсюда было нельзя. Лагерь стоял на речке Сеймчан, которая текла на юг и через двести километров впадала в Колыму; на всем ее протяжении были устроены оперативные посты, миновать которые было невозможно. Все об этом быстро узнали и окончательно сникли. Выхода не было.

Но Сергею и его напарнику повезло — через месяц их включили в бригаду строителей из тридцати человек и отправили на обогатительную фабрику, расположенную в полутора километрах от рудника. Сергей когда-то хорошо клал печи — а это очень ценилось в краю вечной мерзлоты. Шевяков сказал нарядчику, что до ареста работал токарем, и его тоже взяли на фабрику. Но токарь он был (как потом выяснилось) туфтовый, и Сергей упросил бригадира определить Шевякова к нему подсобным рабочим и учеником, пообещав сделать из него хорошего специалиста, а потом перевести на самостоятельную работу. Нарядчик, подумав, согласился. Он вполне оценил навыки Сергея и не прочь был получить еще одного печника — благо работы по этой части было полно не только в лагере, но и в вольном поселке, где в каждом доме была печь, и печь эта или отчаянно дымилась, или плохо грела, или тяги у нее не было.

Теперь у Сергея был помощник, и дело пошло ходко. С утра они принимались за работу — чистили дымоход или перекладывали поновому кирпичи. Работа была не тяжелая (в сравнении с карьером), никто не стоял над душой и не подгонял. Сергей хорошо клал несложные трехоборотные печки. Его стали приглашать в поселок, где жили вольнонаемные, и там им частенько перепадала миска щей или горбушка хлеба.



Но однажды вышла неприятность. Они перебирали печь в лагерной больничке, когда в палату ворвался надзиратель.

— Вот ты где, гаденыш, я тебе покажу, как воровать!

И он накинулся на Шевякова с кулаками. Это был дюжий мужик с большими волосатыми руками, а главное — понимавший, что он может сделать с заключенным все, что захочет, и ему за это ничего не будет.

Однако на этот раз все было по-другому.

Сергей быстро подошел к нему и крепко схватил за локоть. Надзиратель вскинулся, словно не веря глазам:

— Тебе чего? Ну-ка быстро отошел!

Сергей опустил руку.

— Не надо его бить. Если он виноват, ведите его в оперчасть, там разберутся. Я все время с ним был, он ничего не мог украсть, я бы заметил. Да и зачем это? У нас и так все есть.

Все время, пока Сергей говорил, надзиратель бешено вращал глазами, будто видел что-то такое, что не укладывалось в сознании. Наконец он сообразил и — резко толкнул от себя Шевякова, тот повалился на пол, ударившись головой о приступок.

— Ты что, фашист, заступаться будешь? Я тебе покажу, как пасть открывать! — и он бросился на Сергея. Но тот отпрыгнул в сторону и схватил лежавший на притолоке столярный топорик.

— Не подходи, а то секану! — крикнул он, поднимая топорик над головой. — Мне все равно тут подышать. — И он сделал шаг навстречу, крепко сжимая рукоять.

Надзиратель застыл на месте, лицо его задергалось. Он силился что-нибудь сказать, но язык не повиновался, и ноги словно бы приросли к полу. Впервые в жизни он узнал, что такое настоящий страх — не то щекочущее нервы чувство, когда колеблешься и принимаешь решение в борьбе с самим собой, а самый настоящий ступор, полный паралич, когда тело действует независимо от сознания, подчиняясь инстинкту, который говорит: стой на месте! Или: упади и притворись мертвым! А чаще всего так: беги без оглядки! (Иногда, конечно, попадаются такие удалцы, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, и страх им неведом. Но среди надзирателей и опричников такие индивиды до сих пор не замечены.)

Как бы там ни было, а надзиратель попятился от Сергея. Взгляд его был прикован к сверкающему лезвию топорика: он вдруг очень отчетливо представил, как это лезвие вонзается в его тугую башку и оттуда брызгает алая кровь, падает крупными каплями на грязный пол вместе со спутавшимися волосами. Это было отвратительное видение, и он все пятился и пятился, пока не распахнул спиной входную дверь и не вывалился в коридор. Послышался звук быстро удаляющихся шагов, какое-то ворчание, и все стихло. Инцидент таким образом был исчерпан. Хотя Сергей понимал, что его ждет очередное разбирательство, снова его будут обвинять в нападении на конвой и в буйстве. Но он несколько не жалел о содеянном. Не заступиться за товарища он не мог — такой уж был у него характер.



Вечером, когда бригада строителей подошла к лагерю, с вахты вышел надзиратель со списком в руках и стал зачитывать номера. Все, кого он называл, торопливо проходили через распахнутые ворота, по обеим сторонам которых стояли конвоиры с винтовками. Когда очередь дошла до Сергея, надзиратель оторвал взгляд от бумаги и задумчиво посмотрел на него, словно решая, что с ним делать.

— Ты сейчас зайди на вахту, там дежурный тебе все объяснит.

Шевяков беспокойно дернулся:

— Я с ним пойду, расскажу, как все было!

Надзиратель перевел на него тяжелый взгляд:

— Шуруй в зону. Без тебя разберутся.

Сергей сделал ему успокоительный знак:

— Иди в барак, я скоро приду. За меня не переживай!

Вся бригада пошла от лагерных ворот в зону, громко разговаривая и размахивая руками, а Сергей свернул направо к деревянному одноэтажному домику, в котором размещалась вахта.

Там его уже ждали. Дежурный поднялся навстречу, спросил строго:

— Ну что, допрыгался? В штрафной лагерь захотел?

Сергей остановился на середине помещения. На него с любопытством смотрели конвоиры, на лицах играли снисходительные улыбки. По их лицам Сергей понял, что ничего страшного ему не грозит. Если бы ему клеили очередное дело, то вызвали бы в оперчасть и там допрашивали, как это было в «Днепровском», когда он зашил себе рот. Тот случай, как видно, сыграл свою роль, и дело ему уже не клепали, а просто решили объявить готовое решение — не расстрел, и не новый срок, и даже не штрафной лагерь (если бы ему присудили штрафняк, то не сказали бы об этом, а просто вызвали на этап — и дуё себе по холодку; да и не могли так быстро управиться, такие дела не решаются за несколько часов).

— В общем, так, — произнес дежурный, — тебе присудили десять суток строгого карцера, вот постановление начальника лагеря.

Сергей бессильно опустил руки.

— За что?

— Как за что? А кто хотел зарубить надзирателя, я, что ли? Спасибо скажи, что легко отделался! И баба эта недавно приходила, сказала, что нашла свой пиджак у себя дома. А если бы не нашла, так вы бы с напарником вместе пошли под суд, отвесили бы обоим ещё по десятке. Повезло вам.

— Так я и говорил, что он не виноват! Я с ним все время был, заметил бы, если что. Да и зачем ему пиджак? Где он его носить будет, на парашу, что ли, в нем ходить?

— Ты тут не умничай! — возвысил голос дежурный. — Шибко борзый, как я погляжу. Мы тебе рога-то быстро поотшибаем. Ещё раз кинешься на конвой с топором, сразу пристрелим, так и знай.

— Он сам на меня полез. Я просто припугнуть его хотел, чтобы не дрался.



— Вот и получи десять суток. И моли своего итальянского бога, чтобы все так и закончилось. В тридцать восьмом тебя бы за такие штучки сразу к стенке поставили.

Сергей хотел ответить, но сдержался. Да и что толку спорить? От дежурного ничего не зависело, он просто сообщил ему о наказании, а решение было принято в другом месте и другими людьми. Изменить тут ничего было нельзя. Заключенных расстреливали за косой взгляд, за двусмысленную улыбку или вовсе без всякой причины — просто потому, что конвоирам что-то там померещилось или начальник лагеря проснулся в плохом настроении и ему пришла нужда сорвать на ком-нибудь злобу. Все об этом знали — и заключенные, и лагерная администрация. Знали и принимали как должное.

Прямо с вахты, не заходя в свой барак, Сергей пошел в лагерный изолятор. «Десять суток — не десять лет. Уж как-нибудь...»

Но изолятор есть изолятор, а Колыма есть Колыма. На седьмой день пребывания в ледяном каменном мешке у Сергея поднялась температура, и он не смог утром встать по подъему. Семь суток полуголодного существования, ледяной пол и голый цемент сделали свое дело. Сергей заболел, да так, как никогда еще не болел. Голова сделалась страшно тяжелой, и не было сил ни двигаться, ни думать о чем-нибудь. Как сквозь пелену видел он надзирателя, стоявшего в дверном проеме и что-то говорившего со злобной гримасой; надзиратель приблизился и толкнул его ногой в плечо. Тело колыхнулось, но боли он не ощутил и даже не почувствовал удивления, словно это происходило не с ним. Он безучастно смотрел на надзирателя, а тот шевелил губами и забавно гримасничал, так что Сергею стало смешно. Запекшиеся губы его дрогнули, он улыбнулся — страшной улыбкой обессиленного, вконец измученного человека. Надзиратель так и застыл с открытым ртом, потом повернулся и пошел из камеры. Лязгнула железная дверь, и все стихло. Сергей блаженно закрыл глаза. Как хорошо! Нет ни желаний, ни чувств. Умереть прямо сейчас — вот была бы красота! — не подумал, а почувствовал он. Все его естество просило покоя, он жутко устал от этой проклятой жизни, от беспрестанной борьбы, от безысходности, от несправедливости, которая творилась каждый день, каждую секунду их беспросветной жизни.

После обеда Сергея увезли в больницу. Там — в относительном тепле и уюте — он быстро пошел на поправку. Его чем-то кололи, давали какие-то таблетки — все это он равнодушно принимал, почитая за главное счастье эту вот неподвижность, чувство покоя. Обычная железная кровать с провисшей панцирной сеткой казалась ему каким-то чудом. Застиранные измочаленные простыни и тонюсенькое одеяльце приводили в умиление. Он уже и позабыл, что можно весь день спать на простынях на отдельно стоящей кровати, когда никто не толкает тебя в бок и не трясет вагонку так, что с нее сыплются опилки. Санитары и врачи были всегда сосредоточенны и молчаливы, смотрели по большей части в пол и



никому не грубили, никого не ругали последними словами — это тоже было чем-то необыкновенным. Что-то вроде оазиса среди выжженной солнцем пустыни. В этой-то больнице Сергею улыбнулось счастье. Улыбка была недолгой, но и этой малости хватило, чтобы поддержать его слабеющие силы и веру в себя. Так незримые сущности приходят к человеку на помощь в минуту отчаяния — когда, кажется, все уже потеряно и надежд не осталось. (Сущности эти помогают в минуту крайней опасности и лишь тем, кто достоин этой помощи! — добавим в скобках.)

В нашем случае спасительная сущность приняла облик обаятельной двадцатипятилетней женщины — вольнонаемного врача той самой больницы, в которой оказался Сергей. Как она оказалась на Колыме — неважно. Подобные случаи не были такой уж редкостью — когда врачи бросали налаженный быт и ехали на край земли, на риск и лишения, чтобы спасти жизни тем, кого общество прокляло и объявило вне закона, но кто нуждался в уходе и помощи, в заботе и слове сочувствия. Это было не только исполнением клятвы Гиппократова, но и потребностью души.

Надежда (так ее звали) была терапевтом в лагерной больнице, но, как и все терапевты на Колыме, вынуждена была делать несложные хирургические операции, быть стоматологом и окулистом, лором и фтизиатром, а также психиатром, анестезиологом, кардиологом, онкологом и урологом. Самых трудных больных она отправляла в центральную колымскую больницу на левый берег, а всех остальных спасала сама (кого еще можно было спасти). Когда она впервые увидела Сергея на больничной койке, то вдруг остановилась, будто уткнулась в стену, и, наклонив голову, стала всматриваться в заросшее щетиной лицо. Так она смотрела несколько секунд, потом опустила глаза и молча пошла из палаты, о чем-то напряженно думая. Больные проводили ее недоуменными взглядами — она так ничего никому и не сказала.

Вернувшись в свой кабинет, она нашла карточку Сергея и быстро прочитала те скудные сведения, которые там имелись. Она была сильно взволнована, взгляд ее туманился, а сердце колотилось. Там, в палате, ей вдруг почудилось, что на кровати лежит ее муж Андрей, пропавший без вести под Сталинградом в сорок втором. Она часто видела мужа во сне, и всякий раз он представлялся ей окровавленным, умирающим, зовущим ее из последних сил. И тогда она вскакивала среди ночи и долго не могла успокоиться, ей хотелось куда-то бежать, лететь, стремиться! Казалось, что Андрей умирает в эту самую секунду и молит ее о помощи, а она все чего-то ждет и никак не может сойти с места. Это было мучительное раздвоение личности, умом она понимала, что Андрея уже нет в живых, что он погиб и лежит теперь в братской могиле где-то на Волге, но сердце все стучало, а мысли путались. Она опасалась сойти с ума, но в какой-то момент вдруг переборола себя, заставила думать о работе, о больных, нуждающихся в ее помощи, — и это ее спасло от сумасшествия и гибели. И вдруг — этот заключенный! Именно таким и видела она во снах своего Андрея — измученным, со сведенным судорогой лицом, всеми брошенным



и обреченным на смерть. Да, это не Андрей. Но он точно так же страдает и нуждается в помощи. Решение созрело быстро: она не смогла помочь тому, но может помочь этому!

Надежда порывисто встала и торопливо вышла из кабинета.

— Так, что тут у нас? — спросила нарочито строгим голосом, опять заходя в палату, где стояли в три ряда девять коек.

Она не сразу подошла к Сергею, а начала обход как обычно — с крайней левой койки, где лежал, укрывшись одеялом до самых глаз, заросший щетиной старик. «Старику» было сорок пять лет, и он был изможден до последней крайности. Пеллагра, цинга, деменция, дистрофия — обычный набор колымского доходяги. Этому еще повезло — он попал в больницу. Большинство же таких осталось лежать под сопками, в больших уродливых ямах, кое-как заваленных камнями и ветками стланика.

Быстро осмотрев «старика» и выписав ему «горячие» уколы, она перешла к следующей койке, где лежал членовредитель, обваривший себе руку кашей, которую он варил у себя в бараке, прямо в буржуйке, поставив жестяную банку на горящие дрова. Он хотел поправить дрова в топке, нечаянно задел раскаленный край и резко дернул рукой — а банка с закипавшей кашей опрокинулась и обварила руку чуть не до локтя. Надежда не верила, что заключенный специально все это подстроил. Ожоги были слишком мучительны, да и не нужно придумывать такие сложности, чтобы навредить себе; обычно все делалось гораздо проще и надежнее — топор, кайло, или упавший на ногу валун в траншее, или мокрая тряпка, намотанная на руку в пятидесятиградусный мороз, — много было проверенных способов. А этот и в самом деле нечаянно обварился, но записали его как членовредителя. А ему все равно. Попал в больницу — и радуется, что получил отдых.

Потом она осмотрела еще одного, с запущенной пеллагрой (так что кожа слезала с рук слоями), потом был сердечник, потом трое с язвой, которую уже нельзя было оперировать, потом двое с травмами — у одного вытек глаз от воткнувшейся щепки, у другого сломана нога, попавшая под груженую вагонетку. Наконец, очередь дошла до Сергея. Убрав выбившуюся из-под белой шапочки прядь со лба, Надежда склонилась над Сергеем. Больные сразу затихли, все ждали, что на этот раз скажет врач. Ей верили так, как не верили себе, и почитали ее чем-то вроде божества, спустившегося к ним с небес.

Сергей почувствовал прикосновение теплых пальцев на лбу и открыл глаза. На него смотрел ангел! У ангела были голубые глаза и нежные черты, белые волнистые волосы, словно нимб, окружали овал лица. Он сразу понял, что это добрый ангел и он прислан, чтобы спасти его. Сергей медленно втянул в себя воздух и задержал дыхание, будто желая остановить время, чтобы ангел никуда не исчез, а вечно так смотрел на него — больше ему ничего не надо! И в эту секунду ангел заговорил.

— Как вы себя чувствуете? Вы слышите меня?

Конечно, он слышит! Такой голос нельзя не услышать. Он будет помнить его и через тысячу лет!

Он медленно кивнул и, собрав все силы, прошептал:

— Кто вы?

— Я ваш врач. Буду лечить вас. Вас сегодня утром привезли, вы были без сознания. Но теперь все будет хорошо, мы обязательно поставим вас на ноги.

И она улыбнулась так, что у Сергея захолонуло внутри. Все его естество затрепетало под этим чудесным взглядом. Если бы сейчас она приказала ему встать и идти тысячу километров без роздыха — он встал бы и пошел. Он вдруг понял, что перед ним была сама Истина — во всей своей красоте и мощи.

Надежда в это время с изумлением смотрела на Сергея. Только что перед ней был смертельно уставший человек почти без признаков жизни, но прошла минута — и с ним случилась чудесная перемена: взгляд его заблестал, лицо прояснилось, и он смотрел на нее так пристально, что она невольно отвела взгляд. Сердце ее бешено стучало. Теперь она видела, что это точно не Андрей. Но это ничего не меняло. Судьба подарила ей эту встречу, словно бы ее муж возвратился из небытия и теперь лежит на этой убогой кровати и смотрит на нее загадочным взглядом, от которого все у нее переворачивается внутри. Если бы ее Андрей вдруг пришел с того света, он бы точно так же смотрел на нее, как этот несчастный, измученный жизнью человек.

Она заставила себя подняться, сцепила дрожащие пальцы. Наклонила голову, отводя взгляд и собираясь с мыслями.

— Я вам выпишу хлористый кальций, пенициллин и прогревания. Завтра сделаем рентген легких. Все будет хорошо!

Быстро глянула на Сергея, который неотрывно смотрел на нее, и вышла из палаты.

Больные как замороженные взирали на захлопнувшуюся дверь, потом перевели взгляд на Сергея.

— Ну, брат, повезло тебе! — важно произнес тот, у которого была обожжена рука. — Она тебя живо на ноги поставит.

Сергей улыбнулся. Он и сам уже знал, что теперь с ним все будет хорошо. Это было не знание даже, а некая уверенность, снизошедшая ниоткуда благодать. Так в человеке совершается мгновенная перемена: внешне он все тот же, но внутри у него все разительно изменилось. Как если бы приговоренному к смерти сказали в последнюю секунду, что его помиловали. Или заплутавший путник, уже утративший всякую надежду, из последних сил ползущий в мрачном подземелье, вдруг увидел бы над собой лучистый свет звезды, обещающий освобождение и самую жизнь. Такие мгновения меняют глубинную природу человека, открывая ему сокровенную истину — ту, на которой зиждется все.

С этого дня дела Сергея пошли на поправку. Два раза в день ему делали инъекции дефицитного пенициллина (страшно дорогого на Колыме), он исправно глотал все таблетки и съедал без остатка завтраки, обеды и

ужин. А главное, целый день лежал на чистой постели и ничего не делал. Вокруг суетились больные, за окном светлело и темнело, по утрам сквозь сон он слышал тоскливый звон рельса, по которому дневальный бил отрезком трубы, объявляя побудку, — все это словно бы проходило сквозь него, не задевая ни чувств, ни мыслей. Он ощущал, как в него вливаются силы, возвращаются ясность и уверенность в себе, — постепенно становился прежним «морячком», Полундрой. Организм боролся и побеждал недуг, а заодно и все обстоятельства нелепой и несправедливой жизни.

Надежда внимательно следила за этим стремительным возвращением к жизни. Ее изумляло то, как быстро Сергей набирается сил. Вчера еще он едва шевелил рукой, а сегодня уже поднимается с постели и пытается выйти в коридор. Еще через день, запахнувшись в халат, он стоит на крыльце и жадно вдыхает студеной воздух, глотает его как микстуру, вздымая грудь и блаженно жмурясь. За две недели Сергей прошел путь, на который другие больные тратили месяцы. Надежда и радовалась, и досадовала на такое быстрое выздоровление. День выписки неумолимо приближался. И она решилась...

Объяснение произошло у нее в кабинете. Ей не пришлось много говорить — Сергей давно уже все понял: по тому, как она на него смотрела во время обходов, как разговаривала и осторожно брала за руку, и было еще что-то такое, чего нельзя выразить ни словами, ни даже взглядом. Быть может, это тот самый магнетизм души, о котором столько сложено легенд.

Не будем много говорить о том, что составляет главную тайну человеческих отношений. Скажем только, что сближение произошло так естественно и просто, будто они знали друг друга тысячу лет, словно они были предназначены друг другу высшей силой. Для обоих это было спасением. Надежда излечилась от страшной душевной травмы. А Сергей вновь поверил в справедливость — в то, что в мире есть не одно лишь зло, но что над всем царствует высшая гармония, и что превыше всего в этой жизни — не любовь даже, а милосердие, а лучше сказать — нечто несказанное, чему еще не подобрали слов. Именно так он и принял любовь Надежды. Это был для него знак свыше, указующий перст. Быть может, ему это только казалось. А может, так оно и было на самом деле. Никто этого не знает.

Надежде удалось невозможное: она сумела оставить Сергея при больнице еще на два месяца — огромный срок для заключенного, который не планирует жизнь далее завтрашнего дня. Помог случай: один из санитаров проштрафился и был снят со спасительной должности и отправлен в каменоломню искупать свой грех. Грех заключался в том, что санитар заснул во время ночного дежурства. Случилось это уже под утро, когда все больные спали и все затихло. Санитар не спал уже которую ночь, днем он тоже работал и не имел свободной минуты для отдыха. Заместитель начальника лагеря по режиму специально пошел проверять посты в самый глухой час. К его досаде, все были на местах и все делалось по уставу. Всю свою злость он обрушил на незадачливого санитаря, который так не



вовремя прикорнул, сидя за столом дежурного и даже не опустив голову на столешницу, а привалившись боком к стене. Мордатый краснорожий майор орал так, что проснулись больные во всех палатах. Зато все в очередной раз удостоверились в рвении этого служаки, просидевшего всю войну в тылу и привыкшего орать на безответных заключенных, которых он почитал чем-то вроде скотов.

Вот на место этого санитаря Надежде и удалось устроить Сергея. Временно, конечно же, — пока из Магадана не пришлют санитаря настоящего, с удостоверением об окончании курсов. А до тех пор кто-то же должен исполнять черную работу, которую не поручишь фельдшеру или вольнонаемному медбрату: мойку полов, перетряхивание постелей, смену белья у лежачих, вынос «утки», перетаскивание больных с места на место, топку печей и заготовку дров и проч., и проч., и проч. Работа в больнице для заключенных всегда найдется. И чем бесправнее работник, тем больше на него наваливают заданий самого разного сорта, заранее зная, что тот не посмеет отказаться. Никто и не отказывался, потому что, какая бы ни была нагрузка у санитаря, все это не шло ни в какое сравнение с работой в забое, со стокилограммовой тачкой и пудовым кайлом, которым приходилось махать двенадцать часов кряду — на сорокаградусном морозе или под проливным дождем, будучи одетым в резиновые чуни или в изорванные «ЧТЭ», получая зуботычины от бригадира и десятника, а то и от своего же напарника, недовольного тем, что ты обессилел и уже не можешь поднять ненавистное кайло. Кто побывал в таком забое, тот никогда этого не забудет и сделает все мыслимое и немислимое, чтобы больше уж не попадать ни на золотой прииск, ни на касситеритовый рудник, ни в урановые копи. И первое, и второе, и третье вело к быстрой гибели. Все это хорошо знали, но не всем удавалось этого избежать. Девяносто процентов всех заключенных Колымы работали именно на приисках, на добыче золота, касситерита и урановой руды. Большинство из них погибло в первый же год. Немногим счастливым удалось выжить в этом аду. Все они впоследствии постарались забыть об этом страшном опыте, как старается забыть человек все мрачное и невыносимое — такое, чего не может ни осмыслить, ни изжить в своей душе, ни, тем более, простить.

Встречи Сергея и Надежды были нечасты. Это была запретная любовь, но отнюдь не греховная, ибо все прошлые и будущие грехи были искуплены немислимым страданием. Но в лагере невозможно скрыть свои чувства, тем более если они написаны у тебя на лице. И нашелся человек, позавидовавший этой любви, этому возмутительному нарушению лагерного режима. Человек этот был главный врач — вольнонаемный, погнавшийся за длинным рублем и приехавший на Колыму обеспечивать себе безбедное существование, а кроме этого, хорошо понимавший, что здесь он будет бог и царь и что никто не будет спрашивать с него за врачебные ошибки, и он благодаря этому наберется таких познаний и опыта, каких ему вовек не обрести в обычной жизни. Но это было еще не все. Уже на месте, в лагерной больнице, он нашел для себя еще один источник



наслаждения — практически неисчерпаемый. Это были женщины — кто помоложе и посимпатичнее — из числа заключенных, конечно же. Тут все было предельно просто и низменно: персональный прием больной у себя в кабинете за закрытыми дверями, простукивание пальцами обнаженной грудной клетки, потом прослушивание сердцебиения с помощью стетоскопа, а затем и старым дедовским способом — прижавшись ухом к груди, и так далее и все в таком духе. Бесправные женщины не смели отказаться, и все было шито-крыто (как казалось главврачу). На самом деле об этом его увлечении очень быстро узнали все, но отнеслись к этому вполне равнодушно. К тому же все лагерное начальство, сверху до низу, было замешано во множестве спекуляций и прямых преступлений, совершаемых так, чтобы не попасть в жернова правосудия (имевшего на Колыме весьма специфичный вид). И вот этот-то главный врач и пришел в неопишумую ярость, когда узнал о том, что подчиненная ему врачиха завела «шурь-мурь» с заключенным и принимает его у себя в кабинете, а два раза даже приводила его к себе домой в вольный поселок (под тем предлогом, что у нее дымит печка, а Сергей прекрасный печник и сделает необходимый ремонт).

Удар был нанесен очень умело. Надежда в очередной раз отпросила Сергея из лагеря, а поздно вечером договорилась с надзирателем, что Сергей останется до полуночи, потому что работа еще не завершена. Надзирателю было обещано двести граммов чистого медицинского спирта, и он ушел довольный и успокоенный, прекрасно понимая, что Сергей никуда не сбежит, потому что дураком надо быть, чтобы сбежать от такой жизни. И все бы закончилось благополучно, но уже глубокой ночью главный врач вдруг явился к заму по режиму капитану Краснянскому, заявил о побеге санитаря из больницы и потребовал принятия мер. Краснянский, конечно, сообразил, в чем дело, и прекрасно знал, что к утру «беглец» будет на месте, но нарушение было налицо, и ему ничего не оставалось, как отправить на дом к Надежде вооруженный отряд, состоявший из двух надзирателей и самого главврача, который пожелал лично присутствовать при поимке гада.

Здесь следует сказать, что главный врач в течение нескольких месяцев безуспешно добивался благосклонности Надежды, но встретил с ее стороны неожиданный отпор, в который долго не мог поверить. Дошло и до прямых угроз с его стороны. Но Надежда с полным самообладанием объяснила ему, что произойдет, если он не прекратит свои домогательства. Она без обиняков перечислила ему все его безобразия по части женского пола и, что самое неприятное, напомнила про двенадцать операций по поводу язвы желудка, от которых она его отговаривала. Но главный врач настоял на своем, и результатом этого стали двенадцать трупов — люди могли бы жить, если бы над ними не ставили эксперименты невежественные и самонадеянные люди. Надежда пригрозила ему оглаской этой врачебной ошибки, которая граничила с преступлением, и главный врач трусливо отступил, воспылав лютой злобой, затаив обиду и решив дожидаться такой минуты, когда он тоже ей что-нибудь предъявит.



Главврачу было уже около пятидесяти. Это был здоровый хряк ростом под метр девяносто, в старомодных очках, с высокомерной улыбкой, которая, по его мнению, подчеркивала его статус небожителя, его всемогущество в этом оазисе бесправия и попрания здравого смысла.

Когда к Надежде среди ночи явилась эта делегация, она все поняла. И все присутствующие тоже все поняли. Сергей и не думал никуда убежать. Работу он закончил в третьем часу ночи и решил дожидаться утра, чтобы явиться аккуратно к разводу. Он покорно вышел из дома и пошел вместе с надзирателями в лагерь. Уже на следующий день начальник лагеря включил его в список очередного этапа для отправки в штрафной лагерь «Суксукан». Начальник хотя и сочувствовал Надежде, но вполне справедливо опасался доноса со стороны главного врача. Таков уж был этот лагерный мир, где доносы и «сигналы» были возведены в ранг доблести и служебного рвения, а человеческая подлость стала чем-то обыденным и никого не удивляла.

Через несколько дней ранним утром Сергея вызвали с вещами к лагерной вахте. Он уже знал о предстоящем этапе, знал также, что изменить ничего нельзя. В этот лагерь он уже не вернется. Впереди у него было еще несколько лагерей и три года непрерывных унижений, когда каждый день мог стать последним. Надежду он больше никогда не видел. И не узнал, что жизнь ее закончилась трагично: ее зарезала блатнячка прямо во время приема — за то, что отказалась освободить вполне здоровую уголовницу от общих работ. Расправы уголовников с врачами не были редкостью на Колыме. Это был запредельный мир — какого еще не бывало на свете и, будем на это надеяться, никогда больше не будет.

А Сергею по-настоящему повезло: его освободили первого мая 1953 года. Произошло это до странности буднично! Однажды утром во время развода к нему подошел нарядчик и, сверив номер 1799 с тем, что был записан у него на бумажке, сказал без всякого выражения:

— На работу не выходи, останься в зоне. После развода зайдешь в кабинет начальника КВЧ.

Сергей подумал: «Наверное, опять посадят в изолятор. Но за что?»

В последние дни не было ничего такого, за что его могли бы наказать. Но он знал, что наказать могли и вовсе без всякой причины. Лагерная жизнь приучила его ждать от жизни только плохого.

Но на этот раз все было по-другому.

Когда он зашел в кабинет начальника КВЧ и встал по стойке смирно, тот внимательно посмотрел на него и вдруг предложил Сергею сесть.

Это было необычно. Но любые предложения со стороны столь высокого начальства Сергей принимал за приказы и потому послушно сел на стул и настороженно посмотрел на начальника КВЧ.

Тот достал серую картонную папку из стола, открыл ее и, вынув лист с отпечатанным текстом, прочитал без выражения:

— Де-Мартино Серджио Паскалевич, год рождения тысяча девятьсот двадцать третий, освобождается...

## Необходимое послесловие

После освобождения из Берлага Сергей провел на Колыме еще долгих три года. Лишь весной 1956 года ему выдали паспорт, и он уехал на материк, вернулся в Крым, но не нашел там ни своего дома, ни родных. Мать его умерла в казахстанской ссылке, отец сгинул в дальних северных лагерях, а от братьев не было никаких вестей.

В августе 1956 года С. П. Де-Мартино полностью реабилитировали. Приговор военного трибунала Петропавловского гарнизона от 17 апреля 1943 года был отменен, и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

На момент реабилитации Сергею исполнилось тридцать три года. Жизнь нужно было начинать с нуля. Он перебрался в Краснодар и поступил простым матросом в объединение «Краснодаррыбводпром». Но матросом он пробыл недолго: выдающиеся личные качества, честность и обязательность, привычка все делать на совесть и природная сметливость не остались незамеченными. Через несколько лет он был уже капитаном теплохода «Меркурий», которым командовал до самого выхода на пенсию. За свою работу, активную рационализаторскую и общественную деятельность он неоднократно поощрялся администрацией объединения, был награжден знаком «Ударник десятой пятилетки».

У него сложилась крепкая семья: любимая жена и дочь. И все было хорошо, вот только в лице его, в горестной складке у рта, в изломе бровей и, главное, во взгляде — пристальном и словно бы смотрящем внутрь себя — осталось нечто такое, что бывалые люди сразу понимали: этому человеку пришлось несладко в жизни.

Уже находясь на заслуженном отдыхе, Серджио Паскалевич Де-Мартино написал воспоминания о том, что ему пришлось пережить в те страшные годы. Эти воспоминания, переданные автором в Магаданский областной краеведческий музей, послужили основой для настоящей повести, которая написана с простой и понятной целью: чтобы люди узнали правду, какой бы она ни была.

Иркутск — Магадан,  
2020 г.



Александр РАДАШКЕВИЧ

## КАРАНТИННЫЕ СТРОКИ

*Цикл стихотворений*

### Чумная весна

И нашел весенний мор, люди мрут вокруг  
как мухи, покидая обжитый мир, забывший  
напрочь помнить, что он на ломком островке  
в безгласном океане мертвых, раззявившем  
ртутные волны. В погребальных конторах  
не хватает гробов, а за окном великий ветер  
трясет пустые рукава, клубится небо нежно-  
никакое, грядет безвинная весна, стертые лица  
все глуше замыкаются в вогнутом взгляде,  
каменеют бездомные к ночи в своих зловонных  
закутках, сны населяют самые родные, не  
приходившие давно, то ль к подмоге, а то ль  
к скорой встрече, против воли змеятся кудри,  
которые негде состричь, перебитые песни  
наливаются отзвуком рая, и тень нашей жизни  
бескрыло повисает на плечах, а ты стоишь  
сто зим, уже не жмурясь, на голом вешнем  
солнце, и оно одевает в эхо света,  
как межзвездную пыль, тебя.

### Карантинное

Ни болезни, ни печали, ни воздыхания.  
Дрейфуют запертые парки сквозь сны Лоррена  
и Коро, бушует сирая весна. Подпишу я себе  
разрешенье, последней честию клянясь, что  
в магазин, мол, или аптеку, и вплыву в апрель  
смертельный, раздувая паруса. Будет тошно и



чудесно, перепаханые лица, носом клюнувшие  
в лужу и увитые шарфами до притихшего затылка,  
будут улицы немые, заводящие в тупик, где  
лежат осиротело под постриженным кустом  
атрибуты сплывшей были, занимавшие жилплощадь:  
пачки книг в цветных обложках, ложки, лампа и  
шкатулка, склянки, плюшевый зверушка, что  
развесил ненужные уши, недошедшие открытки  
из оплаканного мира, ну а сверху, парящим  
штандартом, «Анжелика, маркиза ангелов»  
в ускокавших стремглав облаках — прямо в эту  
напрасную просинь, где никто и никогда,  
где на все Твоя воля святая.

### Апрельский променад

Обуюсь в летнее и невесомое, как  
в Гермесовы сандалии, в чем облетал  
Палермо и Флоренцию, в чем Лиссабон  
топтал лазурный во блаженные оные  
дни, и пойду выгуливать себя, как  
дородную собаку, среди претенциозных  
шпицев и премудрых сенбернаров  
да пуделей припудренных среди,  
в распоследний незапертый скверик,  
в белом наморднике, без поводка,  
воссяду под разлапистым платаном,  
как под слоновьей пятнистой ногой,  
чтоб обделал меня дивный вяхирь  
(по-парижски «туртерель») со своей  
небесной ветки, кивнув мне сизою  
головкой. В этот самый гимнический  
час — о, как сладко в подсолнечном  
мире и бессмертно, в общем-то, как.

### Вешний храм

Божья Матерь Неустанной Помощи,  
псевдоготическая кровля сокрыта  
брезентом небесного цвета.  
В пустынном храме лишь мать и сын  
безмолвно молятся о новопреставленном  
или болящем иль за себя застынувших



самих. У подножий барочных святых,  
воздевших каменные длани, на ковре  
витражных радуг пестреют погребальные  
венки, и Она на лазоревом поле, прижав  
раздумчивого Сына, глядит на них и сквозь,  
и мимо со стены немых благодарений  
и заплаканных «мерси». А за дверью  
и ярко, и глухо, и в кристальном бельканто  
апреля вьются трели неведомых птах.  
Божья Матерь Неусыпного Спасенья,  
что напротив застенных холмов  
Пер-Лашез, где за сутулыми воротами  
никто не страждет, не стареет, как  
в безумных и праведных снах.

### Старая пара

И столько лет уже ежевечерне и ежеутренне,  
когда в подоблачном окне впиваю робкий  
мансардный ветер, они проходили неспешно  
вниз, покачиваясь в такт утино, и под руку  
всегда. Она высокая, худая, с нелепым бобриком  
седым, он коренастее и шире. Зимой и летом,  
как часы. Потом явились вдруг с палочками оба,  
переставляя их и друг за друга больше не держась.  
Она все суше, он все ниже, качаясь медленней,  
как гуси. И вот плетется он один в свой час  
заветный уже который вешний день, в тяжелой  
куртке и кепке меховой, в вельветовых штанах  
заржавленного цвета, хоть на дворе давным-  
давно и зелено и жарко, заглядывая жадно  
в окна, как будто ищет там кого и кличет, как  
подранок, обратными и стылými глазами, и  
убывает невозвратно за нелюдимым поворотом.

### Про после

Ох, и будет мне потом ну совсем  
не карантинно, ах, попрусь на глупый  
фильм, не дойдя чуть-чуть до Лувра,  
и налопаюсь попкорна, и мороженым  
ужрюсь, заверну, как царь, к Неве  
подышать финляндским ветром,

накричу на глупых чаек на порушенном  
мосту, навздыхаюсь так лагунно  
у палаццо дохлых дождей, и с разбега —  
в океан, шевеля, совсем как встарь,  
плавниками Ихтиандра, ущипну тебя  
за это под барашковой волной, и  
забуду, как прокол, позапрошлые  
молитвы. Ох, и это, ах, и то, что сто лет  
уже не мнилось под аркадами веков,  
и вприкуску да с лихвой, в изумрудном  
гроте снов, где агатовые блики вечно  
маются по мне. Ох, и будет мне потом  
эта Лета по колено и за млечными путями  
эта млечность нипочем. Черный инь  
и белый янь станут альфой и омегой  
подорожниковых троп. Ох, и будет,  
слава богу, ах, и станет,  
боже мой.

## Выход

И та же Сена в вешней славе, и то же  
пиво, вино с горла, велосипеды, сигареты  
и краснорожий бег с шестерками в глазах,  
и та же снесь, и та же смерть, словно сняли  
сеньмую печать, и тот же я, несомый парусом  
незнаемых печалей в напечатленных снах  
из стылой бездны ожиданья, которую  
не преисполнить скудеющим морям,  
и вы не вы, а я не я, и нету нас совсем  
недавно иль давно над вешней Сеной,  
что прильнула к напрасным небесам.

*Париж, 2020 г.*





Светлана МИХЕЕВА

## РОЗА, ИГРАЙ...

*Повесть\**

### Пленный дух

Тело нашли на заброшенной стройке дня через три. Дни тогда стояли ветреные, пустые. Март куксился, все раскисло. Хищно хватали небо тополя.

Позвонили вечером в воскресенье. С утра в квартире хлопала неугомонная кухонная форточка. Весь день по квартире гуляло прескверное настроение, задевая своими вредными крылышками то меня, то маму. Даже бабушкин книжный шкаф не мог внести ясность в этот мир, исчерпав свои возможности и не выдавая больше ничего интересного и нечитаного. Его дерево казалось темнее, чем обычно, а старые стекла недобро посверкивали.

Когда заблеял телефон, хотелось исчезнуть из дома — и так скверно, а тут еще эти опостылевшие объяснения. Мама, занятая готовкой, стала возмущаться, что я не отвечаю на звонок, потому что явно звонят мне и явно — мальчишки, кто же еще.

Не буду говорить, просто отключу телефон вообще.

— Даже слушать не буду! Сразу отключу! — заартачилась я.

— Да не слушай, пожалуйста, нахалка! — рассердилась мама.

— Я тебе не нахалка! Сама такая!

Ссора грозила перерасти в скандал.

— Ты как с матерью разговариваешь?!

Эта фраза свидетельствовала, что мама завелась, что настроение у нее хуже некуда и что мне, вероятно, сейчас достанется.

— Пошла к себе в комнату и там сиди! Неделю будешь безвылазно сидеть! — с этими словами она, сдернув фартук, перекинув через плечо кухонное полотенце, вышла из кухни и прошла мимо меня намеренно твердым и тяжелым шагом.

---

\* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2020, № 5.

— Даже в туалет не выпустишь? Даже в школу? Представляю, если неделю меня не будет в школе, все подумают, что ты меня убила и съела! — прокричала я вслед. Дерзость моя обрела форму яростного шара, не в силах по-иному сопротивляться общему упадочному настроению и маминой злости. Остановиться теперь было очень трудно.

И тогда я ответила на звонок из чувства противоречия, чтобы не идти в комнату, чтобы досадить то ли маме, то ли себе.

Какой-то темный голос сказал несколько коротких фраз. Телефон раскалился, расплавился, потек. Медленным горячим киселем затекая в ухо, ужас достигал моего последнего дна. Царящие вокруг сумерки, в которых спрятался книжный шкаф, в которых пропала гневная мать с полотенцем через плечо, накрыли вдруг и мой разум. Было неясно, что сейчас нужно сделать: отключить звонок, или остаться на линии и поблагодарить, или же спросить, достоверны ли сведения? Может, следовало бежать сломя голову куда-нибудь, для чего-нибудь?

— Кто звонил? — мама заметила, должно быть, внезапную перемену. Наверное, перемена была разительной, потому что мама сильно побледнела и ринулась ко мне.

— Отдай-ка! — она попыталась забрать трубку, но с трубкой меня соединял страх, а я не могла просто так отдать свой страх. Высокая мамина прическа, которую она соорудила из мелких кудрей, подрагивала и качалась все сильнее и сильнее, пока не начала терять устойчивость. Шпильки высыпались. Рот на мамином лице искривился — сейчас он изрыгнет упрек одуревшей дочери. Сейчас станет ясно, чей это звонок я коварно скрываю.

— Что сказали?! — шептала она. Но когда ей удалось расцепить мои пальцы, абонент уже отключился.

— Кто звонил? Что за секреты?!

Я не знала, кто звонил, голос был женский. Что сказали? Сказали — всё. Всё, сказали, хана. Весь мир превратился в осколки, потому что одному человеку захотелось разбить зеркало. Имя этого человека я не могу назвать, потому что его проглотил сумрак. Теперь существовало лишь безымянное подобие, странный облик — произведение памяти, собранное из острых частей. В нем, в этом подобии, не было ничего реального — реальность как бы сломалась в тот момент, когда звонок отключился. Реальность рассыпалась, словно она была конструктор из множества деталей.

Я не знаю, произнесла ли я эту отчаянную речь. Казалось, что да. Но вполне возможно, что даже и рта не раскрыла.

Мама вызвала на связь этот женский голос и ушла разговаривать в спальню, плотно закрыв за собою дверь. А потом бегала по квартире со щеткой и тряпкой, деятельно скрывая панику. Время от времени она бросала орудие труда и пыталась то обнять меня, то погладить по голове. Она интересовалась: «Ты как?» Я отвечала: «Нормально». А как еще может быть? Нормально.

Еще немножко было нормально, а потом на мир напало оцепенение.

Оцепенение — это спасительная реакция. Простейшие организмы, а также и сложные, типа лягушек, вмерзающих в лед, доказали нам, что механизм выживания заключается в своевременной концентрации сил внутри организма. Нельзя тратить их ни на что постороннее, нельзя обращать внимание на внешние раздражители. Замри и пребывай. Но подходит ли это для человека? Пришлось испытать, ничего другого не оставалось.

Не специально, а по воле разумного и делового организма я уподобилась механической кукле. В тот день поужинала, почистила зубы, безрезультатно порешала тригонометрическое уравнение, посидела на балконе под мартовским ветром, молча и безмысленно. Мама все не могла успокоиться, ходила вокруг меня, заглядывала на балкон. Потом она собиралась на завтрашнее дежурство — было слышно, как поскрипывает дверца ее одежного шкафа, хлопает дверца тумбочки с косметикой. Но все никак не могла уйти.

Как говорят в дешевых романах: ничего уже не будет прежним. Чтобы избавиться от маминой тревоги, я оделась и тихо вышла из квартиры.

Дорога до Марии показалась путешествием по аду. Сырой потрескавшийся асфальт местами переходил в серую размазную из грязи и песка. Сирени с черными почками нависали над дорогой, образуя бесконечную арку. Сквозь нее пробивался потусторонний холодный фонарный свет. Слева чернел приземистый склеп — раздевалка стадиона. Дом словно левитировал в этой беспросветности. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Подъездная дверь длинно скрипнула. Дверь в квартиру была открыта. Но я не осмелилась войти без стука. Все, что я хотела сказать Марии: это нечестно.

Открывшая имела вид привидения. Привидение сказало: «Сейчас (только не сейчас! никогда! исчезни!) я не могу тебя видеть». Она сказала: сейчас я не могу тебя видеть. Дверь закрылась.

Было слышно, как в квартире передвигаются люди.

Тогда, у порога Марииной квартиры, во мне было недоумение, но еще не было вины. Такой, которая уничтожает личность. Вины — чумы, голода, мерзостной, гнилой, запойной, отупляющей, омертвляющей, лишающей дыхания, всяких желаний, кроме желания доказать невиновность, всего, кроме мотива оправдаться. Ворующей в итоге человеческое достоинство. Вина всю жизнь преследует свою жертву, превращая ее в существо без воли, без сил и без любви.

Заразив меня такой виною, Мария скрылась за своей дверью.

В одном романтическом эпизоде в кино говорилось: «И мир ополчился на него». Эта пафосная фраза, казавшаяся смешной, уже следующим утром обрела свои жестокие черты. Каждая козявка в школе знала о произошедшем, и уже в школьных коридорах господствовала короткая



романтическая версия: «из-за девочки». Девочкой, понятно, была я. Мама, предполагая, как обернется дело, пыталась удержать меня дома на несколько дней, пока не улягутся страсти. Но что-то во мне категорически сопротивлялось ее страху. И я пошла.

Школа дребезжала звонками, они отражались эхом в открытых проветривающихся подвалах. Нужно было явиться последней — быстро, чтоб не успели заметить, не начали обсуждать. Но и не опоздать — иначе придется вынести бронебойные пристальные взгляды всех любопытствующих в классе, на опоздавшего ведь и так всегда все смотрят.

Я понимала их любопытство. Но тогда еще не знала о его всеобщем стадном социальном характере. Общество присваивает смерть. Осваивает ее, насколько может, при этом страшась. Объективное любопытство, не отягощенное страхом, бывает только у самых маленьких детей, когда они изучают ближайшее — родителей и предметы. В дальнейшем оно переходит на иные вещи, имеющие длинный культурный код. Смерть — из их числа. А еще она неотвратима. Она не спрашивает и приходит. Она — жестокий властелин мира. И каждому бояке от восьми до восьмидесяти хочется понять, отчего она приходит. И еще более — отчего кто-то *лично* выбирает ее.

Но это, в общем-то, интимный вопрос. А когда он становится общественным достоянием, то быстро превращается в причину противостояния. Взрослые, следуя инстинкту или привычке, разделились сразу. Прошла черед уроков. Одни учителя смотрели сочувственно, даже — о, ужас! — гладили по голове. Жалели — но почему? Со мной-то ничего не случилось. Они, конечно, хотели как лучше, но вряд ли понимали, что участием только будят во мне мерзость вины, а в моих одноклассниках — излишнее любопытство.

Другие признали в лохматой и рыжей одиннадцатикласснице условно порочное создание и теперь имели легкую добычу для педагогических экспериментов. Историчка Марина Сергеевна, существо модное, плешивое, хранящее бесцветные бусинки глаз за темными очками в любую погоду, очевидно, приписывала мне какие-то экстраординарные свойства. Если бы она служила в инквизиции, то сожгла бы меня с большим удовольствием. Но она работала в средней школе скучным учителем истории и не могла позволить себе такой роскоши. Поэтому сначала ограничилась тем, что изображала высокое негодование, без конца спрашивая меня на уроках, извергала из глаз молнии, а изо рта — громы. Но она была чересчур эмоциональна. И дети, и коллеги быстро устали внимать ее моральной позиции. Тогда Марина Сергеевна сменила тактику. Эта лысая медуза стала индивидуально беседовать с теми, кто был замечен в дружбе со мной, но самое главное — с их родителями. Новый подход принес плоды.

Через несколько дней я отважилась зайти к Лизе. Марина Сергеевна была у нее классной. Лучше бы, конечно, к Тасе. Ведь Тася никак не изменила своего отношения ко мне. Произошедшее казалась ей страшным недоразумением. Тася уверяла, что и Зоя Васильевна «ничего такого

плохого» не думает. Но Тася могла ошибаться, а увидеть упрек в глазах добрейшей библиотекарки было бы невыносимо.

Лиза же никогда ни во что не вмешивалась. Мне даже казалось, что, по большому счету, ей безразлично абсолютно все — кроме себя. Она напоминала искусственный водоем — широкая гладь, красота, но мелко даже для лягушек. Но ее прохладность, неприятная обычно, сейчас могла сыграть положительную роль. А Лизиним родителям до меня вообще не было никакого дела.

Лизину дверь открыла мать, похожая, как всегда, на смятую алюминиевую баночку. Ее вызывающая некрасивость — неровное костистое лицо, очень глубоко посаженные глаза, короткие волосы неопределенного цвета — покачивалась передо мной предупреждающе. Едва повернулся язык спросить, дома Лиза или нет. Как усохший зимний репей под ветром, раскачивалась лохматая голова в дверном проеме. Лизина мать всегда открывала дверь нешироко, предоставляя гостю втекать в узкую щелочку. Но вдруг она открыла ее широко, подняла свои тяжелые глаза и медленно сказала:

— Не приходи к нам, Лиза не будет больше с тобой водиться.

Она так и сказала — водиться! Будто мы в песочнице сидим и пирожки формочками шлепаем! Дверь не закрывалась. Репейник раскачивался. В подъезде было сыро и пусто, на стене кровавым наростом торчала лампа — плафон специально испортили красным лаком, чтобы воры не позарились. Голос репейника тоже был темным, и сырým, и красным. Слова летели и шлепались, как будто Лизина мама бросала в меня кусками мяса. Еще минуту назад по привычке было жалко ее, как всегда, — за увядание и некрасивость. Но теперь в ней воплотилась вся окружающая несправедливость. Ах ты, старая помятая алюминиевая банка! Мне неважно, что ты думаешь, важно, что думает Лиза! Но банка не услышала от меня этих слов — я их не сказала. Через три ступеньки поскакала прочь, так и не увидев Лизу в тот вечер.

На следующий день в школе Лиза молча прошла мимо, подняв вверх свое великорусское румяное лицо.

\* \* \*

За школою через дорогу расщеперился старый двор, образованный тремя блеклыми хрущевками. Во дворе — старые качели на огромных железных ногах. Вмурованные в бетонные блоки, похожие на птиц, прикованных к земле, качели не пользовались популярностью среди местной детворы. При хорошем взлете скрип их переходил в невыносимый визг, и жители пятиэтажек гнали детей, обещая разобрать аттракцион «к чертям собачьим». Но при легком покачивании они издавали нежный, длинный, успокаивающий звук. В школе шла алгебра, ну а я осмысливала свой урок под этот нежный скрип. Главный вопрос этого урока был прост: почему те, кто меня отверг, не скажут, почему они решили так поступить? Ни Мария, ни Лиза, ни Марина Сергеевна, ни другие не дали никакого определения тому, за что порицали меня.

Небо, как серый пузырь, висело над качелями. Мир выворачивался наизнанку.

— Сидишь?

Вроде качели проскрипели. Но это подкрался Сережа.

— Сижу.

— Сиди. То есть я хотел сказать, что, может, пошли отсюда? — Сережа поежился. Было прохладно.

И мы пошли, загребая ногами ледок, отошедший от тротуара под дневным солнцем.

— А ты знаешь, что историчка пригласила родителей своего класса обсудить твое поведение? Разворачивает нападение по всем фронтам.

— За что она меня ненавидит, интересно?

— Да она тебе позавидовала. Ее никто не любит. Она же гримза.

— Странный у тебя способ утешения. Меня все ненавидят.

— Разбежалась... Ненависть очень сильное чувство, на него немногие способны.

— А ты?

— Не знаю.

— А Лизка?

— Ну ты даешь! Лизка — это баба на чайник, игрушечная девочка. — Сережа считал Лизу пустой.

— Не приду завтра. И послезавтра. Может, на второй год остаться? — созрела шальная идея.

— Сдурела?! Лишний год просидеть в этих казематах? — школу Сережа недолюбливал. Но, может, потому, что был на год старше и ему уже очень хотелось на свободу. Да и нам всем, по правде говоря, хотелось. Мы все рассчитывали на то, что после школы начнется взрослая и счастливая жизнь без принуждений. Мама, например, всегда говорила: «Окончишь школу, принесешь мне аттестат — и делай что хочешь».

Сережа успокаивал меня как мог. А когда заметил, что мои сапоги от мартовской воды намокли так, что носы их кардинально поменяли цвет, усадил в троллейбус.

— Ты все-таки завтра в школу приходи, зачем тебе второй год. Вместе в университет поступим... И платок возьми, он чистый. — Он протянул мне платок, заметив, что пальцы окрасились качельной ржавчиной.

Дверь троллейбуса закрылась, Сережа пошел в сторону школы. Оставалось еще два урока.

Рассматривая отданный мне платок, не решаясь испортить его чистоту ржавчиной, я вдруг вспомнила о Павле и Марии. Они не показывались в школе.

\* \* \*

Несколько дней — и новые школьные негласные правила были приняты. Историчка Марина Сергеевна могла бы служить во внутренней разведке, устраивать провокации и заговоры, о которых она так любила



рассказывать на своих уроках. У героев истории она, похоже, многому научилась. И возбудила в старшей школе если не поголовную враждебность, то поголовное любопытство. Скрыться от него было невозможно. Когда в огромный холл вываливала на перемену вся параллель, все одиннадцатые классы, хотелось сбежать. Можно было скоротать перемену в подвале, но оттуда легко попасть в кабинет директрисы — вдруг кто-нибудь увидит? И тогда неизвестно, что начнется. Хотя, конечно, было очевидно, что скоро меня в директорскую и так вызовут. И это случилось, спустя неделю.

Но за это время я овладела искусством пропускать мимо любопытствующие взгляды, отвергая всякие посягательства надменным или отсутствующим видом. Марина Сергеевна уже откровенно издевалась надо мной на своих уроках, так что ничего другого не оставалось. Пытаясь заниматься, я ничего не запоминала, голова сама собой освобождалась от всего постороннего, что в нее попадало. Поэтому у Марины Сергеевны было много возможностей унижить меня.

О смерти Егора я не думала. Трагедия, вокруг которой разыгрывалась теперь драма, тоже отправилась куда-то на дальнюю полку сознания, до лучших времен. Все, что занимало меня, — это собственное неоднозначное положение, а также несколько вопросов, которые касались случившегося. Например, почему Мария и Павел не появляются в школе? Неизвестность меня мучила. Тем более что спасения я ждала как раз от них. Ведь они-то все знают, все понимают...

Но больше всего, конечно, меня занимала природа отчаяния, которое разворачивало серые крылья и обнимало. Ничто возникало в этих объятиях. НИЧТО, похожее на смерть. Оно даже снилось мне — серое и теплое, выпирающее из всех пустот мира, как противоестественная квашня. Мама доставала ее из огромной кастрюли и замешивала серые пирожки. Ими был полон весь дом. Они лежали на письменном столе, заполняли книжный шкаф вместо книг. И вместо подушки на кровати лежал ком мерзкого теста.

Способность рассуждать изменяла мне. Отстраненный гордый вид был мыльным пузырем, под ним — лишь тупая растерянность. Никогда раньше коллектив не представлялся настолько пугающей силой. Он мог быть детским стадом, которое ведут на физзарядку, или славной компанией школьников, которая ворует кукурузу на совхозном поле, или сонной массой взрослых, текущей поутру на работу. Он мог представлять опасность, это я знала, у меня был опыт новичка. Но впервые я наблюдала *общее* перед лицом смерти. И здесь действовали уже совершенно другие правила. Их следовало называть правилами выживания. Вокруг как будто собрались темные облака. Я чувствовала себя инородной перед общим взглядом, словно вдруг обнаружились тревожные качества, которых раньше за мной не подозревали. Меня выдавливало из школьного тюбика. Одиночество, в которое меня заковали, как в кандалы, приобрело, наконец, смысл наказания.

В школе работала комиссия городского отдела образования, состоявшая из трех удивительно похожих друг на друга толстых женщин. Комиссия ежедневно собиралась в учительской. Туда старшеклассников вызывали по очереди и безжизненно ровным голосом (одним на всех, так как голоса у женщин были тоже очень похожи) опрашивали. Женщины сохраняли непроницаемое, одно на всех, лицо. Может, они прятали свое сочувствие или негодование. Может, они были три мойры, в руках которых веревочкой вилась моя судьба — когда я сидела перед ними в необъятном кожаном пурпурном кресле. Кресло было настолько чуждо общей аскетичной обстановке, что казалось эшафотом на мирной площади или космическим инопланетным кораблем на поверхности Земли.

Директриса взирала на происходящее, стоя у окна. Ее лицо пропало в контровом свете, сделавшись черным пятном. Над пятном покачивалась белая воздушная башня. Начес на директорской голове отправлял воображение в какие-то мифологические дали, где на летающих островах возвышались горы такой же формы. Внутри них обитали драконы, а среди странных растений, нашедших приют у подножия, гнездились другие летающие существа. Цепочки островов, повисших в голубом пространстве, соединялись невидимыми подвесными мостами...

Я рассказала, что знала, не скрыла и последнего разговора с тем, чье имя больше не называли. Мойры разглядывали меня. У них были протяжные, неторопливые взгляды, похожие на липкие языки муравьедов. Муравьеды, должно быть, обитали чуть дальше от подножия белых гор, где в сумрачном и влажном лесу бродили дикие и прожорливые армии муравьев. Пишут, что такие муравьи не оставляют на своем пути ничего живого, они как сухопутные пираньи.

Гора зашевелилась и повернулась, двинулась в сторону кресла. Потом она мерно качалась возле, воплощая собой колеблющиеся весы Фемиды. Директриса, должно быть, взвешивала на весах мое сердце, чтобы отправить его либо в рай, либо в ад, — как египетский бог Анубис. Она вполне могла быть Анубисом — с головой крупного белого пуделя. Пусть бы, наверное, меня исключили...

В учительской вдруг загорелись лампы под высоченным потолком — одна из мойр нажала могучей спиной на выключатель, возле которого сидела. Пропали летающие острова, разрушились белые горы, мигрировали муравьи, драконы и муравьеды. Перед пурпуровым креслом, содержащим худое и рыжее существо, стояла грузная женщина с отсутствующим взглядом, по правую сторону сидели еще три, унылые и безвкусно одетые.

Старые глаза директрисы смотрели как будто внутрь себя. Никто не задал ни одного вопроса, мойры оставались в молчании.

— Можешь идти, — качнулась в сторону двери директорская башня.

В коридоре толпились несколько одноклассников, которым тоже велено было подойти к дверям учительской и ждать пофамильного вызова

на беседу. Они молча расступились передо мной, а пропустив, зашушукались. Это, пожалуй, было обидно. Это подтверждало, что, хотя на носу были уже выпускные, а затем и вступительные экзамены, мои одноклассники увлечены трагедией не меньше, чем своим будущим. И градус увлечения поднимается. Дерево трагедии обрастает ветками, листвою, становится целым садом — садом скрытых смыслов и невысказанных упреков. Сад сожаления, в котором нет места живому, — вот чем стала моя жизнь. А в саду скрывается Лета, по которой уплывает в небытие жизнь с медяками на глазах.

\* \* \*

Мария обходила меня за километр. А если вдруг не успевала обойти, то глаза ее наполнялись слезами. И она никогда больше не смотрела прямо на меня, всегда — в сторону. Она чувствовала себя потерпевшей. Это было ее кораблекрушение.

Павел при встрече дергал свой шарф, в глазах появлялось убийственное выражение. Ноздри тонкого носа раздувались. В его присутствии я всегда ждала грубого слова или открытого обвинения. Иногда за этим непреклонным фасадом маячило что-то другое. То ли неуверенность, то ли страх. Оно выглядывало, когда Павел сидел, задумавшись, на уроке — сильно сгорбившись, вобрав голову в плечи. Именно эта поза выдавала его. Но в остальное время он держал себя непреклонно — этакий гордый персонаж, сломленный трагедией. И он молчал. Так же, впрочем, как и все. Ни одного обвинения я так и не услышала — зато чувствовала всей шкурой осуждающее любопытство, которое ничем от обвинения не отличалось.

Неопределенность превращала жизнь в настоящий ад. Протестное движение, которое запустила Марина Сергеевна, вело в никуда. Мне было все равно, что думают ученики ее класса, включая Лизу, — уж если она оказалась такой дурой или трусихой. Но Мария должна была что-то сказать, а она тоже молчала. Поэтому надежда на то, что однажды, когда схлынет страшная волна, меня примут, робко жила.

По вечерам я старалась придумать повод, чтобы на следующее утро подойти к Павлу или обратиться к Марии. Даже бойкот, реши они его объявить, разрядил бы ситуацию. Всем стало бы понятно, что нужно обходить стороной это беспощадное существо, которое все время молчит, а на лице — ни капли раскаяния. Я бы забыла дорогу к дому Марии.

Может быть, Мария ждала от меня раскаяния. Ну там, поплакать у всех на глазах. Люди, похоже, это любят. Нужно позволить им проявить снисходительность, чтобы они почувствовали себя добрыми, лучшими. Можно польстить им слезами. Ужасное человеческое свойство. Конечно, Мария не такова. Ей нужно что-то совсем другое. Но что? Что для нее могло быть важным в такой момент? Мое сожаление? Но это было невозможно: я не могла вполне сожалеть, потому что сожаление требует подвижности чувства и мысли. Я же испытывала потустороннюю



неподвижность. Мария могла раз и навсегда избавиться от меня, раз уж считала, что я во всем виновата. Но она просто избегала меня и отводила глаза. Значит, надежда есть.

Конечно, бывали моменты, когда для надежды не находилось ни щелочки в тучах вокруг. Тучи плотно сходились над толстыми тополями, когда из подъезда пятиэтажки выносили гроб. Толпа провожающих черным киселем размазалась у подъезда. Прислонясь спиной к махине дерева, я думала, что следует покинуть этот город, который теперь навечно останется таким серым и безнадежным, ведь случившееся ничем не исправить. Но мама не захочет ехать. Она скажет — у нас нет денег, куда мы поедем...

Две девочки стояли у соседнего тополя, не решаясь подойти к провожающим. Глядя на них, я думала: а что бы каждая из них сказала в телефонную трубку на моем месте? Вероятно, сказала бы то же самое. В каждом из нас было одно лишь мучительное взросление.

Подошел Сережа. Он отделился от толпы, в которую я вглядывалась, но никого отдельного не могла различить. Он приблизился быстрым тревожным шагом.

— Пойдем. Лучше уйти, — поглядывая в сторону подъезда, он взял меня за локоть и развернул и повел прочь. Девочки почему-то поплелись следом за нами, дошли до ближайшего перекрестка, потом отстали. Сережа сказал, что отвезет меня домой. Я обернулась и увидела, что девочки повернулись и побрели обратно к тополям.

— Ты ничего не докажешь. — Сережа цепко держал меня за руку, которую я старалась высвободить.

— Я и не доказываю. — Хотя, конечно, мне хотелось доказать. Доказать всему миру, что я ничем не хуже всякого, кто презрительно на меня смотрит, или отводит глаза, или не может меня видеть, как Мария.

— Ну и не надо было приходиться.

Слова Сережи меня задели. Ведь если бы я не пришла, это означало бы вину, значит, все они (толпа вдалеке заколыхалась и ручейком потекла к катафалку, за которым притаился желтый автобус, отправляющийся на кладбище) правы. Но обижаться на Сережу было все равно что обижаться на солнце, которое спряталось в тучах, или на весну (которая сегодня больше смахивала на погибающую осень). Его естественность наряду с неуклюжестью делала его неуязвимым для любых обид, для любых нападок. Он нес в себе что-то умиротворяющее. Это трудно описать, возможно лишь сказать, чем это не было — ни чертой характера, ни свойством природы, ни способом общения. Это распространялось как ненавязчивый мягкий свет от какого-то неясного, но сильного источника.

— Пойдем погуляем, не хочу домой.

Он согласился. Куда-то мы брели — молча, то прямо, то сворачивали. И казалось, навечно, как на старой мутной картине, обосновалась здесь эта грязная беспросветная весна. И тополя, которым скоро придет время выпустить почки, на этой картине стоят мертво, как в замороженном царстве.

## Вина

С той прогулки казалось: я шагаю по земле, испещренной пустотами. Никто не рискнет идти рядом, боясь провалиться. Ну разве что Сережа, добрый дух.

Во мне осуществилось какое-то одно неизменное время года. Смена сезонов больше ничего не значила.

Одноклассники упорно занимались. Тася почти жила в библиотеке, уходя оттуда добровольно лишь на подготовительные курсы в мединститут. Мы встречались с ней, но мало разговаривали. На переменах она убегала по своим делам, а я выходила на тенистый задний двор школы, где никогда никого не было.

Вся эта мелкая и упорная учебная суета, казалось, никак меня не касается, словно я в кинотеатре безучастно наблюдаю за жизнью природы. Экзамены, тем не менее, сдались — как-то сами собой. Я плохо соображала, не могла сосредоточиться на занятиях. Но, похоже, учителя поняли, что к чему, и милостиво обеспечили мне проходной балл для поступления в университет. Наверное, им не хотелось длить эту историю, такую неприятную, такую позорную для школы. Избавляясь от меня, они избавлялись и от этого следа. Но зачем мне теперь их университет? Я больше никем не хотела быть.

Выпускной прошел мучительно. Отстояв на линейке под мертвые торжественные речи, я предпочла бы не появляться больше под этими высокими холодными сводами. Но аттестаты нам обещали выдать только вечером, на балу. Пришлось идти.

Огромный холл второго этажа украсили цветами, звездами и гирляндами розовых флажков. Под потолком закрепили зеркальный шар, в углу установили аппарат, испускающий пронзительные лучи. Он расстреливал танцующих, делал их движения ломкими, как будто они сухие стебли цветов, и невидимые руки переламаывают их для удобного размещения в мусорном пакете. Зеркальный шар медленно вращался, пятная холл.

Калейдоскоп образов и голосов, обрывки знакомых мелодий и едва различимый в штормовом море музыки смех то здесь, то там — все это составило размазанную картину, последним, самым размазанным штрихом которой стали два бокала чрезвычайно сладкого вина. Потом, под утро, все отправились гулять.

Замирало от утреннего холода розовое тельце рассвета, прорывая застиранную небесную марлю. В моей голове не оставалось ничего, кроме морского шума, перебиваемого скрипом уключин худой лодочки, — первый троллейбус медленно тащил свое сонное железо вдоль прекрасной, но такой чужой жизни. Поеду спать...

Парадное малиновое платье и тесные лаковые лодочки переместились на свое место в дальнем углу шкафа. С удовольствием составила бы им компанию. Аттестат положила маме на тумбочку, к духам и помадам — пусть наслаждается. Я помнила, что приобретение аттестата сулило мне куда большее приобретение — свободную взрослую жизнь. Но теперь все заключалось в том, что я ее не хотела. Все три слова —



«свободная», «взрослая» и «жизнь» — вдруг стали составлять настоящую трудность моего словаря. Что значит свободная? От кого? Что может гарантировать эта внешняя свобода, когда внутри тебя цитадель, когда ты противостояешь всему миру? Насчет взрослой я теперь тоже сильно сомневалась: чем хорошо положение взрослых, если в такой трудной ситуации они растерялись не меньше нашего? А слово «жизнь» утратило свой объем просто потому, что одна живая часть вдруг взяла и покинула ее по собственному желанию.

\* \* \*

Лето горело под ногами, как всякое городское лето. Оглушенная общим неопределенным чувством, я не могла ощутить даже его серого подавляющего дыхания. Город опустел, как всегда. Но в этот раз точно так же опустела и я.

Огромное чувство опустошенности царило в природе, везде, на что бы ни упал взгляд. Мир предстал передо мной *в отсутствии красоты*. Молодые лопухи на газоне, чья жизнелюбивость всегда восхищала, а величина изумляла, словно окаменели и были неподвижны. Запоздавшие с цветением яблони казались лишь бездушной плоской пасторальной картинкой. Равнодушно река волокла светлые воды, блеск которых лишь резал глаза.

Дальше развернули свои безмозглые головы летние цветы, кивали в пространстве неизвестно кому. Дальше пришел засушливый август. До времени пожелтели тополя, листья их скукожились и потрескивали.

Скоро начнутся занятия в университете. Но зачем это все? Я сдала документы, проверила свою фамилию в списке зачисленных... Днями бродила по городу, а потом спала без задних ног, отмотав пару десятков километров по уличной пылище. Медленно проходила мимо школы. Она стояла пустая и открытая — начался ремонт, рабочие вносили внутрь песок на носилках, выносили бумагу или старый хлам. Он лежал во дворе в ожидании грузовика, который доставит его на свалку. Списанные учебники, чьи-то тетради для контрольных, дневники для лабораторных работ. Можно было найти там что-то близкое. Может быть, его тетрадь, какую-нибудь его записку. Но не хватало духу подойти к этой куче старой бумаги, к этой рухляди. Я смотрела на нее из-за ограды. Белая башня директрисы покачивалась в окне. Биологичка, переодетая в спецовку, почему-то красившая окно, тоже видела меня. Даже красить на минутку перестала. Наверное, я напоминала угрюмый призрак, который лучше бы не являлся добрым людям, не смущал их.

На заднем дворе командовала Зоя Васильевна. Школа обновляла помещение библиотеки, как можно было понять: библиотекарьша сама выносила части старых стеллажей и распоряжалась рабочими, таскавшими стулья, связки книг. Внешне Зоя Васильевна не изменилась — во всяком случае, ничего такого я не заметила. Но из Тасиных скупых рассказов знала, что она была привязчива, как ребенок, к тем, кому доверяла и кого



ценила. Конечно, я пряталась, чтобы она не увидела меня. Мне она, конечно же, не могла доверять.

Хотелось теперь повидать Тасю. Она поступила в свой медицинский. Я могла бы, наверное, забежать к ней, если бы не Зоя Васильевна. Звонить поэтому тоже не хотелось. Вот закончится август, и можно будет встретиться с ней в медицинском — прийти туда после занятий, и мы бы пошли гулять.

Август все близился к концу, но никак не кончался. Зарядили наконец дожди. В дождливые дни опустошенность наполнялась — везде был звук падающей воды. Воде категорически плевать на все твои переживания. Она просто бьет в свои барабаны в мире соучастия, где каждое создание имеет голос и цель, готово быть с тобой или без тебя, главное — быть. И все полно странной и прочной любовью — любовью принятия. И этим живет природа, все живое и неживое. Лишь человеку нужны объяснения и оправдания, чтобы существовать. Природе они не нужны.

Без объяснений и оправданий появлялся вдруг Сережа. Звонил, иногда приходил. Никогда не отвлекал, не вторгался и не ранил. Сережа был похож на разумную и прекрасную траву, на волшебное растение. Мы отправлялись на запущенную набережную, где бетонные плиты рассыпались в песок, демонстрируя победу природы над человеческими трудами. Иногда садились в электричку и проезжали несколько станций до тесного дачного поселка, где его родители корпели над грядками, испытывая какие-то новые сорта посреди тайги. Они были довольны жизнью, угощали неожиданным вареньем из помидоров или моркови, вручали с собой банку ароматной ягоды. Сережа брал из сарайчика детские принадлежности для рыбалки — длинную ивовую палку с минимальной оснасткой, и мы шли на извилистую узкую реку. Над мелким мерцающим ее песком вились миниатюрные рыбки. Он обычно выуживал несколько штук. Рыбки бились в банке из-под ягоды, которую еще по дороге до речки мы съедали. В конце рыбалки рыбки обретали свободу. А мы брели вдоль реки, пока не накатывали сумерки, а с ними — комары и чрезвычайная прохлада. Тогда почти бегом мы возвращались на дачу, оставляли ивовую удочку в сарае, пустую банку на столе и убежали на станцию, чтобы успеть на последнюю электричку до города. Сережа, до смешного неловкий в обществе, был вне общества совершенно иным, от неловкости не оставалось и следа.

За окнами электрички царил темнота, в электричке — ни человека. Нам просто ничего не оставалось, как рассматривать друг друга и болтать о том о сем. Школа была пройденным этапом, и мы почти не говорили о ней. Обсуждали Тасю — она ни с кем не виделась, на лето укатила к родственникам в Анапу. Обсудили выпускной и собеседование в университете.

— Ты мычала, никто не понимал, что ты говоришь. Меня даже попросили перевести на человеческий твое мычание, — заливался Сережа. Я смеялась вместе с ним, хотя вспоминать собеседование еще минуту назад было досадно: старый преподаватель пытался разговорить меня, но я будто набрала полный рот манной каши. Что-то в Сереже было такое, что

отпускало всю мою неловкость и досаду в чистое небо, где они рассеивались без следа. И только его я, пожалуй, могла спросить о том, что тайно волновало меня все лето:

— Ты не видел Марию? Как она?

Электричка плавно, на медленном ходу вошла в городскую зону. Сережа на секунду помедлил и бесстрастным голосом заявил:

— В школе, слышал, уже не работает.

Неужели ее уволили?! За что такую прекрасную, такую отличную Марию могли уволить?! Неужели уволили как напоминание о трагедии, о школьном позоре?! От возмущения у меня дыхание перехватило и вспотели руки. Сережа ничего не ответил на этот всплеск эмоций, пожал плечами, и все.

Электричка встала на конечной, мы выгрузились и молча побрели по сумрачным улицам. Наш славный звонкий разговор как будто разбился о мягкое имя Мария.

\* \* \*

Наконец в сентябре город наполнился людьми. Я ждала этого, надеясь, что многолюдность внесет коррективы в состояние отупения, которое становилось порой невыносимым. Но ничто не помогало.

Старый корпус университета, бывшее техническое училище, обаятельный, с огромными, хотя и вечно грязными окнами, казалось, по швам трещит от студентов — так много было в его стенах голосов, смеха, интереса. Но я словно шла по серой трубе, в которой не было ни окон, ни дверей.

Свет в конце этого туннеля никак не появлялся, и я даже не знала, есть ли он вообще, — просто шла. Где-то за пределами трубы бубнили преподаватели, шуршали нарядами однокурсницы, то и дело собираясь на вечеринки. Сережа приносил какие-то книги — но из серой трубы их не достать.

Надежда была на Тасю. Но та углубилась то ли в учебу, то ли в новое романтическое увлечение — не было времени даже поговорить. Она встречала меня приветом, щебетала и уносилась вдаль по светлым коридорам своего медицинского то ли к новым знаниям, то ли к возлюбленному. Я оставила ее в покое — и шла дальше по своему туннелю к неизвестному будущему.

И оно состоялось: Мария позвонила вдруг из этой бесконечности и трепетным голосом произнесла... Что же она сказала тогда? Сначала ее голос был просто отзвуком с той стороны серой трубы. В первую минуту я не поверила, что слышу Марию. Думала, так, глюк, голос из недалекого прошлого, образы в моем подсознании говорят со мной.

Но она долго, старательно выговаривала слова, сомнений не осталось — это она. Я готова была возликовать — и неважно, что она говорила, из-за ликования я даже не поняла большую часть ее речи. Деревья, наряженные огоньками — это фонари просвечивали сквозь сетку ветвей, — празднично зашумели. Пошел дождь. Так можно было бы заре-

веть от счастья, но вместо меня заревело вдруг небо, перебивая слезную капель громом, сопровождая парадными сверканиями. Ведь не здоровалась даже, а теперь позвонила сама! Все, что я разобрала в ее медленном гудении: «Приходи, если хочешь». — «Хорошо, приду», — ответила я. «Может, придет Павел», — сказала она. «Я приду!» — «В четыре где-то», — сказала она. Хорошо, в четыре.

Мама, которая в тот вечер была дома, попыталась все испортить.

— Она? Я тебе говорила, не общайся с ней... Что это за компанию она себе нашла — подростки. Довела ситуацию... Надо было мне ответить, сказать, что тебя нет.

— Нет, мама. Я есть. И я всем покажу, что я есть. Есть! Есть! Есть!

Руки дрожали, во рту было сухо. Мамина речь возмутила, но спорить не хотелось. Ведь что она вообще может понимать? Она Марию, может, один раз в жизни видела. Мамины суждения о людях всегда меня раздражали. Она же не унималась:

— Куда ты опять пойдешь? Зачем ты к ней пойдешь? Это плохо кончится! Я же о тебе забочусь! — голос у нее становился визгливым, металлическим.

— Пойду. Ты сказала, что когда я получу аттестат, то буду сама решать, что мне делать, — надавила я на слабое место. Мама не нашла слов для вразумления и удалилась в кухню. Моя взрослая личная жизнь ее больше не касалась, я была в этом уверена.

В подъезде Марии мигала лампочка. То ли от ее неверного света, то ли от сырого подземного запаха, всегда царившего здесь, пробудились сомнения. Видеть меня не могла, а теперь вдруг позвала. Зачем? Что мне придется им сказать? Конечно, если по правде, то я только и мечтала, чтоб они меня позвали. Ежедневно я видела Павла, исправно посещавшего лекции. У него появилась подруга. Он так и не сказал мне ни одного слова. Впрочем, мы и раньше не особо разговаривали. Остальные из тех, кто бывал у Марии (и теперь учился с нами), забыли о произошедшем, стоило им только закрыть за собой широкую школьную дверь. Впрочем, они, по большому счету, были непричастны.

Меня поджидали. Я не успела нажать кнопку звонка, как щелкнул замок. И вот что: дверь не открылась, лишь щелкнул замок. Это могло означать что-то, но что? Когда ждут гостей, то перед ними распахивают дверь и хозяин стоит на пороге своего жилища, приветствуя заходящего. Но для меня только щелкнул замок. Дверь я должна была открыть сама.

Этот момент я запомнила на всю жизнь.

Этот символический момент представлял собой вот что: человек сам открывает свою дверь, делает выбор. За дверью ждет его неизвестное, может, радость, может, боль. Открывание двери, собственно, должно прояснить один важный момент: почему в мире любовь и смерть сближаемы? Романтическая близость любви и смерти, как страшное предание из давних веков, повествует о смычке материи и духа. Ровно такой, из которой, как из пустоты по «ту сторону», в месте смычки стены дома и его фундамента произрастают одуванчики, злаки и младенцы.

На площадке мерцал холод, напоминающий свет. Мариина дверь, обитая дерматином, посверкивающая гвоздиками, раскрылась. Возня и шепотки внутри квартиры затихли. С нами здесь присутствовала смерть.

Я сделала ее вновь видимой, представ перед сидящими. Мария смотрела на штору, и ей казалось, что она дергается не от ветра, колышет ее призрак. Мария прислушивалась — звуки казались ей странными. Наверное, они крутили тарелочку, гадали на свечах, раскладывали карты — и везде им мерещились следы покойного. Павел закрепил на каменном лице ироническое выражение. Запах горелого убежавшего кофе, какая-то тень, то и дело пробегающая по лицам, мелкая суета в движениях, похожая на дрожь. Меня определенно ждали — но для чего?

Только Сережа (а что, интересно, делает здесь Сережа?) был естественен. Он взглянул на меня твердо, без обычной улыбки. Но его взгляд ободрял, он содержал что-то вроде: это трудно, я знаю, но ты сможешь. Это было немаловажно, ведь вдруг, в какое-то мгновение, все во мне сказало — уходи, беги отсюда!

Но следом взвилось вихорьком какое-то ощущение несправедливости. Они даже не поздоровались, начали говорить между собой, словно игнорируя мое появление. Они не спросили меня: как ты? Они словно позволяли мне присутствовать. Только Сережа молчал. Потом он встал и ушел, как будто приходил лишь за тем, чтобы послать мне долгий ободряющий взгляд. За все время не сказал мне ни слова, только, проходя мимо, спросил:

— Ты идешь?

Мария посмотрела на него и сказала за меня:

— Она только пришла.

— Я останусь, — сказала я. Дверь закрылась, захлопнулась с острым хищным звуком. Словно мышеловка, словно причудливая ловушка. А когда хлопнула глухо и дверь подъезда, и Сережа быстро прошел под окном, в горле образовался неприятный комок.

В крошечной Марииной квартирке оказалось неожиданно много места. Вокруг меня его образовалось слишком много. Казалось, хозяйка и Павел чего-то ждали. Молчание становилось угрожающим.

Они вышли на кухню и переговаривались между собой полупшепотом. Послышалось что-то вроде: «Придет или нет?»

Кого ждут? Призрака, что ли?

Боясь признаться себе откровенно, я все же знала с самого начала, что они винят меня в произошедшем.

Пока они шептались, я ушла, не ответив на вопрошающий вопль Марии, ударивший в спину из окна кухни. Ушла за сиреневый куст в торце дома, не видный из окна квартиры. Больше туда не возвращаться, не возвращаться!

Вечером неожиданно объявилась Тася. Она сказала, что заходил Сережа (она была этим очень довольна). Утирала мои слезы платочком, что-то еще бормотала. А я в голос рыдала — благо мамы не было дома.

Через эту симфонию я не услышала больше ни одного Тасино слова, только в конце одно ругательство и обещание, что она выбьет Марии стекла или все расскажет Зое Васильевне. На последнее ее замечание я истерически всхлипнула и снова пустилась в слоновий рев: разве Зоя Васильевна не ненавидит меня-а-а? Я пообещала Тасе больше не ходить в «нехорошую квартиру».

\* \* \*

Но обманула ее (и себя). Ходила туда все чаще.

Когда Мария бывала одна, она говорила со мною участливо и мягко, но самое главное — говорила. Она рассказывала о Егоре, о том, каким замечательным он был, и как все — родители, их знакомые, его товарищи, которых очень-очень много (ведь он был замечательным), — как все эти толпы и множества переживают и оплакивают его. Она как бы говорила: вот стольким людям ты причинила вред. Она была слишком молода для того, чтобы отодвинуть собственные переживания, которые захлестывали ее, а захлестнув, опустошали. Ее голос был очень тих, ровен. Иногда он бледнел, линял — на ее глазах выступали слезы, и казалось: вот человек, лишившийся по моей воле чего-то дорогого. Ее благотворительность значила куда больше самой себя. Может быть, это даже была месть.

Однажды она показала фотографию, черно-белую, небольшую: мальчик нежной наружности. Потом подарила. Как выразить благодарность? Не за фото — за руку, которая потянулась ко мне с этой фотографией, за то, что пальцы раскрылись и картонка выпала передо мной на стол. Следующую половину года фото простояло на книжном шкафу в кленовой комнате, утверждая мою вину.

Мария говорила еще, что мать Егора, которая уезжает скоро из города, хотела бы увидеться со мной (зачем, думала я сквозь слезы: плюнуть мне в лицо, иначе зачем же). И какие-то еще музыканты и художники хотели встретиться и поговорить (зачем? им любопытно? ну да, они же художники...). Она рассказывала, как тяжело Павлу, как он тоскует. И какие у нее самой бывают необъяснимые ощущения потустороннего присутствия, как гаснет вечером неожиданно свечка в комнате. Зачем она зажигает свечи?

Ее личные спиритические переживания носили характер тихий, но настойчивый. Потустороннее складывалось из намеков: вот колыхнулась занавеска, вот громыхнуло что-то в кухне, вот в ванной заскрипела дверь. По ночам ей чудились в окне огоньки и лица. Мария, казалось мне, должна была истончиться от всех этих видений и растаять. Но она не таяла, наоборот, казалась крепче, чем обычно, тихонько и певуче рассказывая о неисполнившемся чувстве «одного человека». Она никогда не называла имени. Никто больше не называл его имени. Будто мы австралийские аборигены, которые не называют имен.

Она многое о нем знала. Он приходил, наверное, к ней советоваться, он рассказывал ей о своей жизни. В ее устах вся его жизнь была прекрасным несбывшимся, печальной повестью о найденном, но не обретенном.



Именно о таком чувстве потом жалеют отвергнувшие его, словно намекала она.

Визиты неизменно заканчивались слезами, которые возникали мгновенно. В слезах мокли сигареты — я начала к тому времени курить, и Мария разрешала курить в комнате.

— Ты красивая, когда плачешь, — говорила она, теребя пальцами салфетку или чайную ложечку. И я плакала все горше. Легче, по-моему, не становилось, но расслабывался в душе какой-то комок, что-то слежавшееся, спрессованное в силу обстоятельств. Наверное, это было невысказанное, которое некому передать. Говорить с мамой бессмысленно, говорить с Тасей еще бессмысленней, Зоя Васильевна вовсе не обязана была выслушивать мои жалобы. Сережа? С какой стати мне было нить ему в жилетку. Так что бесконечный дождь шел в Марииной квартирке.

Мария была моей мучительницей. Она наказывала меня. Но ничего объективней этого урока со мной не случалось. Она охотно отдавала свое время, избывая, очевидно, и свою вину, может быть отчасти даже перекладывая ее на мои плечи. Она словно обнажала, показывала вязкую почву человеческой психики: становилось очевидно, что простые и ясные формулы поведения и общения под давлением обстоятельств могут принимать вид неузнаваемых. И благородство можно вполне перепутать с подлостью, любовь — с отчаянием, отчаяние — с наслаждением. Это и были настоящие уроки психологии, в отличие от той муры, которой она шпиговала наши неокрепшие умы в мирное время.

Царило нечто похожее на бред в наших с ней заунывных вечерних разговорах. Раны гноились, но мы будто наслаждались их цветением, как цветением запредельно прекрасного сада, настолько прекрасного, что больно смотреть на него. Я погружалась в глубину темного мира сожаления.

### **Жизнь есть сон**

Я погружалась также и в размышления над одним вопросом: зачем же они позвали меня? Тут, определенно, скрывался какой-то замысел. Возможно, он был связан с тем, что никто не нашел в себе довольно смелости назвать виноватым и себя тоже. Труднее и не бывает: сказать, что в произошедшем есть и моя вина.

Вина Марии была одновременно и ее страшная профессиональная неудача, исчерпывающая все дальнейшие возможности. Вина Павла, разделявшего идеи товарища то ли всерьез, то ли за компанию, поставила его в положение соответчика: недоглядел. Они втроем всегда смотрелись как заговорщики. Родители, занятые собственными переживаниями, не увидели в сыне грандиозного замешательства, а если и увидели, то оказались бессильны. Учителя, как муравьи, бегали из класса в класс, не присматриваясь ни к кому конкретно, даже не сплетничая об учениках — некогда. Можно было бы продолжать, дойдя наконец и до себя — упрямая себя в черствости, известной легкомысленности, известном максимализме.



О вине, должно быть, сразу подумал каждый. Но искать виноватого мешало первоначальное горе. В горе вина была всех — и ничья. Но горе отхлынуло, на смену ему пришли иного рода терзания, которые можно определить одним вопросом: а могло ли всего этого не случиться? Это коварный вопрос — при том абсолютном условии, что человек всегда ищет надежду. А раз этого могло и не случиться, то почему случилось — терзается вопрошающий. Он задает этот вопрос, имея в виду обычно внешние обстоятельства. Если бы человек мог останавливаться в своих вопрошаниях и сетованиях, то увидел бы, возможно, соразмерность всего происходящего. Соразмерность отменяет какую-либо вину, оставляя человеку лишь разумное сопереживание.

Но вместо наступления светлой соразмерности в темном котле эмоций, чувств и горьких сожалений сварилось кое-что другое — вина, в том допотопном виде, в каком ведьмы смогли бы сварить ее для Макбета. Вина в том виде, в котором ее, как побочный продукт общественной совести, перекладывали в древности на несчастных козлов, гнали их в пустыню, сбрасывали со скалы.

Виноватого назначили молчаливым согласием. Конечно, вряд ли чей-то рассудок принимал доводы истеричной исторички Марины Сергеевны, которая утверждала, что сердце подростка может захватить абсолютное зло. С ней — и то в чисто утилитарных целях — согласились бы лишь режиссеры хорроров.

Но отдельный рассудок оказался бессилен против общей заинтересованности, обеспеченной личным страхом смерти. Ведь суть в том, что виновный как бы перетягивает на себя боль других участников события. Таким образом, вина — а значит, и смерть — на первый взгляд, становится чем-то управляемым, подвластным.

Однако это не так. Все приобретает еще более неуправляемый характер — ведь в архаических обществах козел умирает, заканчивая этим самым распространение вины. Кто должен умереть, если виновным назначают соплеменника, а не козла?

В архаических обществах система обрядов способствовала честности: обвиняющие козла осознавали собственный грех и всего лишь отказывались от него. Они не говорили, что греха нет. Коллективное сознание разгружалось от травматического шока, в душе каждого члена общества воцарялся мир. Но человек не козел, он не может спокойно погибнуть лишь для того, чтобы вина других рассеялась. Человек — это связь с другими людьми, это душа и разум. Никто не будет скорбеть по случайному животному. А по человеку — будут. Родится новая вина, будут искать новых виноватых, задавая вопросом: а можно ли было этого избежать? И так далее, до бесконечности.

К тому же кто добровольно согласится на эту пугающую и странную роль виновника? Точно не я. Внутри существовало убеждение: моя причастность к событию невелика. Точнее, я не ощущала ее вовсе. Просто обстоятельства и люди оказались сцеплены между собой невероятным и трагическим образом, помимо своих желаний или даже вразрез с ними. Полученная мной роль казалась абсурдной: как, в какой момент маленькая

девочка стала героиней драматической коллизии, заняв в ней, если бы это был роман, место роковой женщины? Это казалось настолько нелепым, что иначе как на судьбу в ее античном варианте пенять было не на что.

Окончательным вердиктом была всего лишь констатация: это случилось. Именно это — бесповоротность событий при их непредсказуемости — и вселяло отчаяние. Я оплакивала прощание с детской надеждой на то, что все кругом — славное добро, которое сильнее нас, которое поправит наши ошибки, не дав им перейти за грань невозвратимости. Я узнала, что добро нуждается в нас, что без человека оно — стихия, которая не благоволит ничему. Так я узнала, что важно не только то, что мы делаем, но еще больше — то, что мы говорим. Слово настигло меня как непоправимая удивительная сила.

Наверное, оттого Мария делалась все холоднее в разговорах. Наверное, ей не хватало моей *виновности*.

— Что ты чувствуешь? — вдруг спрашивала она.

Трудно было ответить.

— Наверное, тебе тяжело?

Да, мне было тяжело — оттого, что везде царила туманность и недосказанность. Даже в колыхании блеклой шторы в ее доме.

\* \* \*

И произошло кое-что: через какое-то время Мария, Павел, разговоры, саднящие и надрывающие душу, вся эта безвыходная история превратились в мою жизнь, потеснив настоящие желания и планы. Я будто что-то была должна — и отдавала через не хочу, оживляя этой отдачей маленькую компанию. Мария вдруг улыбалась как раньше. А Павел поглядывал в мою сторону и однажды мимолетно поинтересовался: «Все норм?» — то ли из вежливости, то ли наслаждаясь собственной снисходительностью. Это с некоторых пор стало его коронной фишкой. Раньше он мог уесть каждого из нас каким-нибудь Кастанедой, а сейчас никто не хотел попасть под каток его снисходительности. Но условия нашего общения предполагали снисходительность, да еще какую.

Я добивалась ее, ведь во мне наконец со всеми удобствами разместилась жирная гусеница сомнения, перебирала куцыми ножками: не ты ли, бывшее дитя, виновато во всем, ничего не осознавая, только рискуя, только глупая в своей ничтожной жизни? И в нужное время она обернулась в бабочку с ночным характером, летевшую на ломкий, но опасный свет.

Тем временем уже почти исчезла зима. Конец февраля выдался бесснежным и мокрым. Ошметки снега, снесенные дворниками с тротуаров на кромку проезжей части, за день плавились наполовину, стекали на дорогу, за ночь превращались в гололед. Но дворники упорно укладывали снег снова, и он снова таял.

Распорядок моего дня оказался подобен распорядку дворников, мои действия — столь же бессмысленны и размеренны, как их. Рано утром я просыпалась, уходила из дома в университет, где отбывала одну пару,

затем курила до умопомрачения на заднем дворе, возле университетского вивария, где в заключении держали несчастных искромсанных зверей. Их вскрывали, зашивали, лечили, снова вскрывали. Их ужас вполне сходился с моим. Бездна безнадёжность положения тоже. На трепанации черепа какой-то несчастной кошки, у которой, вы подумайте, даже имя было, доцент шутил и подмигивал студенткам. Шутил и подмигивал. Кошка сдохла, конечно.

Когда март потащил чёрные льдины по серому киселю реки, заорали чайки. Они орала, планируя над водой, орала, прячась в облаках-слизнях, ползших над городом. Вдоль реки я бродила, пока обувь не отсырела, не начинала хлюпать. Казалось, кожу туда-сюда внутри гигантского пенала, сжатая со всех сторон уменьшающимся пространством. Наконец, сворачивала на какую-нибудь неприятную улицу, где колыхали пустыми ветками яблони, дребезжали прошлогодними вертолётками клёны. Все улицы в этом городе вели к школе, или к дому, откуда выносили гроб, или к дому Марии. Центром этого города стала моя история, вокруг нее замер весь подводный и надводный мир, о ней молчала загадочная природа. Так человеческий эгоизм организует свое пространство, владея лишь представлением о нем.

В кафе, которое уютилось в угловом помещении старого театра, можно было укрыться на время от центроостремительной силы, все более набравшей обороты. Незатейливая, синего и красного пластика обстановка, угрюмая барменша, толпа шапочно знакомой молодежи — вот и все достопримечательности этого местечка с убогим меню из вина, сока и бутербродов. Но лишних вопросов здесь не задавали, никого здесь не интересовали твои сомнения. Все, что с тобой происходило, происходило снаружи. Здесь, на нейтральной полосе, цвели свои цветы — призрачные, ненастоящие, цветы меньшего зла. Подозреваю, мы все прятались здесь от чего-то — каждый от чего-то своего.

Конечно, и сюда могли явиться те, кто хотел бы со мной поговорить, свидетели, очевидцы, сочувствующие. Я пыталась угадывать их лица в лицах случайных посетителей. Но в этом пластиковом ненадежном мире ущерб от них был бы минимальный — как в космосе, где планеты вращаются по своим орбитам, галактики не пересекают друг друга, а звезды сияют просто потому, что они — звезды. Здесь было куда надежнее, чем дома, где из ценного оставалась только кровать, на которую можно было упасть и забыться до утра, в остальное время дом напоминал проезжий город, из которого потоками людей вынесено все важное, сама суть уюта.

Обкраденная, квартира неспособна была вместить меня и выталакивала, щадя лишь по случаю плохого самочувствия и вечернего холода. Одежда моя была дрянновата, маме отдавали ее знакомые. Бедность наша начала приобретать очертания нищеты. Впрочем, я не знаю, действительно ли мы жили так бедно тогда, что я надевала дырявые, уже ношенные кем-то сапоги и полинялый китайский пуховик. Я просто надевала то, что мне давали, нельзя же было идти раздетой. Комната помахивала своими кленовыми листьями, мол, проваливай уже. Но если вдруг позволяла остаться, то лучше было лечь спать — сколько бы времени ни было, даже

если день в разгаре. На стареньком бабушкином диване, который переехал в кленовую комнату, я натренировалась засыпать в любое время и в любых условиях.

Еще произошло вот что: сон потерял обыденное значение отдыха. Он стал напряженной работой. А время бодрствования превратилось в сон наяву, вялотекущий, сырой, серый — никакой. Сновидения переселяли в мир ощущений, который выплывал то одним своим боком, то другим. Сон представлял собой бесконечную емкость, в которой каждый шаг обещал не только бесповоротность, но и продленность. Это была зона бессмертия. А поэтому и зона возвращения.

Упущенная возможность, которую в реальности вернуть было никак нельзя, здесь всплывала в виде новой возможности. Порой опознать нечто как возможность бывало трудно — в череде иллюзий она цепляла тебя, как червячка, на крючок и тобой размахивала, вылавливая в глубоких водах сновидений добычу нетривиальную: переживание, равного которому у тебя еще не было. Во снах я заходила в разные дома — пустые и многолюдные, страшные и счастливые. Например, в серое бетонное длинное и безжизненное здание вдали от города на пригорке, поросшем серо-зеленой травой под душным серо-голубым небом. Если подняться по наружной бетонной лестнице, то оказываешься в мире перегородок: все пространство внутри разделено прозрачными перегородками. Помещения просматриваются. И просматриваются коридоры между ними. Здесь кто-то есть, я ощущаю чье-то присутствие, будто бы даже слышу шаги — но не вижу никого, несмотря на полную прозрачность пространства. Я даже не знаю, догоняю ли кого или, может быть, от кого-то убегаю. Я бы хотела видеть того, кто ходит по этим коридорам вместе со мной, — а выхожу ни с чем. Разве не так же при полной прозрачности жизни мы ничего не видим, не замечаем знаков, которые подает мир? Слепота при полной возможности увидеть — вот что значил этот сон.

Наконец там и сям на этой карте сновидений появлялось существо, подобное покойному, но умиротворенное, утонченное. Оно водило меня за руку, кивало на круглые маленькие озера, наполненные неподвижной и густой ртутной водой. Бросалось туда, плавало, разгоняя густоту, напоминая живую начинку в блестящем металлическом тесте. Незнакомый пустынный мир, лежащий кругом, равнодушно гонял свои облака над нами.

Мы шли на реку. Это была граница. Дальний берег реки исчезал где-то — то ли за горизонтом, то ли в тумане. Нельзя было определить ее ширину, но казалось, что ее ширина бесконечна. Длина не имела значения — никто не плывал вдоль, все ждали корабля, чтобы перебраться на другой берег. Черные автомобильные покрышки, во множестве разбросанные по тротуарным плитам, облепил народ. Сидели, как голуби, подбирали белые узлы поближе к себе, подтягивали чемоданы. Маленький мальчик среди всей этой голубиной чащи катал обруч.

Однажды существо не встретило меня. И набережная опустела. Должно быть, пришел паром, или ковчег, или что там еще могло прийти. Здесь не осталось ни одной покрышки, чтобы сесть, — куда делись, не с собой же они их уволокли? Металлический столб, похожий на водопроводную

колонку, блестел под неярким солнцем, пока вдруг небо с одной стороны не потемнело. С этой стороны неба подул шквалистый ветер, быстро превратившийся в ураган, рвавший к себе всякого, оказавшегося в пределах досягаемости. Вторая половина неба сияла берлинской гладкой лазурью. Меня уносило ветром, но, схватившись за столбик, я переползала к свету, как иной таракан, убегающий от сердитого тапка.

Все это были странные знаки.

Однажды в огромном здании, накрытом прозрачным куполом, в нескончаемом людском хаотическом движении через великанскую дверь я вошла в зал, заставленный длинными столами. За столами сидели люди и ели. Одни доедали и уходили, на их место приходили другие — с мисками, ложками и кусками хлеба. Среди подходивших одиноко покачивалось и мое существо. Оно поставило на стол миску и втиснулось между сидящими. Никто не замечал меня, даже оно. Глядя мимо меня или сквозь, оно равнодушными глазами ощупывало пространство. Они мертвые, я — живая... Уже мне слало сигналы нечто иррациональное, требуя оставить землю мертвецов, вернуться к живым. Иррациональное протестовало.

Этим сном окончились мои хождения за три сновиденческих моря. Я больше никогда не видела существа, и ртутных озер, и пустой площади, разделенной надвое непогодой. Это длилось некоторое время и вот закончилось, оставив за мной лишь чувство потери. Несбывшееся рождало там надежду, которой не могло быть наяву. И вокруг этой надежды сама собой сплелась радужная ткань призрачной реальности, в которую я спастительно закуталась. Хотя со стороны я, должно быть, напоминала муху в паучьих нитях, в которую паук уже вбрызнул сок для медленного переваривания...

Я пересказывала сны холодной Марии. На лице ее проступала сложная эмоция, определить которую я так и не смогла.

### Закон подобия

Очень сложно сказать о том, что это было, — сны ли, послания ли. Единственное, что верно, — действительность как будто перевернулась, и вся ее поверхность стала неузнаваемой, как если бы морское дно вдруг обнажилось для пешехода и он озадаченно смотрел, куда ему поставить ногу в этой новой действительности.

В этом была какая-то большая тайна — в жизни, в смерти и в том извилистом витальном волнении, которое расцветало между ними. Огромные категории — жизнь, смерть, любовь, которые всегда осознавались лишь как прихоть книжных страниц, выдумка литературных старцев, превзошли объемы книги и выбросились на мои скудные берега. Они предъявили такую сложную связь между собой, что назвать ее можно было только Тайной, никак иначе.

Егор, который *был*, Мария, холодным взглядом отталкивавшая меня, Павел, вцеплявшийся в свой шарф и смотревший исподлобья, сны — неотъемлемая ее часть. Каждый шорох, каждая деталь — и такая значительная, как историчка Марина Сергеевна, и такая мелкая, как бульканье

кофейника, крошащийся мел, загнутый лист учебника — все создавало чрезвычайный фон для нее, переплетаясь и взаимодействуя.

Мне казалось, что эту Тайну знают все и вся, люди и звери кругом, мебель в квартире и деревья на улице — и лишь мне она почему-то недоступна. Где же мой ключ, благодаря которому я смогу расставить все по местам?

\* \* \*

Сведения о дивных обычаях и странных ритуалах, хранящиеся в памяти каждого из нас, побуждают к поступкам, которые, при хорошем размышлении, можно назвать магическими. Тайные знания спрятаны за семью печатями, их невозможно *назвать*, однако они рассказывают о себе опосредованно, например, через явление или персону. Мы их не заслужили и не заработали — они нам достались от предков, умеющих вызывать ветер молитвой, мчаться в бездну и не кануть там. Одним словом, это фантастическое наследство, которым мы, говоря по правде, не умеем даже распорядиться, — оно само распоряжается нами. В ситуациях неожиданных оно проявляет себя, давая возможность древней магии сохраниться, а нам, произведя простейшее действие, получить подсказку.

Чем, как не внутренним знанием такого рода, можно объяснить странный поступок, имеющий с позиции традиционного здравого смысла лишь одну логику — логику отчаяния: позвонить Павлу и выплеснуть «я тебя люблю». В этом не было никакой подоплеки, лишь повторение действий *того, чье имя больше не называли*. Чуждая и холодная фигура, Павел всегда вызывал во мне лишь осторожное любопытство. От него всегда хотелось держаться на некотором расстоянии. Но его безмолвный суд был жестче суда Марии. Древний прием симпатической магии не мог этого изменить. Но он мог расставить все по своим местам.

Магия сработала, когда Павел сказал:

— Почему никто не спрашивает, кого люблю я?

Я сразу узнала эту фразу, которую произносила почти так же: с долей досады, с долей недоумения. Стало понятно вдруг, что это не мои слова, а всеобщие, и в них есть смысл больше смысла тривиальных, ответных «а я тебя не люблю». Они означали: я человек, свободный в своих чувствах и желаниях, любое покушение на свободу я не приемлю и ощущаю как преступление.

Но они открывали также, что и смысл самого объяснения может иметь другую цель, чем требование ответного расположения. Она может быть выше, выступая заявлением миру о человеке — через другого. Она может быть проще, транслируя всего лишь жажду внимания, которая может быть удовлетворена иным способом. Она может быть вопросом к обществу или сакральным обращением к божеству — чем угодно. А значит, и единственный ответ на нее — понимание. Но тогда, год назад, перед тем последним звонком Егора, я еще не знала, как это — понимать.

...Не по этой ли причине я и по сей день ощущаю непростительный интерес ко всем участникам тех стародавних событий, к свидетелям



и соглядатаям? Не могу пройти мимо школы, не заглянув в ее низкие окна — вдруг там мелькнет нацистская прическа Марины Сергеевны, короткий зализанный блонд. Или бессменная директриса школы проплывет, раскачивая сахарной башней из волос. Да и мало ли еще что.

\* \* \*

Магия сработала. Все встало на места. Они — мои несбывшиеся друзья — наконец заявили о своих преимущественных правах на то пространство, где мы вместе обитали.

Однажды утром весенний тяжелый рассвет, муторный, оттепельный, вялый, поднял с кровати маму раньше обычного. В воскресенье незачем было вставать рано, но у нее случился приступ активности — из тех, что подступали, когда она начинала терять уверенность в себе, ходила с красными глазами, ворчала, ни во что хорошее не верила. Мама тогда или ярко красилась и убегала куда-то, или начинала изобретать новые невиданные блюда, или объявляла генеральную уборку. В этот раз ее осенило чувство чистоты. Она стащила с меня одеяло и объявила:

— Вставай. Сегодня прогенералим. Стекла помоем.

— Ма, холодно еще окна открывать. — Открытыми окна противно было даже представить. Ветер не унимался уже несколько дней, проникал в квартиру сквозь плотные рамы бог весть какими путями.

Заверещал телефон. В восемь утра нам обычно никто не звонил, и мама почувствовала опасность. И метнулась к моему телефону, но в суете зацепилась ногой за провод, раздражилась. Я проскользнула мимо нее, цапнула телефон. Мариин голос как-то уж слишком ласково сказал:

— Вечером в семь мы собираемся у меня. Приходи.

Сон улетучился.

Первую половину дня, вычищая по маминому настоянию зимний мусор, сметая в кучку сухую новогоднюю хвою, которая притаилась во всех углах, я с затаенным страхом ждала вечера. После «ноты любви», которую я выдала Павлу, неловкое удивление обуяло меня: как же угрозило такое ляпнуть? Каким-то шестым чувством я поняла, что Марии известно о произошедшем. И вот уж они, наверное, вдоволь посмеялись. И решили высказать мне что-то — иначе зачем так торопить события, звонить в восемь утра. Я надеялась, подкупая их несопротивлением, принимая их снисходительное отношение, что смогу вернуть прежнее отношение к себе. Но, кажется, я ошиблась...

Дверь была открыта, меня ждали. Среди гостей оказался неизвестный мне человек, в котором процветало нечто настолько отталкивающее, что захотелось прикинуться ветошью или убежать. Он был словно с другой планеты: нескладный, точно собранный из разнокалиберных палок, с бугорчатым лицом. Кажется, он был достаточно молод — трудно определить возраст другого, когда самой тебе лишь семнадцать. Но близко посаженные глаза на каком-то буреломном лице представлялись глазами хитрого старика. Темными червяками они двигались, ползали, крутились — в общем, вели себя так подвижно, что, казалось, вызывали шум.



Они сильно блестели — будто червячки выпачканы в какой-то слизи. Всех новых людей сюда приводил Павел. Временами создавалось впечатление, что он здесь главный, не Мария: режиссирует свой спектакль, смысл и цель которого понятны лишь ему. Он крал у меня Марию, занимая ее в своем спектакле, подсовывая ей новых людей. Он, конечно, подстроил и этого червивого.

Все вокруг стало неприятным. И то, как Павел смотрел в окно, едва сдерживая улыбку. И то, как Мария отводила глаза (но тоже победно улыбалась самыми уголками рта). Сегодня в этом доме были изменения, пока неясные. Неплотно закрытая дверь в спальню обнаруживала разбросанные на кровати вещи. Возле кровати — высокое синее ведро. В кухне что-то булькает и сильно пахнет, но не только кофе, а еще и чем-то съедобным. Вареным мясом?

Произошел вдруг какой-то разговор — из обрывков, неловкий и скучный, но скоро затих. Мария принесла кофейник, расплескала содержимое по чашкам; Павел отвернулся от окна, сел лицом к публике; червивый бродил вдоль дивана, посасывая сигарету в длинном женском мундштуке. В его движениях была сногшибательная грация — при совершенной уродливости фигуры.

Потом снова заговорили — о музыке. Обсуждали тихо, снижая скорость, понижая тон. И беседа снова сошла на нет.

Мария словно не могла найти себе места. Она суетилась, переходила от окна к дивану, вдруг заговорила об общих знакомых, которые приехали к ней вчера прямо из аэропорта, не предупредив. Но здесь и обсуждать было нечего. Разговор зачах в третий раз.

В тишине мы услышали, как соседка сверху что-то уронила, соседка закричала на соседа, заревел ребенок. Рев расплескался на весь дом — и как по команде все вокруг зашумело. Откуда-то понеслись звуки ремонта, где-то застучали в батарею — как будто мир играл в молчанку и вот закончил играть.

Все в квартире Марии начали говорить. Речь потекла. Бесконечные, бесконечные перебивчивые диалоги, переходящие один в другой. Казались, один человек содержит множество голосов, которые перекрикивают сами себя, не могут слиться, договориться, и вот уже человек распадается на куски, не сумев утихомирить свои голоса. В этом гуле созревало бытие.

И оно созрело. Все вдруг затихли. Незнакомец с червяками вместо глаз вышел на середину комнаты. Повернулся ко мне.

— Это же ты во всем виновата, — сказал он, нацеливая своих червяков-ниндзя прямо на меня.

Присутствующие, театрально округлив глаза, уставились тоже. Мол, и как это мы раньше не замечали! Ну точно! Это все она! Выражение общественного лица теперь изменилось. Теперь оно напоминало глухой забор, на котором написано плохое слово — специально для меня.

Впрочем, разыгранные страсти быстро улеглись, ведь и ребенку понятно, что никто не удивлен такому повороту. «Виновата, а ты как думала? Думала, с рук сойдет? Мы не хотели говорить этого, но раз уж

сказано, то и мы не можем больше лгать. У нас не хватало сил, злости или еще чего-то, чтобы сказать это самим», — примерно это удалось теперь прочесть в смутном выражении знакомых лиц. Мария отбыла в кухню. Похоже, ей единственной стало не по себе. В Марии всегда была нежность, конкурирующая со слабостью. Павел смотрел исподлобья, и в глазах у него светился хищный интерес: что будет дальше.

В общем, крыть было нечем. Но магия сработала. Она все расставила по своим местам.

Натянув кое-как куртку и глотая (все-таки) слезы, я вышла прочь, накрепко прикрыв за собою дверь в Мариину квартиру, — чтобы никогда больше ее не открывать.

В квартире зашумели. Это был такой шум, какой бывает после напряженного ожидания. Натужные смешки, слишком оживленный разговор. С улицы его тоже было хорошо слышно. Я побежала к Тасе, ныряя в лужи, выныривая, сшибая по дороге кусты и клумбы, расшибив об угол дома коленку.

Они, должно быть, хотели избавиться от такой грязи, как я, вот и позвали дворника. Безнадежная обида на Марию, которая предала меня дважды, высвечивала многое: освобождение. Нечто светлое как будто гладило меня по голове. Забыв все свои сомнения, забыв и думать о том, как отнесется ко мне Зоя Васильевна, я вторглась к Тасе. Как я соскучилась по ней!

\* \* \*

Странные уроки я получала тогда — немного запоздавшие уроки понимания: Зоя Васильевна встретила меня со слезами, которые происходили у нее от полноты чувств. Она упрекнула, что я не прихожу к ним. Она ни словом не обмолвилась о том, что случилось. Я чувствовала, что она сожалеет о произошедшем, однако же это чувство растет у нее на иной почве, чем у прочих. Это было всеохватное сожаление *обо всем, что заканчивается*, подвластное времени и обстоятельствам. Это была печаль прощания, которая не имела ничего общего с отчаянием утраты. В такой печали теплится огонь, и в его сердцевине созревает все новое — взамен утраченного.

На радостях — а может быть, и на горестях, потому что всю ночь мы с Тасей рыдали, как проклятые, я осталась ночевать у нее, а к утру у меня возник план.

В эту ночь мне приснилось мое облезлое черное пианино. Я играла на нем, как сдурела, громко, долго. Пришла мама, покойная бабушка, соседи, Тася, Зоя Васильевна, Сережа, дед Иван, растворившийся некогда в пледах, и еще люди, люди. Они молчали и слушали, а я набирала темп и громкость. Играй, Роза, не сдавайся! И я проснулась со счастливым расположением к открытой войне. Определенность накрыла мой мир, как цветущая весна. Все утро я мысленно благодарила незнакомца за его появление. Он казался посланником небес, ангелом порядка, призванным вернуть все на круги своя.

Солнце билось в окно, требуя открыть, впустить. Раздавало тепло из-за стекла щедро. В его ослепляющих горячих волнах образ Марии предстал мне наконец в своем естественном свете. Она была ненамного старше нас, ее выпускные экзамены отгремели, диплом был написан — и ей надлежало быть взрослой. Но в этом есть главный подвох: никто не знает, что такое «быть взрослым». Она не очень хорошо это умела, когда пришла работать в школу.

Тася ворочалась, хрюкала, чавкала, просыпаясь. Это чавканье, которое обычно вызывало раздражение, сегодня казалось даже милым. Я терпеливо ждала, когда она проснется, чтобы поделиться планом.

Ощущение приподнятого спокойствия, которое ровно парило над океанскими опасными волнами жизни нахальным летучим кораблем, открыло неведомое доселе чувство согласия: если есть вина, то пусть будут и виноватые. В этой славной уверенности следовало подумать о войне. О битве с пустотой, которая вышла на меня в полном обмундировании в виде Марии и Павла. Вестник войны с червивыми глазами и темным бездонным ртом все еще произносил свой вызов...

Тася, наконец, проснулась, прошлепала босыми лапками — и принялась из озорства раскачивать раскладушку, на которой я выдумывала стратегию к своему плану, вытрясая из меня все грядущие подвиги. Зоя Васильевна крикнула нас завтракать. Я позвонила маме, сказала, что сейчас приду домой. Она хмыкнула и завела обычную песню: «Ночуешь по гостям, у тебя что, дома нету?» Но песня в этот раз оказалась коротка, телефон щелкнул и рассоединил.

Дорога блестела. Блестели небеса. Блестели окна... Троллейбусы чирикали, а не дребезжали, как обычно. Порванное сиденье казалось милым, милым, ужасно милым. Вот бы поставить на него синюю, красную заплату! Подъезд наш не чист, но зато какие широкие окна, как много света попадает через них!

А дома и того хлеще: мама приготовила для меня завтрак, чего не делала уже давно. С некоторых пор ее повергало в панику любое неожиданное событие, даже и хорошее, — как будто сам порядок вещей должен был подчиняться ее однообразному настроению, в которое она вступила однажды и осталась там двумя ногами и всей своей унылой фигурой. Она всегда теперь была в таком настроении. И завтраки, бывшие частью прошлой — сломанной разводом, бытовыми катаклизмами и вечной недостаточностью — жизни, как-то сами собой отменились, ушли в прошлое. Общие завтраки, на которых семейство говорит друг другу «Здрасьте, с добрым утром!», остались в памяти смутным воспоминанием то ли счастья, то ли бытовой суеты.

Но вот мама улыбается, кормит дитя оладушками. И не вздыхает. Я, помня сон, бросила поедать пышную стряпню и масляными руками отворила пианино. Взяла аккорд. Мама, хотя и панически воскликнула: «Руки помой, куда с грязными!» — улыбнулась. Принесла полотенце, чтобы я вытерла руки, и сказала мягко: «Поиграй, Роза, поиграй». Я давно не видела маминой улыбки, а мама — моей. Пианино, гроб на колесиках, напоминало ей прошлую щедрую жизнь. Щедрую не на хлеб, а на надежду.

...Я позвонила Тасе, уточнила план, который поднялся, как тесто, на солнечном и мамином, таком редком, тепле.

Она согласилась вечером позвонить Марии и сказать: «Роза пропала».

\* \* \*

Ушла — и больше ее никто не видел. Так надо было сказать. Сказать, что ночью было ей, Розе, совсем плохо — и все из-за вас. Она металась и убежала ночью. Утром пошли меня искать и не нашли. Так исчез Егор: ушел — и не нашли. Потом нашли, но смысла уже не было.

Отчаянное простодушие или простодушие отчаяния — думать, что меня хватятся те, для кого мое существование было само по себе железобетонным упреком и напоминанием. Ну а как же? Ведь без меня им никак не оправдаться. Не будет меня — будет их, совершенно новая и безукоризненная, вина. Без меня им никак нельзя.

Возбуждение прошло к вечеру, когда солнце погасло, прикрытое лохматой тучей-собакой. Туча ломилась в квартиру, хотела участия. Мама ушла еще утром, после завтрака. Комнаты, стены и окна составляли компанию в моем ожидании: Тася должна была прийти ко мне, потом позвонить и сказать два заветных слова.

Тася пришла около семи и позвонила. На том конце провода сказали: ну и что?

Тася растерялась и положила трубку.

— Они сказали: «Правда? Ну и что?» — и бросили трубку. Не поверили. Не поверили? — она уставилась на меня вопросительно.

Тасино самолюбие страдало — они мнила себя неплохой актрисой. Через минуту ей перезвонили. Она включила громкую связь.

— Ну что, Роза не нашлась? Ну-ну. А у нас Павел потерялся. Представляешь? Ушел и нету, — голосом Марии над нами откровенно издевались. Война была объявлена.

Конечно, Мария, помимо прочего, оказалась в центре педагогических разбирательств. Бродили слухи о ее абсолютной дисквалификации — Тася слышала разговор Зои Васильевны с завучем школы. Горе Марии было полным и многообещающим. В нем, как в страшном котле, перекипало такое варево, которое лишало ее будущего, — работу свою, как все мы понимали, она любила, хотя, кажется, мало представляла, в чем конкретно она заключается. Тогда никто не представлял — даже те, кто выпускал молодых специалистов, — что должен делать с подростками школьный психолог. Поэтому им оставалось одно — просто чувствовать симпатию к детям и пытаться быть им полезными. И теперь *кто-то* виноват, что она все это теряет, что она не может быть полезной, что все ее романтически-педагогические идеалы рушатся... Так что ничего удивительного, что ее страдания прорвались наконец наружу.

На том конце провода слышались голоса и смешки. Тася не стала больше разговаривать. Потом она сразу ушла.

Нет, я не поверила в то, что сказала Мария. Но что-то толкнуло меня одеться и выйти на улицу. Было темно, фонари не горели. Зачем я

вышла? Я вышла вопреки — они не думали, что я выйду. Ведь поняли, что Тася обманывает, и ответили тем же. Они понимали, что я не пове-рю так же, как не поверили они. Но из чувства противоречия я вышла. Из чувства противоречия быстрым шагом отправилась к дому Марии.

Стемнело намертво. Вдали у дороги виднелись желтые, худосочного света фонари. Под ногами хаос — выщербленный тротуар, скособо-ченные ступеньки. Ямы в асфальте наполнены кашей из талой воды и льда. Спотыкаешься на каждом шагу, и худые сапоги — ну зачем мама берет у кого-то поношенную обувь! — совсем промокли.

Замерла в темноте длинная «китайская стена» — девятиэтажка, многоглазое насекомое, бельмастое: окна светились глухо, задернутые более или менее плотными шторами. Закончился ряд фонарей. Ничего больше не видно. И почти ничего не слышно. В такое позднее время — никаких голо-сов. Захотелось закричать громко-громко, чтобы прекратилась эта всеоб-щая блокада темнотой, чтобы кто-нибудь засмеялся или заругался, — ус-лышать человеческий звук, а не только чавканье снежной каши под ногами.

Вдруг что-то стукнулось о землю почти рядом, глухо, но четко. Ко-роткий стук, будто упал тяжелый мяч, наполненный песком. Такие нам зачем-то выдавали на уроках физкультуры. Они не прыгали, они больно били по ногам. Мы кидали их друг другу минут пять, потом сваливали в угол спортзала. Непонятные, странные, странные мячи.

Насекомое вдруг открыло свои глаза — дом засветился. Раздвига-лись шторы, открывались окна, несмотря на холодную погоду. Распахивались со скрипом и натугой запечатанные на зиму балконные двери, на балконах маячили человеческие силуэты. Волною распространился го-мон людских голосов. Затревожились собаки. Это произошло, как чудо: световая волна в полной темноте, звуковая — в полной тишине. Ночь вдруг засверкала волшеб-но, а воздух был теперь не холодным и промоз-глым, а речным, чистым. Все прошлое отменено, казалось, само собой — просто потеряло свое значение, свернулось обезвоженным листиком, ко-торый через миг рассыплется в прах...

Из-за угла вынырнул острый яркий глаз фонарика. Фонарик метал-ся, огонек описывал дуги, таранился, высвечивал мусор под балконами. Уткнулся, наконец, в черный сугроб. Тот, кто нес фонарик, закричал, что нашел, и распорядился, чтобы звонили. Я стояла тихо, не шелохнувшись, боялась спугнуть оживление, которое, словно по моему желанию, возник-ло в это отчаянное время, чтобы утешить и подбодрить.

Глаз фонарика зыркнул мне в лицо.

— Чего стоишь, иди поддержи, — просипело рядом. Свет ударил под ноги, в руку лег нагретый человеческой рукой корпус фонарика.

— Свети, ну! Прямее, прямее! — командовал хозяин фонарика. Луч пополз вбок, вниз — появилось лежащее на земле вывернутое что-то. Мягкая кукла. Тело. Блеснула заклепка на куртке.

— На лицо посвети!

Если у того, что лежит, есть лицо, значит, это человек.

Тот, кто дал мне фонарик, не видел моего лица, вряд ли запомнит, не узнает потом. Я бросила фонарь и пустилась бежать. Был ужас: кто-то ударился оземь и оборотился волком! Билась в голове какая-то речь,



какая-то сказка, отграничив реальное — и мутное, туманное, почти неразличимое Другое. Одним шагом можно было пересечь границу реального и заблудиться в нереальном.

Я остановилась только у дороги, позади павильона автобусной остановки, на которой часто простаивала, ожидая троллейбуса. По вечерам утомительный свет гноем заливал ее внутренность, застилал стоящим в ней глаза.

Они стояли в шаге от меня — за тонкой жестяной стенкой. Я не видела их, но узнала голоса. Это были веселые голоса людей, которые и не подозревали, что недалеко произошло странное — кто-то только что ударился о землю и стал волком. Следовало рассказать. Я вышла из своего укрытия. Фигуры при ближайшем рассмотрении показались неживыми — кукла в шарфе, кукла в длиннополном голубом пальто и шляпе, изломанная высокая кукла. Все посмотрели на меня. Фонарный софит. Сцена со скамеечкой. Эта пьеса окончена. Говорить было нечего.

Когда я шла обратно, «скорая» крутила верхним синим глазом, фарами выбеливала темноту. Вокруг стояло несколько человек с фонариками. Они в молчании освещали белые докторские спины, согнувшиеся над тем, что имело одно имя, а теперь вот имеет другое. Вот женщина плачет. Может, она его любила.

### Бог и пианино

Заглянула какая-то болезнь и осталась надолго, на месяц или даже полтора. Это было не страшно — просто все надолго стало смутным, колеблющимся. Виделась в утреннем мареве старая дача и дед с зеленой бородой — на подбородке у него вместо волос обильно, как в сырости у погреба, выросла трава мокрица. Чудилось дление, серая протяженность времени: будто бы из дачного поселка ведет внутрь леса веселая, заросшая ласковой травкой тропинка, манит ягодами, цветками, сквозь древесные кроны падает на нее золотистый свет. По ней можно идти, идти. И если только сам не захочешь, конец этой тропинки никогда и не наступит. (Плавала вдоль тропинки мама, говорила иногда: скоро выздоровеешь. И докторша с усиками и бархатными коричневыми глазами откуда-то наклонялась, улыбалась и говорила: теперь нужно время поправиться, набраться сил.) И будто шла я по этой тропинке уже тысячу лет. Дед с зеленой бородой остался за сотней поворотов, но на сердце спокойно: он стоит где-то там, в тени старого домика, и все знает.

Потом где-то гудело, трещало, будто ломалось. Будто ветер рвал листву, рвал белье, ломил сосны. И был только звук, который выравнивался в басовитое «у-у-у» и делался постоянен. Ни одной мысли, ни образа, ни картинки, ни бреда, ни зрения — только этот звук. Потом звучание схлопывалось и рождалось опять: дед, дача, бесконечная тропинка.

Но наконец она закончилась. Открылась пустая прохладная квартира, где бродит весенний ветер, влетающий и вылетающий в раскрытую форточку: «у-у-у...» Руки мои на одеяле — тонкие и легкие. Ноги, спущенные с кровати, с удивлением ощущают шершавинки пола, его добрый холод. Все не такое, как раньше. Все — сама легкость, вещи подчиняются дыханию.

Мамы, конечно, нет. Она, естественно, на работе. Комната ее пуста, на кровати — халатик в звездах, на подоконнике — увядшая комнатная растительность. Мама забывает ее поливать.

В зале молчаливая пыль кружит в лучах. Позабывтое пианино горбится и тускло поблескивает замочной скважиной. Мама, конечно, играет все реже и реже, все хуже и хуже. С некоторых пор пианино замкнули на ключ, ключ спустили в вазочку. Не открыть ли его? Взять ноты, выпустить в мир звук, нарушить ломкое, непрочное безмолвие? Очень странно чувствовать себя цыпленком в яйце, который должен расклевать свою скорлупу. Телом цыпленок еще бессилен, но природа больше не позволяет ему скрываться, требует быть в том, чему он предназначен.

Ваза, где хранился ключик от пианино, громко разбилась, нечаянно я смахнула ее рукой.

Ключик отомкнул крышку. Высыпались на белый свет веселые клавиши. Раньше они казались непримиримым оскалом черных и белых зубов, а теперь они высыпались, как горошины из стручка, — трогательно, изумленно, вот, мол, вспомнили про нас. А то раньше...

...А что было раньше? А ничего.

Гамма собрала несколько горошин в зеленый музыкальный стручок. Маленькая легкая пьеска, последняя, пожалуй, которая не затерялась в катакомбах памяти, запрыгала по комнате, восторжествовала. Хотя можно было бы и просто перебирать клавиши. Нужно было перешагнуть через себя, перестать отрицать, перестать бороться. Начать *принимать* — и стать легкой. Такой легкой, как беспорядочные звуки, как неловкие мои немзыкальные пальцы, как тренировочная пьеска — которая сама по себе не сообщает ни о чем, но служит очень многому, самому Будущему.

Застучало в стекло. Вошел в форточку первый дождь, который из-за своей слабости едва смог смочить землю. Но если вытянуть под него руку, то на ней запросто вырастет трава. Дождь поздоровался и ушел.

Накинув куртку, я осторожно спустилась по лестнице к нему. Лестница изменилась до неузнаваемости, все вокруг стало вдруг ясным, хотя и незнакомым. Словно бы все вещи встали на свое правильное, законное место.

Дорога к дому Марии была совсем другой дорогой — не той, привычной.

Дом красили. Две малярши стояли аккуратно под ее окнами и мазали снизу подоконник. Мариина форточка зияла. Вероятно, хозяйка дома. Что это я? Неужели собиралась к ней зайти? Нет, конечно. Или да? Да. Могла бы зайти. Малярши чему-то засмеялись, кинули кисти в лоток и стали обтирать руки тряпками. Я будто прилипла к месту, не могла отойти, стояла себе тихо. Малярши замолчали, посмотрели на меня, кинули в кусты свои грязные тряпки и тихо ушли.

Форточка захлопнула свой пустой рот. Шел ветер.

Никогда больше я не встречу Марии. Мария растаяла облаком — Мария уехала. И ни одной зацепки, ничего — кем была она, сколько лет ей, что она любила. Даже фамилия ее и та очень быстро вылиняет из памяти. Так и получилось, я забыла ее фамилию крепко и быстро, а когда спустя годы стала вспоминать, то обнаружила, что память говорит: а ты

и не знала никогда, никогда... Марии не было. В моей жизни ее не было никогда. Настоящей Марии я не знала.

А что было?

Была трогательная, кукольного образа девушка, уже не юная, но еще стоящая на нейтральной полосе, вместе с нами, подростками, сильно рискуя. Она должна была встать на другой стороне границы, где взрослые мастерят города и создают книги, рожают детей и учат детей. Но она, отставший созреть человек, трудно жила между юношеским возвышенным риском и взрослой томительной, щемящей плотностью. И вот жизнь накрыла ее огромной волной вдруг — полная, непредсказуемая, живая. Мария была хрупкой. Могла погибнуть. Но она была также сухой плавающей щепкой, и ее носило-носило да и вынесло на берег. Только вот на какой берег? Этого я так и не узнала. И правда ли Мария любила музыку?

...На улице воздух растянулся, как сдоба, стал не по-апрельски жарким, тесным. Да ведь близилось лето, подкрадывалось, через пару недель — раз! — и потянет сырые травы из-под земли, и мир весь застрекочет. Время замрет: оно налито в мир как бы до краев и не шевелится, чтобы не выплеснуться. Может быть, это райское время — особенный его ход, когда каждое существо осознает, что оно — вечно.

Скоро студенты, загрузившись в электричку, или в грузовики, или на теплоход, поедут на практику. Я все еще числилась в университете, но это, вероятно, ненадолго — до той поры, пока студентам не выдадут на руки зачетки. Мне не выдадут или выдадут пустую, на память. Они уедут, почти взрослые, пристроенные к делу, примученные, привинченные уже к своим чешуйчатым, к ракообразным, к ангидридам, бензолам и прочему, что составляет среду нашего обитания. А я останусь между пыльной рекой и небом в облачных струпьях. Как в детстве. И все начну сначала.

Нужно возвращаться.

В нашем подъезде слышится музыка, глухая, ватная. Мама играет. Она всегда ставит ногу на правую педаль и не снимает — ей нравится, что звуки задерживаются, создают туман, клубятся.

Вот, наверное, она удивилась, что пианино раскрыто. И вазочки нет. За вазочку будет ворчать. Испортит нам обоим настроение.

А на ступеньках — Сережа.

Он сказал, что Тася тоже приходила. Но они не проговорились маме, что я бросила университет. Тася поехала домой. А он вот, сидит. Потому что ему перед практикой надо сказать что-то важное. И вдруг спросил:

— А ты опять туда ходила?

— Ну, посмотрела... Дом красят.

Он, конечно же, имел в виду квартиру Марии, я поняла.

— Красиво?

— Да так, не очень.

Нелепый какой вопрос. Я рассмеялась. И Сережа засмеялся. И стало совсем легко на душе.

— Ну все, Сережа, я пошла сдаваться маме. Зачетки в универе скоро выдадут, она все равно узнает... Надо идти говорить. Еще и вазочку разбила.

— Боишься? Что будешь говорить?

...Что я буду говорить? Успокаивать буду. Мама раскритичится вот так: «Роза, учись! Или ты будешь пэтэушницей? Или хочешь мести дворы? А кому ты без образования будешь нужна?» Короче, «Роза, играй!», только немного другими словами. От удовольствия, что все мамини слова я знаю наперед, захотелось от души рассмеяться. Они больше не имели надо мной той великой власти, которой раньше приходилось сопротивляться, отыскивая внутри себя лазейки и воздвигая башни.

— Ну, что-нибудь... Ну, давай, ты говори свое важное, и я пойду.

Но Сережа вроде передумал.

— Давай потом. Это не срочно, можно и потом... А можно и не говорить. Неважно.

Он резко встал, взял меня за плечи, притянул к себе. А потом нажал кнопку звонка и быстро побежал вниз по ступенькам.

— Трцн-н-цн, — затрындел звонок.

Сережа уже хлопнул дверью, исчез уже в своей летней жизни. Надо будет зайти в университет, сказать в деканате, что я больше не приду. Пусть сожгут зачетку.

— Трнц-н-цн...

Кажется, в последнее время я жала какую-то не ту кнопку, требуя, чтоб меня впустили.

— Трнц-н-цн...

Может, звонок сделался тихий, и она не слышит? Ватная музыка правой педали выползала на лестничную клетку, просачиваясь, как дым.

Неровная мамина игра путала мысли. Невозможно было следить за ней — то она сбивалась, то не выдерживала ритм. Это обладало, впрочем, не раздражающим, а гипнотическим эффектом. Я уселась на коврик, прижавшись спиной ко входной двери. Хотелось теперь не смеяться, а плакать. Жаль, что Сережа ушел. Мы бы погуляли.

Слезы мои сегодня морские. Все просолилось внутри и снаружи. Соленое небо, соленые звезды. Их ловит с лодки рыбак в сапогах. Чешуйкой к небу прилипла луна. И рыбаку не страшно одному в лодке, посреди моря, между стихиями, для которых он — корм. Играй, Роза!

Кто нас любит и кто нас не любит, как нам узнать? Откуда ждать и как избежать предательства? И как принимать его — с открытым сердцем или выстроив заградительное острое сооружение? Боль нужно уметь принимать открытым сердцем, тогда она не убивает. Давай, Роза, играй!

— Иду! Иду! Роза, это ты? — глухо донеслось из-за двери. Услышала, идет.

— Это ты? — еще раз.

Что ей сказать? Я ли это? А может, уже и не я? Нет ничего менее правдивого, чем правда, и ничего более правдивого, чем выдумка.

И вокруг меня все задышало — лестницы, серость и бетон, зазвенели перила. Стены отражали этот звук, он прорастал в невидимую сеть волшебных растений. По растениям ко мне спускались странные и чудесные животные. Капала вода вокруг, шумел ветер. Это был восточный ветер, судя по запаху. Восточный ветер всегда приносит с собою весть о неведомом мире. Все оживает, все наполняется соками. Боженька выживает свои платки.

— Да, это я.

Алена РЫЧКОВА-ЗАКАБЛУКОВСКАЯ

**ЖАДЕИТ**

\* \* \*

позолоти мне плечи лето  
и голову позолоти  
пока мой свете безответный  
еще колышется в груди  
пока вздыхает колокольня  
и раздается благовест  
пока счастливо и небольно  
в краю непуганых невест  
живется мне  
вздымает реку  
Хамар-Дабана молоко  
ох трудно трудно человеку  
а мне легко

\* \* \*

да что это за приступы внезапные  
зеленая тоска по человеку  
как гулкое бутылочное дно  
которая случается тогда  
когда о нем не помышляешь вовсе  
среди бела дня и ночи белопенной  
в ладу с собой и с миром заодно  
зачем она приходит гасит лампы  
и заполняет комнаты пустые  
водой глубинной  
польского завода  
замытого байкальского стекла



зеленые ее мерцают слитки  
потусторонним светом там и тут  
и волны вносят камни жадеита  
на лоб и грудь и на руки кладут  
и на уста  
их замыкая камнем  
холодным  
словно память по нему

\* \* \*

Доколе мне вот так идти одной,  
Смотреть, как лес становится стеной,  
Из брошенного гребня прорастая.  
И что-то там становится рекой  
И как рукой уносит мой покой.  
Ты горький хлеб через плечо бросаешь —  
И горный выгибается хребёт.  
Черт ногу сломит, леший разберет,  
Какая рыба бьется на кукане?  
Какая утка стынет в польнье?  
Какого ляда ты все снишься мне  
И сквозь меня корнями прорастаешь?

\* \* \*

Ведь они не ходят к нам просто так.  
Ходят они сумеречно и по делу.  
Не гляди, мол, детонька, за овраг,  
Не твоя там ягода почернела,  
Напиталась влагою из глубин,  
Облетает, катится по оврагу.  
Помнишь, у Кузьминичны первый сын  
Пригубил по осени эту брагу?  
А теперь Кузьминична собралась.  
Для печи в овраге копает глину,  
Чтобы кирпичи поименно класть  
За Степана, Марью, сноху Полину.



\* \* \*

господи храни его для меня  
и не для меня все равно храни  
словно за щекой золотой пятак  
как зеницу ока как пуп земли  
если надо господи отмолю  
встану мачтой на его корабле  
лягу матицей на краю  
чтоб качать его колыбель  
под кормой волна под ногами твердь  
невечерний свет придорожный храм  
и откуда тянется этот след  
чтоб не знал не ведал не помнил сам

\* \* \*

так нет между нами посредников  
и гол остывающий сад  
лишь ангелы в белых передниках  
опавшей листвой шелестят  
здесь бродят заблудшие агнцы  
здесь всякий вошедший блажен  
последние выпали паданцы  
елейный сочат этилен  
источник с плавучим корабликом  
под парусом тонкой перкали  
нет выбора брошено яблоко  
и нам не избежать печали



**Дмитрий КОНОНОВ**

**ГЕРМАНИЯ**

*Р а с с к а з*

Проснувшись в десять утра, Катя решила не браться за работу, а вместо этого эмигрировать в Германию. Горячую воду опять отключили без предупреждения, и желание уехать заметно усилилось. Пашка не забыл оставить на кухне два куска вчерашней пиццы и чистую турку с засыпанным кофе, это немного примирило с действительностью, но все равно надо было валить. К тому же этот козлина не помыл посуду, а обещал. Третий день, кста. Катя поставила пиццу в микроволновку, кофе — на конфорку и вернулась в кровать. Однокомнатная квартира в панельном доме выстыла за ночь, отчего-то дуло по ногам, полосатые носочки с кошачьими мордами не помогли. Закутавшись в одеяло, Катя написала в твиттере: «Сегодня объявляю выходной, потому что бесит». Ради инстаграма пришлось изящно высунуть ногу из-под одеяла. Вот так, достаточно. Фильтры. «Ленивое утро, потому что могу».

В прихожей что-то прошелестело и покатилося, Катя выпрыгнула из постели и подошла к двери. По всему полу разбросаны коробки из-под пиццы и белые картонки воков. Это было великой пищевой пирамидой, сооружением которой Катя очень гордилась вчера. Теперь на руинах сидел кот Кумик с самым невинным видом. Он брезгливо обозревал дело лап своих и облизывался. Вначале черно-белую кошечку назвали женским японским именем Кумико, потом выяснилось, что это кот — важное пухлое существо, сочетавшее наглость с трусостью.

— Ты че натворил, идиотина?

— Мяу.

Кумик без труда увернулся от полетевшей в него картонки, по дуге пробежал в комнату и устроился на Пашкиной черной футболке.

— С-скотина, — произнесла Катя с любовью.

Она вернулась в кровать и снова взяла в руки телефон. Германия. Там классно. Картофельный салат со сметанным соусом, колбаски и кебаб, приготовленный третьим поколением турецких иммигрантов. Таким точно не отравишься — не то что наша шаурма. В какой-то старой песне на курсах немецкого она слышала, что вечерний воздух Берлина пахнет гашишем. Там лучшие клубы в Европе, как говорят. И можно целоваться



с подружкой прямо на улице, никто слова не скажет. Нет, Катя, конечно, не пробовала, но мало ли? Пашка сказал, что не стал бы ревновать... Потому что немцы все вежливые и толерантные, в какой-то статье она читала: страна победившего феминизма.

Шипение и треск — кофе вскипел и убежал. Громко матерясь, Катя побежала на кухню, сняла с конфорки испорченный напиток, ухнула турку под кран, выключила плиту, морщась от противного запаха. На черной поверхности дымилась мерзкая коричневая короста. Фу, ну что за день! Точно, валить надо. Сейчас еще горячо, тереть нет смысла. А, ладно, оставляю так, все равно Пашкина очередь убираться. Банка с надписью «Kaffee», словно насмехаясь над несчастной Катей, показала идеально чистое дно. О'кей, тем больше поводов выбраться из дома. Час на сборы. Твиттер: «Я стерженею». Инстаграм: селфи в зеркале. «Когда женщина хочет кофе, ее ничто не остановит». В углу бесприютно пылился велосипед, Катя некоторое время смотрела на него, но в итоге решила поехать на автобусе. Все равно дороги не приспособлены для велосипедистов, зато вот в Германии везде специальная разметка, еще и об экологии заботятся, не то что у нас. К тому же ехать на велике тупо лень.

Катя жила на улице Гашека. Как ни странно, небольшая окраинная улочка была известна горожанам, но лишь потому, что ее название крупными буквами маячило в грязных окнах общественного транспорта: конечная остановка. Путь до центра занимал примерно час, если повезет не зацепить ни одной пробки. Катя залезла в полупустую маршрутку и заткнула уши музыкой. По мере движения салон заполнялся вначале сидевшими, а потом и стоявшими пассажирами. На проспекте Маркса, хрипя звучной одышкой, с трудом вошла тучная пожилая женщина, немедленно обратившаяся к Кате:

— Уступи место инвалиду!

— Я за свое место заплатила. Вы не стали дожидаться транспорта со свободными местами — это ваши проблемы, — глядя в окно, Катя проговорила привычную фразу.

От возмущения женщина даже перестала задыхаться:

— Нет, вы посмотрите, а! — обвела взглядом салон в поисках поддержки, пассажиры посуровели в знак солидарности, но промолчали: всем было плевать. — Вы посмотрите, я инвалид, у меня удостоверение, и каждая шлендра мне будет хамить!

— Э, инвалид, за проезд рассчитываться будем, нет? — подал голос армянин за рулем.

— У меня льготное! — категорично заявила женщина и снова включила одышку.

— Льгот нет. Тридцать рублей или на выход, — водитель не злился и не хотел конфликта, ему было скучно и тошно.

— На «Голубом огоньке» остановите! — Катя не нашла в себе сил вынести неминуемый теперь скандал.



Маршрутка затормозила напротив «Бургер Кинга», дверь с третьей попытки отъехала в сторону, и Катя выпрыгнула на тротуар, оставив за спиной оскорбленный фальцет и медленно закипающие кавказские ноты. А в Германии весь транспорт полупустой, это точно, даже в час пик. Люди спокойно рассаживаются в уютных просторных автобусах и электричках, где им удобно. Никакой тряски в пути, потому что дороги идеально ровные, и в городах, и между. Катя никогда не была в Германии да и вообще за границей. От отца ей досталась фамилия Шнайдер и, по утверждению матери, невыносимый характер. Что ж, Шнайдер — это почти Линдемани. Необходимо и достаточно, чтобы иметь право на воссоединение с исторической родиной.

Все одно к одному: в любимой кофейне опять подорожали эклеры. Скрепя сердце Катя собирала мелочь, для чего пришлось вытряхнуть все содержимое сумочки. Помада упала на пол и покатилась, поймала ее только у соседнего столика. Парень с маленьким латте в руке ухмыльнулся, скривив угреватую физиономию. Помада, кстати, раскрошилась при падении. Поедая эклер, Катя мрачно размышляла, что в Германии все было бы не так: во-первых, там уже давно есть традиция «подвешенного кофе», и уж для нее-то точно нашелся бы стаканчик. Во-вторых, там бы ее помаду поднял с пола двухметровый статный красавец, правнук викинга, внук эсэсовца и сын главного инженера BMW, который, уж конечно, не рассмеялся бы, а предложил девушке помощь, сочувственно выслушал, а потом вежливо попросил номер телефона. Катя взглянула бы на него с интересом, бедный блондинчик, мне так жаль, но тебе ничего не светит: у меня есть Пашка. Так, стоп. Пашка же в России остался. А, ну тогда записывай, только учти, до шести я занята в новом стартапе. Долго рассказывать, но это мой дизайнерский прорыв. Катя дважды бросала университет, так и недоучилась и сейчас пробавлялась халтурами в фотопешке. Доев пирожное, она вспомнила, что не сфотографировала завтрак, так что социальные сети пришлось листать в плохом настроении. В твиттере ее никто не лайкнул, только под записью «Я стерженею» появился комментарий Дани. Он написал: «Янка?» Какая Янка, он о чем вообще? Это его нынешняя, что ли? И если так, зачем он это мне пишет? Приду-рок. Даня отправился в бан, ведь в аду есть специальный круг для людей, которые умничают в интернете.

Юная и прекрасная, Катя шагала по проспекту, и затянутые зеленым фасады отражались в темных очках. Знаете ли вы, что летом на улицах Гамбурга можно встретить панков с крашеными ирокезами? В шипастых косухах, в тяжелых блестящих ботинках. Приветливые уличные музыканты стритуют на вековой брусчатке, песни всех языков мира летят над Северным морем. Можно сесть на паром и отправиться в Копенгаген, там Христиания с добрыми и мудрыми хиппи. Не хочешь — тогда как насчет электрички до Парижа? Бельгия и Голландия, сладкие вафли и сладкая легальность. А на юге Бавария, там тот замок, который как в Дисней-

ленде. О, это земли свободных людей, никогда не знавших коммунизма. Посмотри, как идут по улицам твои соотечественники, прибитые к земле тяжелым взглядом двуглавой птицы. Зист, Катя, ду ден Эрлкёниг ништ? Эти стихи, из-под палки, сквозь слезы выученные в восьмом классе, всплыли вдруг в памяти. Немецкий язык звучал ярко и сочно, как никогда, он стекал с Катиных губ медом поэзии, из крови сваренным премудрыми гномами. Густой, золотистый, как волосы Лорелей, он влек и манил в чудесную страну, где все богаты настолько, чтобы позволить себе роскошь дружелюбия.

Эклер не прижился. Или молоко в кофе подлили не самое свежее. Полыхая стыдом и негодованием, Катя нырнула в ближайшее кафе. Стараясь не смотреть по сторонам, просеменила в туалет, прижимая сумочку к животу. Уборщица в безразмерной красной футболке посмотрела на нее с презрением.

Несколько лет Катя ходила на курсы немецкого языка, должно быть, лучшие в городе. Треть слушателей там были такими же, как она, — детьми, которых заставили родители. Остальные учащиеся имели единственную цель: уехать в Германию. Немецкий язык и все, что с ним связано, вызывало у них восторг, ассоциировалось со скорым благополучием в цивилизованной стране порядка и пунктуальности. Работавшие на курсах немки — по большей части полубезумные авантюристки — громко гоготали во время чайных пауз, обнажая крупные лошадиные зубы. Они одевались в мешковатые худи, носили пирсинг и не пользовались косметикой, к вящему неудовольствию и зависти местных преподавателей — стареющих выпускниц педагогического института, отчаянно пытавшихся оживить свою тускнеющую внешность шейными платками. Самые разные люди пили там чай из термосов с молоком и печеньем. Амбициозные студенты-медики, грезившие ординатурой в немецких клиниках и спокойной сытой жизнью дипломированного семейного доктора где-нибудь в Вестфалии. Осатаневшие от лживых алкоголиков матери-одиночки: такие занимались с особым упорством, с ненавистью даже, каждым грамматическим упражнением нанося хлесткий удар по ухмыляющейся синей роже пропавшего годы назад супруга. Старушки, дети настоящих ссыльных немцев, нередко плакали и глотали корвалол, услышав особенно лиричную песню о родине, которой не знали. Кениги, Майеры, Эстерлейны, Штайны, Букбиндеры — такие разные и такие похожие, объединенные надеждой на побег в лучшую жизнь.

Приведя себя в порядок, Катя вновь вышла на проспект, перебежала дорогу под мигающим зеленым человечком и свернула во двор. В глубине помещения раздался приятный звон, когда она привычным жестом толкнула стеклянную дверь с надписью: «Тату-студия Black Crow».

Лия, как всегда в это время, скучала за стойкой, разглядывая эскизы на экране ноутбука. Вообще-то по паспорту она Лида, но все знают, что русские имена — отстой. Лида должна быть сорокалетняя, измочаленная



тяжелой жизнью, в мужском пальто и с тряпичной сумкой в руке. Лида работает в офисе с девяти до шести и давно уже не знает, зачем живет на свете. Другое дело — Лия. Миниатюрная, загорелая, в татуировках если не вся, то явно стремится к этому. И, поверьте, не создал боженька таких мест, которые Лия еще не прокалывала. Катя с завистью отметила, что с их последней встречи Лия успела выкрасить себе массивный колышущийся вихор в цвет розовой жвачки. Лучшая подруга.

— Привет-привет, — Лия подбежала к Кате и обняла ее.

— Ну что, как промискуитет искусств?

— Да ну, не спрашивай даже, Кэт.

Лия и Кэт — это почти как Бонни и Клайд. Может, рвануть в Германию вместе?

— А что такое? — Катя угнездилась на высоком барном стуле, который полгода назад откуда-то притащил сюда вусмерть пьяный клиент.

— Да работы нет почти что. У нас с Максом, прикинь, один кайф — друг друга совершенствовать.

— А, так вы снова вместе?

— Ну да. Он, конечно, мудак тот еще, но где я другого такого отморозка найду? К тому же аренду платить надо, здесь и за хату.

— Тож верно.

Некоторое время они молчали, наблюдая, как на экране сменяются стильные черно-белые эскизы.

— Какие-то обсосы приходят, — неожиданно пожаловалась Лия. — Во вторник явился такой, типа он до фига крутой байкер, со шлемом в руке. Мне, говорит, сказали, что у вас иглы с сифилисом. Ты прикинь!

— Лол\*, — без особого энтузиазма отозвалась Катя. — А ты что?

— А меня тогда не было, тут Макс сидел. Ты его знаешь: он объяснил этому чудиле, как и от кого байкеры получают сифилис. Короче, подрались. Макс ему вроде бы нос сломал. Тот грозился заяву накатать. Но с тех пор все тихо.

— Офигеть, — протянула Катя.

В Германии байкеры добродушные и спокойные, потому что уверены в себе и никого не боятся. Ревущими стаями несутся они по автобанам, сияя хромом и полировкой, словно молодые боги Асгарда. Бег могучих коней своих укрощают они у харчевни, чьи окна сияют в ночи, привечая странников. Радужный хозяин, повинуясь зычному окрику, преподносит им расписные глиняные и стальные высокие кружки с добрым пивом, безалкогольным, потому что это только у нас бухими водят, а Германия — культурная страна, там закон уважают.

— Просто, ты понимаешь, у нас почти нереально делать нормальный тату-бизнес. Не в этом городе. Тут либо быдло, либо жмотье. Кто при

\* От LOL — laughed out loud (громко рассмеялся). Сокращение, принятое в интернет-общении, которое также используется и в устной речи.



бабках, хочет себе демона и монашку на всю грудь, а мне это на фиг не надо. А кто клевый и хочет красиво, у того денег нет. Вот как у тебя.

Катя печально улыбнулась и кивнула. Денег не было. За последнее время она несколько раз меняла работу, но нигде не задерживалась надолго. В магазине женской одежды ее выжила сука-сменщица. В ресторане быстрого питания накрыла аллергия на запах горелого масла. В кол-центре она даже не стала заканчивать обучение — пусть другие себя гробят. Почему так? Почему мир несправедлив и даже жесток к нестандартному творческому человеку? Редкие заказы — смешно, копейки. Катя считала себя прекрасным художником и дизайнером, она окончательно убедилась в правильности принятого когда-то решения — бросить институт. Высшее образование только уродует талант, подгоняя креативных, инакомыслящих под одну гребенку.

То ли дело в Германии. Европейская система, лучшая в мире, позволяет тебе самому выбирать предметы для изучения. Ты никому ничего не должен. Немецкие университеты — старинные замки на зеленых лугах. Обширные лекционные аудитории, дышащие стеклом и металлом, могучее плотное облако беспроводного интернета связывает жадные до знаний умы всего просвещенного мира. Библиотеки как в фэнтезийных фильмах, нагромождения фолиантов на полках мореного дуба. Комфортабельные кампусы, где так здорово делить комнату с умными славными сверстниками. А традиции, а студенческие братства, а сидение на траве в послеобеденный час!

— Ладно, я пошла, — Катя приобняла подругу на прощание и слезла с табурета.

— Ну, давай, — Лия снова листала эскизы.

— Слушай, — на пороге Катя обернулась. — Ты не думала уехать в Германию?

Лия забавно хрюкнула, усмехнувшись:

— Ты че, мать? Я ж гражданка Казахстана. Мне б вначале официально в Россию свалить, уже большое достижение.

— А. Ну да. Ладно, увидимся.

На Театральной площади Катя зашла в супермаркет за сигаретами.

— «Кент» с кнопкой, пожалуйста.

— Паспорт, — проговорила кассирша, взглянув исподлобья.

Значит, хорошо выгляжу. Кстати, а где паспорт? Катя яростно рылась в сумочке под раздраженные вздохи покупателей в очереди. Нет его. Она вышла из магазина и остановилась, задумавшись. В кафе. В кафе сумку вытряхивала! Быстрым шагом, иногда переходя на бег, Катя устремилась в обратный путь.

В кофейне сменился кассир, теперь это был высокий симпатичный блондин.

— Вы тут паспорт не находили?

Блондин улыбнулся радостно:

— А, ну вот и вы, Шнайдер Екатерина Дмитриевна, — он протянул ей паспорт.

— Че, обязательно было каждую страницу обнюхать?

Вот козлина, небось и возраст посмотрел, и адрес.

— Слушайте, я же должен был как-то понять, чей это документ, — попытался оправдаться парень. — Хотите, я вас кофе угощу в знак примирения?

— Да пошел ты, — холодно ответила Катя.

Купив сигареты со второй попытки, она прошла по пешеходной улице Валиханова и остановилась под стеклянной аркой, чтобы покурить. Накрапывал дождь. Перед ней расстилалась серо-зеленая река, по набережной сновали редкие прохожие с зонтиками. Катя вдыхала опротивевший дым и все смотрела на реку, потому что больше тут смотреть было не на что. Жить здесь невозможно. Надо валить.

Она вернулась домой под вечер.

— Ужин на столе, — вместо приветствия крикнул Пашка, не отвлекаясь от компьютерной игры.

Катя с недовольным видом макала роллы в соевый соус. Ему совсем на меня плевать. Час на социальные сети — и она забылась недовольным, обиженным сном под щелчки клавиатуры и тихие проклятия. Последней мыслью было: какая, к чертям, Германия? там же наших полно!

Проснувшись в десять утра, Катя решила не браться за работу, а вместо этого эмигрировать в Австралию.



Юрий БЕЛИЧЕНКО

## ПОЛЫНЬ НА ВЕТРУ

С Юрием Николаевичем Беличенко я познакомился осенью 1978 г. на проходившем в Дубултах Третьем Всесармейском совещании молодых писателей армии и флота. Я прибыл туда семинаристом от внутренних войск МВД СССР, а Юрий Николаевич — как корреспондент главной армейской газеты «Красная звезда».

На плечах Беличенко посверкивали майорские звезды, два институтских ромбика на груди говорили о многом. Но вот познакомились, и — никакой дистанции; оказалось, что в наших судьбах много общего. Он не по своей воле попал в армию: после окончания Харьковского политеха, в разгар Карибского кризиса, был призван обслуживать ракетные установки, расположенные в Прибалтике. Затем экстерном окончил политехникуму в Донецке, получил диплом Литературного института...

Я привез с Рижского взморья его книжку «Время ясеня», еще тепленькую, только-только вышедшую в «Совписе». Книжечка небольшая, на два с половиной печатных листа, но какие стихи! Они сразу дали понять, что познакомился я не просто с человеком в погонах, пишущим о солдатском ремесле, а с настоящим поэтом. И в дальнейшем я только утверждался в этом мнении.

Книги у него выходили не часто, но с каждым новым сборником, с каждой публикацией в журнальной периодике он прибавлял. И не его вина, а наша общая беда, что все это, как правило, оставалось незамеченным. Беличенко никогда не входил ни в какие литературные группировки. Эпатажа, саморекламы он принципиально избегал.

В 1986 г. выпала редкая удача: после семилетнего перерыва были изданы сразу две его книги — «Полынь зацвела» и «На гончарном круге». И опять никакой достойной реакции в прессе. А ведь в обеих содержались замечательные стихи, которые украшают ныне три антологии русской поэзии конца XX — начала XXI века. Достаточно назвать такие шедевры, как «Я помню первый год от сотворенья мира...», «По выходным, когда его просили...», «В июне мир припоминал отца...».



К пятидесятилетию поэта в родном «Воениздате» наконец-то увидел свет довольно объемный томик уже не в бумажной обложке, а в переплете — «Зов чести». На нем стояла пока еще твердая советская цена — один рубль.

Заехал к нему в «Красную звезду» поздравить. Пошутил: «Ну вот ты и вышел в рублевые поэты. Не то что мы — копеечные...» Но Юра лишь грустно улыбнулся и подписал: «Дорогому Жене Артюхову — соратнику по перу и погонам».

Девяностые годы для всех нас были трудными. Страна летела под откос, ломались человеческие судьбы. К тому времени я перешел в войсковой журнал, вышел в полковники. Нас, сорокалетних, еще как-то оберегали, тех же, кто перешагнул полувековой рубеж, буквально изгоняли из армейских рядов, невзирая на чины, ордена и прочие заслуги. Угнетало безденежье и особенно — невозможность как-то повлиять на происходящее вокруг. «Человеку, волею случая ставшему свидетелем распада великой державы, которую все мы называли Родиной, никуда не деться от чувства вины» — это слова полковника Беличенко.

Юра заметно сдал. Все чаще у него стали звучать нотки, свидетельствующие о нездоровье, предчувствии близкого ухода:

Еще б сказал — но кто меня услышит?  
Еще бы жил — но жизнь уже прошла...

«Арбу», книгу яркую, запоминающуюся, он успел поддержать в руках. «Прощеное воскресенье» выходило уже без него...

**Евгений АРТЮХОВ**

\* \* \*

Я родился на берегу войны,  
где берега иные не видны.  
Меня носили на руках солдаты,  
и руки их качались, как челны...

Я помню день: окончилась война.  
Была невероятная весна.  
В краю, где неба больше, чем земли,  
обугленные яблони цвели.

Я переплыл те пять великих лет.  
Жестоких лет. Неповторимых лет.  
Я был неразговорчив и несмел  
и людям улыбаться не умел.



Но научился радоваться дню,  
разжечь огонь и доверять огню,  
варить себе обед из лебеды  
и строить дом из глины и воды.

Кем мог я стать в эпоху тишины?  
Не знаю сам — спросите у войны.

\* \* \*

В июне мир припоминал отца.  
Стояла сушь по всей степи великой.  
Орех темнел, как туча, у крыльца,  
и молодостью пахла земляника.

Не утомляя темного крыла,  
степная птица в воздухе парила.  
Она меня утешить не могла,  
но про него с ветрами говорила.

Я вслушивался в этот разговор.  
В неравновесье сумрака и света  
мне чудилось, что заполняют двор  
знакомые отцовские приметы.

Листвою оперялся черенок.  
Шуршали и покашливали тени.  
Непоеный крыжовник, как щенок,  
приятельски покусывал колени.

Поскрипывали грабли в борозде.  
Играл сверчок, одной струны касаясь.  
И поверяли яблони звезде  
грядущих яблок маленькую завязь.

Он рядом был. Природа берегла  
все, чем его когда-то одарила.  
Она меня утешить не могла,  
но за него со мною говорила.

О праве жить. О смертном рубеже  
под гулками весенними громами.  
О юности, которой нет уже.  
О подвигах. О доблести... О маме.

\* \* \*

...Эта бычья дорога в осоке жила.  
И вослед побежала за мною разлука  
мимо каменных баб у излучки села,  
мимо дамб с булавами цветущего лука.

И пока я свои отражения нес  
по копытам, по лужам, промятым машиной, —  
сквозь плавучее облако хутор пророс,  
опирался о время горошек мышиний.

Мой случайный попутчик, мужик деловой,  
был сердит, что в колхозе подводы не дали.  
Над разлукой моей, над его головой  
высоко над землей космонавты летали.

Как они меня помнили, руки твои!  
Я молчал. А попутчик, шагающий справа, —  
говорил. И прекрасное тело змеи  
ускользало с дороги в бесшумные травы.

Шли мы долго. Приникшая к дамбе вода  
пахла нефтью и яблочной гнильностью ила.  
Но уже закипала вдали темнота,  
словно время нам бездны свои отворило.

Я молчал. А попутчик замыслил побег.  
Он со мной попрощался и канул в тумане —  
через дамбу, куда-нибудь в каменный век,  
рядом с каменной бабой стоять на кургане.

Нам нельзя уклоняться от гроз и разлук —  
нам покой не предписан уставом военным.  
Приближается тьма. Обостряется слух.  
Стала колкою кровь, ускоряясь по венам.

Собирая слюну на тугом языке,  
притаилась лягушка, на звезды глаза.  
И скитался по луже на гнущем сучке  
муравей, повторяющий путь Одиссея.

И паук оснащал паутиной сапог.  
И не мог я присесть на валун придорожный —  
подо мною дышал теплотою творожной  
возомнивший себя человечеством мох...



Как грибные дожди повинуются летним громам,  
так и я иногда, словно чью-то вину искупая,  
ухожу побродить по старинным можайским холмам,  
по нагретой пыли, как по мягкому небу, ступая.

Мимо хлебных полков, что еще не познали серпа,  
и пахучей ромашки, которая плугом забыта.  
Мимо поля, где спит всероссийская наша судьба,  
что враньем заросла и в дремучий суглинок зарыта.

Мимо влажного лба повидавшего жизнь валуна.  
Мимо ржавого хлама, который уже не сгодился, —  
то ли это водитель машину разгрохал спяна,  
то ли спутник усталый с советского неба скатился.

Мимо старой конюшни, забывшей своих лошадей,  
где торчит репродуктор, как ржавая шишка на теле,  
где живут голоса политических жалких вождей,  
что бесстыдством своим переплюнули даже бордели.

Мимо сельских домов, мимо бревен в живучей смоле.  
Мимо соток семейных, старательно забранных в следи,  
где великий народ преклонен головою к земле  
и не может, как Вий, приподнять отягченные веки.

Мимо страха, что вновь побежит по России беда  
и по этим холмам загуляют кровавые свадьбы.  
Мимо старого парка у еле живого пруда —  
уцелевших от века обломков дворянской усадьбы.

Я не пил здесь медов и кузин не заманивал в сад,  
ностальгических чар на душе моей нет и в помине, —  
но, как горький укус, побежит по губам аромат  
почему-то лишь здесь у дороги растущей полыни.

Здесь читали Вольтера и знали забавы пера,  
на воскресный пикник собирались можайские франты,  
наезжали в Париж, помышляя о Гранд Опера,  
и не знали того, что уедут туда в эмигранты.

Что, пока распевают по старым садам соловьи  
и российские мальчики в прусской земле остаются,  
промотает дворянство державу и бармы свои,  
оскорбляя царей и снимая трусы с революций.



Что опасное свойство по-русски дурить от ума.  
 Что война и вина в этом веке читаются слитно.  
 А в Париже — сума. А в родимой земле — Кольма.  
 А в Стамбуле — жара, и за волнами Крыма не видно.

Ах, дорога, дорога! Тебе уже тысяча лет!  
 Что ни день — то плетень, что ни власть — то обман и отрава.  
 Я бы мог торговать — да лекарства от совести нет.  
 Я бы мог и стрелять — да свои же и слева, и справа!

Упаси меня, Боже, от легкой хулы и хвалы,  
 от словесного блуда и новой кровавой потехи!  
 Я — из этого праха, из этой травы и золы  
 дозволеньем Твоим продолжаю свой путь в человеки.

До погоста дойти остается всего ничего.  
 Дай же, Господи, мне на остатнем пути не упасти.  
 Осени меня светом родного лица Твоего  
 и веселую душу мою соблюди от напасти!

\* \* \*

Похудели сугробы от южных ветров,  
 но метели всю ночь продолжают бои,  
 и глядят из истории древних веков  
 на меня финикийские очи твои.

Что вокруг тебя, милая, сад или ад?  
 И любовь эта — в радость тебе иль в напасть?  
 Я украл бы тебя по дороге в Багдад,  
 только как мне на эту дорогу попасть?

Где мне сваи вбивать, чтобы строить мосты?  
 Как течение времени мне повернуть,  
 чтобы ветку пространства, где светишься ты,  
 словно ветку черешни, к себе притянуть?

Я твои клинописные письма читал.  
 Но пока ты любила, пока ты ждала —  
 по зеленой равнине песок проскакал,  
 на развалинах дома полынь зацвела.

И вращалось тяжелое тело Земли.  
 И валили снега — хоть Кавказ пеленай.

И качались Весы. И народы ползли,  
на подошвах своих оставляя Синай.

И однажды в метро, среди глаз, среди спин,  
эта странная память, качнув бытиё,  
донесла до меня из каких-то глубин  
по течению лиц отраженье твое.

И как будто с тобой я гулял до утра.  
А когда я вернулся домой поутру —  
я увидел пустыню на месте двора  
и польнь, что уже зацвела на ветру...

\* \* \*

В малине пел сверчок. Заря едва светила.  
Я отворил окно в сады и зеленыя.  
Еще босая ночь по комнате бродила,  
и комната еще не ведала меня.

А я уже любил повадки и привычки  
простых ее вещей: архаику печи,  
где, пламя затаив, в обойме дремлют спички  
и времени замес сцепляет кирпичи.

Смотрел, как таракан, полуночный разбойник,  
на завтрак своякам смородину волок  
и каплями клевал колючий рукомоёйник  
проснувшийся в тазу туманный потолок...

О, древняя страна свеченья и летанья,  
где может мыслить звук и чувствовать предмет,  
где травы и дома одарены гортанью.  
Туда — одна любовь, иной дороги нет.

Благословляю дом, где все звучит, и дышит,  
и чувствует, и спит. Где стенам горячо,  
когда на них рассвет судьбой и тенью пишет  
прильнувшее ко мне горячее плечо.

Где молодо в крови. Где признаваться страшно,  
что молодо в крови. Где, век не торопя,  
так боязно будить, пугая день вчерашний,  
и комнату, и сон, и сердце, и тебя...

Евгений ГОНЧАРОВ

## МАГАЗИН КИТАЙСКОГО ЧАЯ, ИЛИ ПРОПАВШАЯ ГУАНЬИНЬ

*Р а с с к а з*

### Китайский Федя

Эта история началась в мае 2011 года. Тогда я был ведущим корреспондентом одной из газет Благовещенска. То было начало удушения независимости российской печати. Под административный пресс попала и наша газета, выступавшая с разоблачительными статьями, персонажами которых становились местные чиновники и бизнесмены.

После очередного втыка нашему главному редактору он, в свою очередь, закатил истерику мне. В конце того же дня я был уволен по собственному желанию.

Как говорят в русском народе: «Беда не приходит одна». Через неделю я развелся с женой, и после размена нашей квартиры оказался в комнате общежития коридорного типа.

Впрочем, есть еще одна народная мудрость: «Все, что ни делается, — к лучшему».

Подключив интернет, я увидел, что уже три дня кто-то настойчиво стучится ко мне по скайпу — это был какой-то китаец с русским именем Федя.

Я добавил его в свои контакты, и мы познакомились поближе. Феде, как и мне, было под сорок лет, он жил в городе Далянь и был хозяином туристической компании «Золотой песок», а также «Магазина китайского чая». Федя искал преподавателя русского языка. В свое время я окончил филологический факультет и получил квалификацию преподавателя русского языка и литературы. Я переслал Феде сканы университетского диплома и трудовой книжки.

При следующем разговоре в скайпе он предложил: «Приезжай в Далянь — подучишь наших девушек из магазина русскому языку».

В Благовещенске меня ничто не держало, и я сразу согласился. На следующий день пошел оформлять визу в Китай и заказывать железнодорожные билеты от приграничного Хэйхэ до Даляня.

## Прибытие в Далянь

На перрон железнодорожного вокзала Даляня я ступил ранним утром. Солнце еще не поднялось, но уже было душно — июльский день обещал быть жарким. Среди встречающих я увидел китайянку лет тридцати, она держала лист бумаги, на котором фломастером было крупно написано мое имя: «Гоша». Поскольку я был единственным европейцем, сошедшим с этого поезда, меня она узнала сразу.

— Ты — Гоша?

— Да.

— А я — Люся. Федя послал меня встретить тебя.

— Мы поедем в его офис?

— Нет, мы поедем в «Магазин китайского чая», в котором я — директор.

Так я познакомился с Люсей. Мы сели в такси и поехали.

По пути Люся прояснила ситуацию. Федя уехал в командировку на тропический остров Хайнань — открывать филиал своей компании. Он распорядился, не дожидаясь его возвращения, оформить меня продавцом в магазине.

Городские улицы были свежи от недавно проехавших поливальных машин, газоны радовали взор декоративным кустарником и распустившимися бутонами роз, вдоль дорог стояли ровные ряды платанов с большими резными листьями. Между высокими каменистыми сопками то и дело проглядывало лазурное море.

Я понял, что попал в земной рай или в его преддверие, что в принципе одно и то же.

Такси остановилось возле одноэтажного здания, по всему фасаду которого была вывеска на русском языке: «Магазин китайского чая».

В помещении нас уже ждали три девушки — кассирша и две продавщицы.

Я мягко пожал руки поочередно всем, представившись: «Гоша», услышав в ответ: «Марина», «Катя», «Оксана». Китайцы, работающие с русскими клиентами, для удобства общения выбирают себе русские имена.

Я подумал, что знакомство с коллективом магазина состоялось. Однако Люся спросила у девушек:

— А Саша когда придет?

— Мы не знаем, — ответили те.

— Кто такой Саша?

— Наш продавец, которого ты заменишь.

— Он китаец?

— Да.

Первое, что мне предстояло в этот день, — ознакомиться с магазином.

— Мы продаем чай русским, наша задача — продать им как можно больше и дороже. Ты тоже русский — это не мешает тебе в работе? — спросила меня Люся.

Я ответил, что, по моему мнению, всякая торговля есть искусство обобрать покупателя до нитки, но так, чтобы тот ушел довольным.





Если этого не сделаю я, то мой конкурент из другого магазина сделает это. Психология русского человека такова, что на отдыхе он готов потратиться до последнего гроша, и моя задача — всячески помочь ему в этом.

По выражению лица моей директорши я понял, что такой ответ ей понравился.

«Магазин китайского чая» был разделен на три отдела, оборудованных одинаковыми наборами чайного инвентаря и образцами китайского чая. Три кабинета были необходимы, как мне объяснили, для приема одновременно трех групп гостей, что часто случается в пик летнего туристического сезона.

Саша появился с опозданием на полтора часа, что по китайским меркам было грубейшим нарушением дисциплины. Саша был младшим братом Фединой жены и плевал на трудовой распорядок. Но увольнялся он даже не из-за частых конфликтов с директоршей.

Последним его «подвигом», переполнившим чашу сестринского терпения, был громкий скандал — Саша обматерил по-русски туристку из Владивостока. По справедливости, та напросилась на грубость сама. Она стала отговаривать туристов своей группы от покупки чая в Сашинном отделе, говоря им, что знает в Даляне чайный магазин с более низкими ценами. Оскорбленная россиянка пожаловалась в комитет по туризму города Даляня. Такое поведение продавца грозило магазину большим штрафом, а при повторном нарушении — и закрытием.

Со мной Саша не разговаривал — ему было не до меня, это был его последний рабочий день.

## Искусство впаривания чая

«Магазин китайского чая» открывался в девять часов.

Девушки жили в большой комнате при магазине, оборудованной под общежитие. Тут же, в клетушке возле туалета и душевой, они устраивали постирушки, еще в одной каморке — готовили себе пищу.

Семейная директорша жила в своей квартире и приезжала на работу городским автобусом.

Рабочий день у девушек начинался на час раньше, чем у меня и Люси. С утра они, перекусив, делали влажную уборку магазина.

Понимая, что я не готов к самостоятельной работе, Люся на неделю взяла надо мной шефство. Как только в чайном отделе появлялись туристы, она приходила и продавала им чай. Я же тихо сидел в сторонке и перенимал опыт.

В новую профессию продавца китайского чая я въехал легко — спасибо за науку Люсе.

Встречая группу туристов, надо сразу определить состояние здоровья каждого из них. А достигается это методом провокации. Например, беру я в руку пачку зеленого чая «Колодец дракона» и говорю:

- Это — чай компьютерщиков.
- Почему? — спрашивают сразу несколько туристов.
- Сохраняет зрение при долгом бдении у компьютера.





И сразу покупают. Молодые — себе, кто в возрасте — детям и внукам.

Или рассказываю китайскую легенду о чае «Большой красный халат»:

— Один император взял в наложницы молодую и красивую девушку. Но не мог сблизиться с ней в постели из-за того, что она непрерывно пускала ветры и благоухала, как протухшее яйцо.

Все смеются, а я продолжаю:

— Император объявил, что щедро наградит того, кто излечит наложницу от метеоризма. И вот пришел монах из горного буддийского монастыря и принес пакетик какого-то чая. Девушка как только выпила этого чайку, так сразу и поправилась. А император наконец-то исполнил свое заветное желание. На следующее утро император пожаловал монаха красным халатом со своего плеча. А монаху ходить в таком халате не положено по монастырскому уставу. И пошел он к чайному кусту, с которого собрал те листочки, и набросил на него большой красный халат, сказав при этом: «Это твоя награда».

— А правда этот чай от метеоризма помогает? — спрашивают туристы.

— Не только, — отвечаю я. — В целом нормализует пищеварение.

И опять, глядишь, человека три купили чай.

У меня есть байка и соответствующий чай от любого заболевания. Надо только быть повнимательней. Синие губы говорят о сердечной недостаточности. Землисто-желтоватый цвет лица — признаки больной печени. И так далее.

Правда, я всегда честно предупреждаю, что продавец — не врач, а чай — не лекарство.

И как же не рассказать им о лучшем средстве для похудения — чае пуэр! Похудеть желают не только люди в годах, страдающие ожирением, но и молоденькие девушки, которым не помешало бы и прибавить несколько килограммов.

Поскольку чай пуэр — самый ходовой товар, я специально под него сочинил такую историю, якобы почерпнутую мной в китайском интернете:

— На дальней окраине Гуанчжоу в четырехэтажном доме дэнсяопиновской постройки доживал свой век одинокий старик.

Сердобольные соседи по очереди кормили дедушку и ухаживали за ним.

Настал день, когда старик помер. Поскольку у него не было никого из родных, он завещал все свое имущество соседям. Соседи, вскладчину похоронив дедушку и справив по нему поминки, посмотрели, что осталось им от него в наследство. Когда они за ненадобностью выбросили всю старую рухлядь, то нашли брикет чая пуэр, на котором была оттиснута цифра 1949. Но это был не год основания КНР, а год производства чая — самого старого пуэра в Китае.

Сначала соседи решили продать этот пуэр на аукционе, но цена была так высока, что не нашлось столь богатого покупателя. Тогда аукционист предложил разделить брикет на восемь частей и продать их по отдельности.

Одну дольку соседи подарили для исследований Академии чая, а семь оставшихся ушли с молотка в частные коллекции. Как и обещал аукционист, сумма от семи проданных по отдельности кусочков превысила первоначальную цену всего брикета.

Поделив эти деньги, соседи купили по новой просторной квартире в историческом центре Гуанчжоу и кое-что еще отложили на черный день.

А счастливые обладатели кусочков самого старого в мире пуэра даже не поняли, на какие муки они обрекли себя за свои же деньги.

И тут я делаю паузу.

— На какие муки? — обязательно спрашивает кто-то.

— Они будут постоянно испытывать желание заварить и попробовать этот чай. Но цена щепотки уникального пуэра слишком высока, чтобы коллекционеры могли позволить себе такое чаепитие.

Продажа пуэра в нашем магазине пошла круто вверх. Да и других сортов чая стало продаваться больше.

Говорят, что мою завиральную байку о старом пуэре до сих пор рассказывают в чайных магазинах Даляня.

А через три месяца работы в «Магазине китайского чая» настал мой звездный час. Чэнь Дун — хозяин самой большой туристической компании Даляня — привел в наш магазин своего вип-туриста. Это означало, что иностранец очень богатый и хозяин туркомпании хочет показать ему свое уважение.

— Гость желает купить китайский чай, — сказал господин Чэнь.

— Я сама расскажу ему про китайский чай и проведу дегустацию, — засуетилась Люся в предчувствии большой покупки.

— Нет, пусть это сделает ваш русский продавец, — ответил самый авторитетный туристический босс Даляня.

Гость господина Чэня представился как Михалыч.

— Это фамилия? — спросил я.

— Нет, отчество. Меня так все на Колыме зовут.

Михалыч был хозяином золотых приисков. Судя по наколкам, украсившим его запястья, немало лет он провел в неволе. А сейчас — миллиардер, этакий русский граф Монте-Кристо.

Прослушав мою лекцию и продегустировав чай, Михалыч набрал по корзинке жасминного, молочного и женьшеневого чая.

— Это моим девкам, — сказал он. — А покрепче чай у тебя есть?

— Какой именно?

— Помнишь, в Советском Союзе был кирпичный?

— Есть такой.

— Завари чифирку, — попросил колымский граф.

Я искрошил в стальной чайник полпачки кирпичного чая и три раза вскипятил его. Поверх черной жидкости образовалась серая пена. Я разлил чифир через ситечко по большим чашкам.

— А барабульки есть? — спросил золотопромышленник.

— Что это такое? — не понял я.

— Карамельки, по-вашему.

— Спрошу у наших девушек.

Я принес блюдце с кусочками леденцового сахара и поставил на столик.

Бывший сиделец подул на чифир и отпил глоток. Потом положил в рот леденец и стал кайфовать, прихлебывая чифир. Я последовал его примеру. А господин Чэнь отказался от дегустации, сославшись на большое сердце.

— Сколько у тебя этого чая всего? — спросил колымский Монте-Кристо.

— Килограммов двадцать.

— Это мало.

— А сколько надо?

— Чтобы не мелочиться, тонну.

— Хорошо, я закажу на складе.

— Пришлешь по этому адресу, — он подал мне листок, вырванный из блокнота.

— А зачем вам так много кирпичного чая? — поинтересовался я.

— У меня на приисках каждый второй уже сидел, а каждый первый скоро сядет, — пошутил Михальч. — Они без чифира работать не могут.

После того случая гиды стали приводить в наш магазин группы туристов специально на меня.

### Наш «Варяг»

Женщины с юга Ляодунского полуострова — это чудо! В них намешаны китайские, корейские и японские гены. У Люси белая кожа, большие миндалевидные глаза, аккуратный нос, пухлые губы и густые волнистые волосы. В ее стройной фигуре есть все полушария европейской женщины. Возможно, это русский вклад в ляодунский геном, сделанный во времена Русско-японской, Второй мировой и корейской войн.

Да и я бы потрянул стариной, представься случай.

Люся вдова — ее муж погиб при взрыве на химическом комбинате. Она воспитывает сына-школьника, ухаживает за старым свекром, который живет с ними. А родители Люси живут в приморской деревне на берегу Ляодунского залива.

Мне Люся понравилась с первого взгляда. И я ей, как мне кажется, тоже был интересен.

Однажды, когда мы с Люсей после работы шли вечерней улицей к автобусной остановке, я взял ее под руку, и она не отшатнулась от меня, лишь крупно вздрогнула. Как-то само по себе получилось, что она пропустила свою остановку и вышла из автобуса вместе со мной.

Как сказал какой-то китайский мудрец: «То, что случается, случается вовремя».

А случилось в тот вечер то, что китайцы романтично называют вхождением нефритового стержня в пещеру божественного лотоса.

Мы с Люсей стали тайно встречаться у меня на квартире.

В начале августа Люся предложила мне съездить в гости к ее родителям. В это время на Ляодунском полуострове созревают яблоки, сливы и абрикосы.

— У мамы с папой большой фруктовый сад, а они уже старенькие и не могут убрать урожай сами. Хорошо, что с ними живет мой младший брат. Но он работает механиком на рыболовном сейнере, а в Желтом море сейчас сезон ловли сайры, и братишка дома почти не бывает, — рассказала Люся.

«Магазин китайского чая» работал семь дней в неделю, и выходные у сотрудников были скользкие. Мы с Люсей заранее подгадали, чтобы наши выходные выпали на 14 августа. И накануне вечером поехали в деревню маршрутным автобусом.

Оказавшись на месте, я увидел, что такое сад Люсиных родителей: деревья росли на крутом склоне сопки, обрывать с них плоды было очень трудно.

С раннего утра и до обеда мы с Люсей собирали богатый урожай — я взбирался по лестнице-стремянке к кронам деревьев, а она страховала меня снизу.

В полдень Люся сказала, что пора пообедать, сходить на берег залива и искупаться. Я поплавал, а Люся постояла по пояс в воде. Потом мы легли на принесенные циновки, вдыхая йодистый запах гниющей морской капусты и нежась под теплыми лучами солнца.

Сначала я заметил на морском горизонте какую-то точку. Точка росла, пока не превратилась в корабль. От волнения у меня засосало под ложечкой — по профилю я узнал корабль проекта 1143 и вскоре понял, что это был тяжелый авианесущий крейсер «Варяг». После распада СССР и раздела военно-морского флота его хохлы по дешевке продали Китаю.

«Красавец “Варяг”! — восторгался я. — Сейчас он, наверно, как-то по-китайски называется».

И действительно, корабль был великолепен — отремонтирован и свежеокрашен. Только вот жаль, шел не под Андреевским флагом.

Я взял цифровую «мыльницу» и стал снимать кадр за кадром.

Проходящий мимо китаец что-то крикнул мне.

— Что он говорит? — спросил я у Люси.

— Он сказал, что здесь нельзя фотографировать, — перевела она.

— Хорошо, больше не буду, — сказал я и зачехлил фотоаппарат.

Знал бы я тогда, чем это закончится.

## Опасные анекдоты

Между Китаем и Японией идет многолетний спор за несколько маленьких островов в Восточно-Китайском море; китайцы называют этот архипелаг Дяюйдао, а японцы — Сенкаку.

Несколько дней назад японские пограничники арестовали возле спорного архипелага китайское рыболовное судно и под конвоем доставили его в свой порт, а команду задержали.

В Китае немедленно поднялась волна протестов: заявления МИД КНР, митинги возле японского посольства в Пекине, резкие комментарии телеведущих.

Такое случается не первый раз и обычно заканчивается возвращением судна и освобождением экипажа. Но сколько праведного негодования

выплескивают китайцы в такие дни, забывая о собственных проблемах, которых у них немало!

Наши девушки тоже негодовали.

Желая сделать им приятное, я спросил:

— Вы знаете закон Архимеда: «Если в воду погрузить тело, то уровень воды поднимется»?<sup>?</sup>

— Знаем, — ответили они.

— Тогда слушайте анекдот. Все китайцы, живущие на побережье, договорились по QQ\* в ближайшее воскресенье устроить флешмоб — прийти к морю и ровно в полдень войти в воду. Когда они сделали так, а их было четверть миллиарда, уровень воды в мировом океане резко поднялся.

Из Токио панически позвонили:

— Что вы там делаете? Наши острова затапливает!

Из Пекина им спокойно ответили:

— Сегодня жарко, и китайцы решили искупаться в море.

Девушки были в восторге:

— Гоша, ты сам это придумал?

— Да.

— Какой ты молодец!

Они тут же начали по QQ рассылать этот анекдот своим друзьям, и через несколько дней мое произведение стало известно всему Китаю.

Китайцы не такие уж жертвы коммунистической пропаганды, как я думал раньше. После того случая наши девушки стали рассказывать мне китайские анекдоты.

Например, такой:

«Встал чуть свет Мао Цзэдун из своего хрустального гроба и вышел из мавзолея на площадь Тяньаньмэнь.

К нему подошел уборщик мусора и попросил автограф.

Председатель Мао расписался в его блокноте и подумал с гордостью: «Помнит меня народ».

А мусорщик побежал по площади с радостными воплями:

— Я видел самого Тан Гоцяна\*\*! Мне дал автограф сам Тан Гоцян!»

И даже такой:

«Мальчик, посмотревшись по телевизору патриотических программ, говорит:

— Папа, если начнется война с Америкой, я пойду в армию добровольцем!

— А зачем, сынок?

— Защищать родину!

— Какую родину? Этих сук, контролирующих рождаемость?\*\*\*

Этих взяточников из правительства?

— Но я боюсь, что американцы победят нас.

— А что в этом плохого?

\* QQ — китайский канал мгновенной рассылки текстовых сообщений.

\*\* Тан Гоцян — китайский киноактер, самый известный исполнитель роли Мао Цзэдуна.

\*\*\* В то время в КНР проводилась политика «Одна семья — один ребенок». За второго ребенка на родителей налагались большие штрафы, а сами «незаконнорожденные» дети лишались государственной поддержки.



— Они же отберут у нас всё.

— А что у нас отбирать, сынок? Мы даже не имеем своего дома, ведь земля под ним принадлежит государству.

— Но они заставят меня работать на них.

— Так это же хорошо, они будут платить тебе американскую зарплату».

Я спросил у Люси, могут ли сегодня в КНР посадить в тюрьму рассказчика таких анекдотов.

— Посадить, может, и не посадят, но на заметку в министерстве общественной безопасности возьмут.

## Зимние чтения

Впервые мне предстоит зимовать в Китае. В Даляне, как и в других китайских городах, центральное отопление в жилых домах включается лишь ночью. Днем, когда взрослые на работе и на службе, дети в садике и в школе, батареи нагревают лишь до такой температуры, чтобы они не разморозились.

А в большинстве общественных и производственных зданий водяного отопления вообще нет. И «Магазин китайского чая» зимой не отапливается. У нас есть лишь переносные электрические обогреватели со спиралью и рефлектором, но ими большой магазин не нагреешь.

Садимся полукругом возле этого электрического солнышка. Самое время мне начать занятия с китайским коллективом по совершенствованию русского языка.

Я привез из России кипу женских журналов — с рецептами русской кухни, надеясь заинтересовать этим своих учениц. Но китайцы очень консервативны в вопросе питания. У них даже в ресторанах KFC и McDonald's все блюда адаптированы на свой вкус. А про русскую кухню они вообще не знают.

Еще у меня были журналы кроссвордов, сканвордов и чайнвордов. Но когда я попробовал их применить для преподавания нашим девушкам современного русского языка, то ужаснулся. Вот, казалось бы, простое задание: «Слово из четырех букв — самая любимая родственница зятя». Нам-то понятно, что это *теща*. А попробуйте вы эту иронию китайцам объяснить. Они понимают всё буквально и отвечают: *жена*.

И тут я нашел новую методику преподавания. На одной из полок с шелковыми одеялами кто-то забыл толстый китайский журнал.

— Что в нем? — спросил я у Люси.

— Это сборник детективов китайских писателей, — ответила она.

На очередном занятии я попросил своих учениц по очереди читать что-нибудь из этого журнала, а потом по-русски пересказывать мне прочитанное.

Метод оказался весьма продуктивным — выбранный ими рассказ «Тайна нефритовой Гуаньинь<sup>\*</sup>» был написан разговорным китайским язы-

<sup>\*</sup> Гуаньинь — богиня, спасающая людей от всевозможных бедствий, подательница детей, родовспомогательница, покровительница женской половины дома.



ком и содержал в себе как современные сленговые словечки, так и идиомы из классической китайской литературы. Где бы я еще узнал, что слово «пьяо», которого не найдешь ни в одном китайском словаре, на даляньском диалекте означает что-то вроде русского «шизанутый». А идиома «нести бревно по улице» имеет смысл «мыслить прямолинейно».

При переводе они так коверкали русскую речь, что я усомнился в качестве китайского образования и прилежности китайских студентов. Нет, не зря Федя пригласил меня в свой магазин.

За час дневного занятия мы одолевали одну-две страницы журнала, а поскольку страниц в этом рассказе было около пятидесяти, то наши чтения у электрического светила продлились месяц с небольшим.

В сжатом виде сюжет этого захватывающего дух китайского триллера таков.

Молодой полицейский Хуа Шан начинает расследование убийства одинокой сорокалетней женщины Синь Нинг, которая за несколько дней до своей трагической гибели выиграла в лотерею пять миллионов юаней.

Об убийстве Синь Нинг в полицию сообщил ее младший брат, пришедший поздравить сестру с выигрышем. О встрече они договорились накануне по телефону. В этом разговоре Синь Нинг сказала брату, что с утра к ней придет кланчить деньги бывший муж — хулиган и пьяница, недавно вышедший из тюрьмы. Но весь свой выигрыш она уже потратила на покупку антикварной нефритовой статуэтки богини Гуаньинь.

Итак, подозрение в убийстве пало на бывшего мужа. Тот рассказал, как пришел к Синь Нинг, но, выпив водки, совсем забыл, что было потом. Помнил только, что закусывал квашеной капустой. В итоге бывший муж признался в убийстве, дело можно было передавать в суд.

Но Хуа Шану не давала покоя сережка, которой не оказалось в ухе убитой. При повторном осмотре места преступления сережка была найдена в нижнем отделении стоявшего на кухне большого холодильника. Ухватившись за это вещественное доказательство, Хуа Шан возобновил следствие.

Брат Синь Нинг на вопрос, что он делал в день ее убийства, рассказал, что с утра ездил в ботанический сад, чтобы полюбоваться на цветы. В доказательство он предъявил привезенный оттуда тюльпан. Но он врал. В день убийства было солнечно и жарко, а цветок тюльпана был не раскрыт, а закрыт, как это бывает в дождливую погоду. Значит, брат пытался ввести следователя в заблуждение.

Приложив свои невероятные умственные способности, Хуа Шан воссоздал картину преступления. Зная, что к сестре с утра заявится бывший муж, брат пришел к ней вечером. Он убил сестру, потом затолкал ее тело в холодильник, чтобы остудить до комнатной температуры. Судмедэкспертиза определила время смерти по степени остывания трупа. Таким способом час убийства был передвинут с вечера на утро. Обыскав квартиру, брат не нашел статуэтку.

Итак, злодей был изобличен и понес заслуженное наказание.

Последняя страница рассказа была вырвана из журнала, и тайна исчезновения нефритовой Гуаньинь так и осталась для нас нераскрытой.

## Арест, суд, депортация

А на следующий день мне уже было не до тайны нефритовой Гуаньинь. С утра в магазин пришли полицейские и арестовали меня. Ордер на арест был написан по-китайски, и я мог лишь гадать о причине моего задержания.

Как и всякий человек, впервые оказавшийся в тюрьме, я был в полном смятении. Пройдя всю процедуру — изъятие личных вещей и документов, смена одежды на тюремную, — я оказался в одиночной камере. Последнее не предвещало ничего хорошего: одиночное содержание — признак серьезности моего преступления.

Мои душевные терзания были прерваны приходом, как я понял, следователя. Это был человек в форме морского офицера.

— Ли Чжэндао — майор контрразведки Северного флота ВМС НОАК, — представился он по-русски, прикладывая ладонь к козырьку фуражки.

— Георгий Самолётов, — ответил я, встав с откидной скамейки.

Майор жестом пригласил меня присесть к маленькому столику на привинченный к полу табурет, а сам сел по другую сторону.

— Зачем ты фотографировал авианосец «Ляонин»? — взял с места в карьер контрразведчик.

— Мне интересно все, что связано с военно-морским флотом. Я служил на корабле этого же проекта 1143.

— Как назывался твой корабль?

— Тяжелый авианесущий крейсер «Киев».

— Чем ты можешь доказать, что служил на авианосце «Киев»?

Я задрал рукав рубашки и показал на левом предплечье синюю татуировку — якорь в обрамлении надписи: «КСФ. ТАВКР «КИЕВ»».

— Это означает: «Краснознаменный Северный флот. Тяжелый авианесущий крейсер «Киев»».

— В какой период ты служил на «Киеве»?

— С января 1988-го по май 1989-го.

— Звание и должность?

— Старшина первой статьи. БЧ-4, связист.

— Почему ты, простой связист, знаешь силуэт бывшего «Варяга», а ныне — «Ляонина»?

— На занятиях по боевой подготовке мы учили и запоминали силуэты авианосцев СССР и США.

— Откуда у тебя повышенный интерес к этому кораблю?

— После увольнения со срочной службы на «Киеве» мне предлагали пройти обучение в школе мичманов и продолжить службу по контракту на «Варяге», который тогда достраивался в Николаеве.

— Что тебе известно о дальнейшей судьбе корабля, на котором ты служил?

— В 1990-х годах «Киев» был выведен из боевого состава ВМФ России и продан Китаю. Сейчас корабль находится в порту Тяньцзинь, где его переоборудовали в военно-морской аттракцион и отель.

— Ты был на «Киеве» в Тяньцзине?

— Не довелось как-то.

— А хочешь побывать?

— Да, хочу.

— Я тебе устрою эту экскурсию. Как военному моряку и члену экипажа «Киева».

Из Даляня до Тяньцзиня мы домчались на скоростном военном катере.

Авианосец «Киев» стоит на вечном причале, что произвело на меня тягостное впечатление.

На верхней палубе ди-джей включил песню «Старый корабль»:

На берегу так оживленно людно,  
 А у воды высится, как мираж,  
 Древний корабль — грозное чье-то судно,  
 Тешит зевак и украшает пляж.

— Найдешь свой кубрик? — спросил контрразведчик.

Отделка на «Киеве» везде новая, но конструкция судна не изменена, и я без труда нашел путь с верхней палубы до отсека матросских кубриков.

— Вот здесь, вместо этого гостиничного номера, размещался кубрик экипажа, в котором была моя койка.

— Пройдем в столовую? — предложил мне Ли Чжэндао.

Камбуз для матроса — святое место, туда я найду дорогу и с завязанными глазами. Я провел его по переходам к матросской столовой. Сейчас здесь один из ресторанов.

Мы сидели в ресторане. Как бы невзначай он спросил:

— Где ты был 31 декабря 1988 года?

— На боевом дежурстве в радиорубке.

— На обед ходил?

— Да.

— Что у вас в тот день было на десерт?

Да что там десерт, я помню всё меню того новогоднего обеда: борщ украинский — без мяса, макароны по-флотски — банка тушенки на весь котел, компот из сухофруктов — несладкий. И кислая яблочная шарлотка. Еще перед обедом мы в кубрике развели технического спирта лимонадом и выпили «шила».

— На праздничный десерт у команды «Киева» была яблочная шарлотка.

— Расскажи о технических характеристиках оборудования, на котором ты работал.

— Я давал подписку о неразглашении, — ушел я от ответа.

— Радиорубка «Киева» не была демонтирована при продаже корабля. Я могу сделать запрос и через полчаса получу частоты любой радиостанции «Киева». К нам попали даже журналы приема и сдачи дежурств, — сказал майор Ли.

— Я не буду отвечать на вопросы, касающиеся технических характеристик оборудования, — повторил я свой отказ. — Тем более что ответы на них тебе известны.

Конечно, сроки всех подписок о неразглашении периода СССР давно истекли, да и страны такой уже нет. Ежу понятно, что ему нужен только сам факт моего сотрудничества со спецслужбой иностранного государства. Коготок увяз — вся птичка пропала.

Когда наш катер отчаливал от причала, из динамиков опять пел Андрей Макаревич с группой «Машина времени»:

Зато любой сюда войдет за пятак,  
 Чтоб в пушку затолкать бычок  
 И в трюме посетить кафе  
 И винный зал...

Печалька.

Мы сидели в тесной каюте катера, несущегося назад в Далянь. Ли Чжэндао поинтересовался:

— Это ты придумал анекдот про то, как китайцы устроили на море флешмоб, после чего японцев затопило?

Я утвердительно кивнул.

— Красавчик! — похвалил он. — Я попрошу администрацию тюрьмы присмотреть за тем, чтобы тебя не обижали.

В ожидании суда я отсидел в тюрьме десять суток. Уже в общей камере, где кроме меня было два десятка китайцев. Контрразведчик сдержал свое слово, и ко мне не приставали.

Наконец-то меня повезли в суд.

Заседание длилось четверть часа.

Меня обвиняли в незаконной трудовой деятельности. Деловая многократная виза типа F не давала мне права работать в Китае.

Судья спросил:

— Признаете ли вы свою вину?

— Да, признаю.

— Что вы можете сказать в свое оправдание?

— У меня нет никаких обстоятельств, смягчающих мою вину.

— Вам предоставляется последнее слово.

— Прошу высокий суд при вынесении решения учесть мое чистосердечное признание и глубокое раскаяние и назначить мне минимально возможное наказание.

После пятиминутного совещания с народными заседателями судья зачитал приговор:

— Всем встать! Именем Китайской Народной Республики выносятся решение суда по делу гражданина России Георгия Самолётова.

Изучив обстоятельства дела, народный суд города Далянь провинции Ляонин Китайской Народной Республики решил: «По законодательству Китая нелегальный труд иностранца карается штрафом до 20 тысяч юаней, виновный подвергается тюремному заключению на срок до 15 суток. Осужденный за это преступление также подвергается депортации из КНР без права возвращения в течение 10 лет.

Учитывая полное признание подсудимым своей вины и его чистосердечное раскаяние, суд считает возможным снизить сумму штрафа до 10 000 юаней, срок тюремного заключения — до 10 суток и срок запрета на въезд в КНР — до 5 лет.

Поскольку подсудимый в ходе досудебного расследования находился в камере предварительного заключения 10 суток, освободить его в зале суда и передать сотрудникам бюро общественной безопасности для немедленной депортации».

Меня взяли под белые руки люди из БОБ и повезли сначала в тюрьму, где я получил под роспись одежду, личные вещи и карточку банка, изъятые у меня при задержании. Потом мы поехали к банкомату, где я снял со счета 12 000 юаней — все мои накопления. Далее поехали в миграционную службу провинции Ляонин, где я уплатил штраф. А потом меня привезли в международный аэропорт Чжоушуйцзы, и там выяснилось, что на билет самолета рейса Далянь — Хабаровск мне не хватает 50 юаней. Каким-то образом билет мне все-таки купили и вручили вместе с заграничным паспортом. Я открыл страницу с визой, где стоял большой жирный черный штамп о депортации.

Поднимаясь по трапу в самолет, я оглянулся назад. И увидел, что на балконе здания аэропорта стоял майор Ли и махал мне рукой, прощаясь. За дальностью расстояния было не различить выражения его лица, но мне показалось, что он улыбался.

За все время моего пребывания в Даляне я так и не удостоился личной встречи с Федей. Он разрывался на части — то находился на тропическом острове Хайнань, то на международной туристической выставке в Москве, то на чайной ярмарке в городе Гуанчжоу. Но Федя, подобно Большому Брату Джорджа Оруэлла, незримо присутствовал в «Магазине китайского чая» — это было возможно в результате функционирования тотальной системы доносительства, принятой во всех китайских трудовых коллективах, и успешному развитию сети компании China Mobile, сим-картами которой мы пользовались за счет работодателя. Доходило до того, что, украдкой покурив в туалете, я получал штрафные баллы за отсутствие на рабочем месте. Вот вам разгадка экономического бума в Китае.

## Возвращение

Два часа полета, и я ступил с трапа самолета на родную землю. Денег у меня было в обрез — только на билет поезда Хабаровск — Благовещенск в плацкартном вагоне.

В первый же день в Благовещенске я связался по скайпу с Люсей.

Первым делом я спросил у нее:

— Откуда флотская контрразведка узнала, что я фотографировал авианосец «Ляонин»? Донес тот китаец?

— Я им сказала.

— Но зачем?!

— Жители нашего района обязаны сообщать об иностранцах, фотографирующих военные суда.

— Но ты же знала, что я не шпион.

— Если бы донесла не я, а кто-то из местных, меня бы тоже судили. Кроме того, Гоша, откуда же мне было знать, что ты не русский разведчик. И она была права.

Неделю провалявшись на кровати в раздумьях о своем дальнейшем житье-бытье, я решил не возвращаться в журналистику. Пошел в ближайший универсам и устроился грузчиком.

В очередной сеанс связи Люся сказала:

— Гоша, девочки просят тебя придумать, куда же подевалась нефритовая Гуаньинь.

Эту загадку я уже разрешил, сидя в тюрьме.

По закону КНР часть лестничной площадки принадлежит владельцу квартиры. Хозяйственные китайцы обычно ставят там глиняные чаны для квашения капусты. На дне этого чана Синь Нинг и спрятала статуэтку. И следователь Хуа Шан, вспомнив, что бывший муж Синь Нинг закусывал водку квашеной капустой, нашел нефритовую Гуаньинь в чане.

Столь счастливый исход (не для убитой Синь Нинг, конечно) вызвал бурю восторга в коллективе «Магазина китайского чая». Но девушки хотели продолжения рассказа и в конце — полного хэппи-энда.

По их просьбе Люся спросила:

— Гоша, а куда потом дели статуэтку Гуаньинь?

— Наверно, она перешла в собственность государства. Ведь у бедняжки Синь Нинг не было родственников, кроме ее убийцы — младшего брата.

На следующий день Люся сообщила мне мнение коллектива:

— Девочки говорят, что будет несправедливо, если нефритовая Гуаньинь достанется государству, — оно и так богатое. Лучше, если статуэтку заберет себе Хуа Шан. Он же молодой — ему к свадьбе надо квартиру купить. Да и подарки невесте и ее родителям дорого ему обойдутся.

— Нельзя, — сказал я.

— Почему?

— Если он возьмет себе Гуаньинь, то сам нарушит закон. Его уволят из полиции и посадят в тюрьму.

— Вот и я им говорю то же самое. А можно, чтобы Хуа Шан получил большую премию?

— Это можно, — согласился я.

— Я девочкам твои слова передам — они будут очень довольны.

А скоро от Люси пришла печальная весть. Ее уволили. И кого, вы думаете, приняли на ее место? Сашу. Федя возражал, но в его семье последнее слово всегда остается за женой.

Люся теперь работает переводчиком с русского языка в одном из банков Даляня. Ее свекор недавно помер. Сын окончил школу и поступил в институт. «Магазин китайского чая» закрыт — Саша развалил его. Девушки разбрелись кто куда — Далянь большой город, и хоть какая-то работа в нем найдется всем.

Сегодня минуло пять лет со дня моей депортации из Китая.

Можно ехать в Далянь!



## НАТУРА С ПТИЦЕЙ

Надежда ПЕРМИНОВА

*Киров*

\* \* \*

Как пели  
капели!  
То булькали пульками,  
то так барабанили,  
как будто их наняли.  
То смачно журчали,  
шкворчали  
и даже довольно ворчали.  
«Си» пели,  
сипели,  
сопели — немного,  
но сколько хотели...  
А дальше —  
тончали,  
тишали  
и больше  
совсем никому не мешали.

**Наталья ПЕРСТНЕВА***Одесса***Натура с птицей**

Вечно уходящая натура  
Никуда, однако, не уйдет.  
Кашлянет в рукав колоратурно  
И культурно чай с конфеткой пьет.

То глядит бездомного безродней,  
То поднимет руки до небес.  
И стоит, не осень, но в исподнем,  
И ломает иглы, но не лес.

То заплачет ночью, будто птица,  
То холодным смехом изойдет.  
Только нелетящей не летится,  
Только неживая не умрет.

**Выход на улицу**

Выйду на улицу —  
Осень идет.  
Выйду еще раз —  
Здравствуй, зима!  
Нет, с этой улицей мне не везет,  
Пусть эта улица ходит сама!

**Юрий ТАТАРЕНКО***Новосибирск***Пятница**

Я прилетел. И снова на два дня.  
Но время ты еще не засекала...  
И вкусное в тарелке у меня,  
И красное разлито по бокалам.

И покурить мы выйдем на балкон.  
Как в прошлый раз, нас будет слишком двое.

И пригласительный в «Сатирикон»  
Из пиджака вдруг выпорхнет на волю...

Полжизни пролетело в суете...  
Но слава богу, что рассвет не скоро.  
Мы говорим руками в темноте —  
О том, что темы нет для разговора.

## Русская зима — 2

Все вокруг наловчились выделять разные штучки!  
Будет нужно — жена на скаку остановит коня...  
Я умею выманить май из простой авторучки.  
Падать молча снежинки научатся не у меня.  
С виноградною косточкой в песне расстанется гений —  
И темнеет в глазах, словно я заблудился в метель...  
Кто безлунную ночь мне опишет — от слова «Тургенев»?  
Про волнение сердца расскажет — от слова «Равель»?

## Елена КЛИМЕНКО

*Томск*

### Пушкиногорье

В краю опадающих яблок  
Слова созревают неспешно.  
Глядят полинялые зябкие  
Открытые окна скворешен.  
Так близко, так пусто, так пресно...  
И мелко бегущие реки  
Штрихуют сырую окрестность,  
Где волчья мерещится песня.  
А рядом молчат человеки.

### Невский-2018

Немного карелы, немного ижора.  
Стритует рванина, глазеет обжора.  
Идешь по проспекту и сытый, и пьяный,  
А всюду дымятся харчевни, кальяны,  
И в книжном развале нет вдоха без кофе.  
Оно и впитается в камень эпохи.

К 125-летию Владимира Зазубрина

## ЛИДИЯ ЗИЕДИНЯ: «Я ТОГДА БЫЛА РЕБЕНКОМ...»

Интервью с племянницей Владимира Зазубрина

Лишь недавно довелось узнать о том, что живет и здравствует последний из родных Владимира Яковлевича Зазубрина человек. И немудрено, ибо живет Лидия Петровна Зиединя (урожденная Каботова), племянница писателя, очень далеко от Сибири, в Латвии. Но разве важно расстояние, если необходимо увидеть ту, которая может поведать о живом Зазубрине, рассказать о нем живыми словами.

Мы сидим в дачном домике, увитом виноградом, в сорока минутах езды на электричке от Риги. Тепло — сбоку от меня металлическая печка с камином, излучающим жар прогорающих поленьев. Уютно — домик небольшой, обжитой, с кухни доносится запах готовящейся еды.



Лидия Петровна Зиединя

Все условия для хорошей задушевной беседы. Лидии Петровне скоро девяносто лет, но в это не верится. Может быть, потому, что вспоминает она свои ранние годы, и потому на глазах молодеет.

— Это был, по-видимому, 1936 год. Мне еще не было шести лет. Уезжали из Новосибирска две бабушки, мама<sup>1</sup> и я. Помню плацкартный вагон, у меня слезы на глазах. Но надо было начинать новую жизнь.

И началась жизнь в Переделкине. Там было хорошо и было много собак. У дяди Володи (Зазубрина) была овчарка Джунка, у бабушки — такса Марта,

<sup>1</sup> Вера Алексеевна Зубцова (Каботова) (1873—1961) — мать В. Зазубрина, Серафима Алексеевна Шернваль (Каботова) — ее сестра, Наталья Яковлевна Зубцова (Каботова) (1902—1990) — сестра В. Зазубрина, мать Лидии Петровны.

у другой бабушки — такса Алмазик и еще гончая. Только у меня не было. Дядю Володю помню хорошо. Он подарил мне книжку Чуковского, собрание сказок Гауфа, книгу Сетон-Томпсона «Рольф в лесах», «Жизнь животных». Самым интересным из этого для меня был рассказ «Жизнь серого медведя», его звали Уэб. Со мной дядя Володя не занимался, ему было некогда. Я помню стол, настольную лампу, как она двигалась. А больше всего мне нравился ее держатель в виде трех медведей: большой, поменьше и маленький мишутка. К сожалению, он не сохранился, даже его фото нет. А лампа сохранилась, она сейчас в Канске.

Жизнь в Переделкине была непродолжительной, потому что дядю Володю арестовали. И это было на моих глазах. Мы всегда ужинали вместе: бабушки, мама, я, дядя Володя и Игорь, его сын. Но тогда его не было, он жил на Сивцевом Вражке<sup>2</sup>. А дядя Володя ждал, что приедут, но с утками, их должны были привезти. У него же дача была: утки, корова, куры. И вот подходят двое вооруженных людей — у них торчали штыки за спиной, но очень приветливые, и говорят ему: собирайтесь. Бабушка сразу в обморок. Он к ней подошел, любил ее очень. А когда она пришла в себя, сказал: «Мама, это недоразумение. Я вернусь». Один из этих, вооруженных, говорит: «Возьмите с собой пальто». Он ответил: «Ни в коем случае. Братъ не буду», — и ушел. И больше я его не видела.

Еще я помню, что у него был в кабинете стеллаж во всю стену, весь в книгах. И еще сундучок с его рукописями. Дядя Володя говорил нам: если пожар, то спасайте в первую очередь этот сундучок, там рукописи, вам хватит на всю жизнь. Так и сказал. Эти слова я хорошо запомнила. А сундучок был маленький, не такой, как у бабушки, — тот был большой, в четыре раза больше. Потом кабинет закрыли, опечатали, я даже пальцем трогала печать. Не очень хорошо помню те дни, я ведь была маленькая. А этих военных запомнила, говорили они очень вежливо.

*Нашу беседу время от времени поддерживала дочь Лидии Петровны Татьяна, внучатая племянница В. Зазубрина<sup>3</sup>. Ей бабушка (сестра Владимира Яковлевича) рассказывала, что во время ареста сундучок приоткрылся и из него вырвались бумаги, разлетаясь по ветру. Но Лидия Петровна горячо возражает: «Нет, никакие бумаги не летали. Правда, я не видела, как его увозили, в этот момент во двор не выходила».*

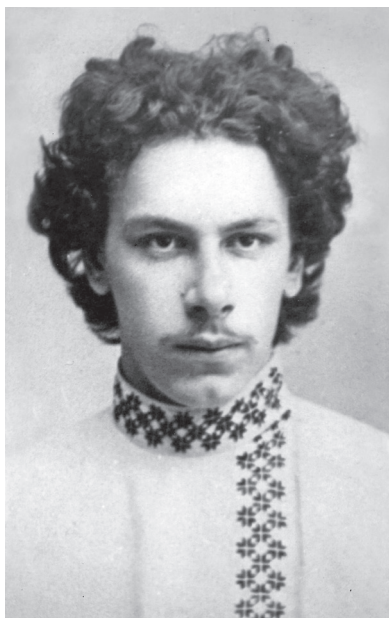
*Но вот что, по словам Татьяны, рассказала еще ее бабушка, Наталия Яковлевна. Те самые, со штыками, то есть винтовками, поднялись на второй этаж дачи, чтобы провести обыск в кабинете Владимира Яковлевича. И там они нашли в его бумагах какой-то приглашенный билет на прием в японское посольство. Добыча для них была, конечно, замечательной. Усугубила ли она тяжесть заключительного обвинения? Увы, «дело» В. Зазубрина в полном объеме все еще недоступно для исследователей, лишь фрагментами.*

*И вновь мы говорим о той переделкинской даче. Кстати, перешедшей потом А. Фадееву, и он через двадцать лет там застрелился. Причем в том же самом кабинете Владимира Яковлевича. Местные переделкинцы говорили, что он повторял перед этим много раз: «Много крови, много крови...» Наверное, знал и помнил о своем загубленном предшественнике.*

*Но мы говорим о другом.*

<sup>2</sup> Сивцев Вражек — улица в Москве, где была квартира Зазубриных (д. 15/ 25, кв. 83).

<sup>3</sup> Татьяна Зиедина, дочь Л. П. Зиедини, внучатая племянница В. Зазубрина.



Владимир Зазубрин

— Курятник был, курочки, цыплята. Была у нас и корова, каждый день я пила парное молоко. Бабушка говорила: это тебе дядя Володя дает. Он очень был внимательный, любил свою маму, и она очень его любила. И моя мама всегда завидовала, что бабушка любит больше дядю Володю. Он был человек мягкий, но и очень вспыльчивый, часто вспыхивал румянцем. И очень ласковый был. Какие книги мне больше всего у него нравятся? Наверное, «Два мира». Меня нельзя назвать поклонницей его творчества, потому что я другого типа была дамой — «тургеневской». Я любила его как родного человека.

*Не удержавшись, зная, что Лидии Петровне при живом Зазубрине было всего шесть лет, задаю дежурный вопрос к нему:*

— *Что бы вы выделили в характере Владимира Яковлевича, какую черту?*

— Трудно сказать, я все-таки тогда была девочкой. Он остался в моей памяти добрым, внимательным, чутким.

— *А жена его, Варвара Петровна, там была?*

Оказывается, была, хотя первоначально, в начале рассказа, Лидия Петровна о ней не вспомнила.

— Я где-то прочла, что она была арестована. Это неправда. Она была послана в Суздаль. Она ведь была агрономом и там работала по специальности. Мне больше нравился дядя Володя, а она не нравилась, какая-то холодная была. Но, повторяю, это впечатления ребенка.

*Приходится по ходу интервью вносить коррективы, и те «умные» вопросы, которые составил накануне, не понадобились. Действительно, как сказала Лидия Петровна, «вы задаете мне “женские” вопросы, а я была ребенком». И все-таки опять не удержался. И не напрасно:*

— *А другие его книги, кроме «Двух миров», вы не читали?*

— У нас были «Горы» с подписью: «Любимой маме от сына. “На память” писать не буду, так как матери не забывают своих сыновей»<sup>4</sup>. Книга осталась в Канске, мы ее отдали музею. И все, что у нас было, отдали, особенно фотографии. Когда мы были в первый раз в Канске, нас провели в актальный зал. И вдруг я вижу, там на всю стену — дядя Володя и бабушка, их фотография. У меня даже слезы потекли, так трогательно! В Канске предлагали нам: переезжайте к нам, берите дом Теряевых. Я в первый раз его тогда увидела: настоящий сибирский дом, бревна такие...

*И тут я вспомнил один из подготовленных вопросов, оказавшийся уместным:*

— *Можно ли согласиться, что Сибирь сыграла главную роль в творчестве Зазубрина? Он ведь сибиряком себя считал до самой своей гибели.*

— Не знаю. Но скажу про себя: я не хотела уезжать из Сибири.

<sup>4</sup> «Горы» — неоконченный роман В. Зазубрина. Впервые опубликован в 1933 г. в журнале «Новый мир». В музее Канска автограф на книге В. Зазубрина «Горы» (Издательство писателей в Ленинграде, 1934) читается так: «Дорогой маме от любящего сына. 11.III.1934».



— Он тоже не хотел.

— Это предчувствие! Расскажу вам одну историю. Мой первый муж<sup>5</sup>, когда мы переехали в Ригу, водил меня по кладбищам. Привел, посадил на скамейку. А у меня такая тоска! Никогда такой не было. Я сижу, читаю какую-то газету, проходят священники... А потом на этом кладбище, на этом месте был похоронен мой муж. Представляете?! Потом я попала в больницу, ногу мне разбили... Все эти мелочи начали складываться в какую-то картину...

— Что и правда лучше бы вам было не уезжать из Сибири?

— Да, да! Помню, с бабушкой мы в парке ходили. Я любила Сибирь, люблю ее и сейчас. Сколько бы я там ни прожила, это моя родина.

— И Зазубрин, если бы не конфликт с журналом и Горький не позвал бы его в Москву...

— Ну да, и бабушка туда понеслась вслед за ним.

— Сам Горький все-таки пригласил.

— Ну да, мы сразу после его смерти и поехали.

— Владимир Яковлевич вспоминал его?

— Не знаю. Бабушка так сказала: «Траурные флаги везде. Наверное, по Горькому. Володе будет тяжело».

— Если бы Горький не позвал его в Москву, можно представить и другой сценарий жизни Владимира Яковлевича. «Горы» ведь он начал писать в Сибири, в Новосибирске. Потом уезжал на Алтай, жил там, работал, охотился, наблюдал новую жизнь. И спокойно мог бы написать эти «Горы» и на Алтае, тем более что роман целиком «алтайский». Но он уехал в Москву... Видимо, это судьба.

Лидия Петровна соглашается, и я перевожу разговор на сына Зазубрина, Игоря<sup>6</sup>.

— А что вы помните об Игоре, его судьбе?

— Я знаю, что он погиб под Сталинградом. И он был в штрафном батальоне. Почему он там оказался, я не знаю. Так мне сказали. В Севастополе его родственница осталась, со стороны Теряевой<sup>7</sup>.

Предупреждая мои расспросы, Лидия Петровна адресовала меня к Г. Усольцевой, директору Канского музея.

— Она с мамой дяди Володи переписывалась, моей бабушкой. Наговорила Усольцевой целую пластинку. Но ведь правду тогда говорить запрещалось. У них была очень большая переписка. Но, скажу вам, писала она тогда неоткровенно. Да и Михалков<sup>8</sup> запретил, чтобы ничего лишнего не говорили. Когда ездили в Канск, нам надо было по телевидению выступить, а я сказала, что не буду. И муж мой что-то говорил. А я что, я только про собак могу. (Смеется.)

Возвращаемся к Игорю.

— Бабушка мне сказала, что когда Игорь узнал об аресте Владимира Яковлевича — его ведь не было тогда на даче, — то сказал: «Значит, виноват». Вот такой он был «настроенный» человек.

<sup>5</sup> Зиединьш Эйжен Янович (1922—1986). Родился в Риге. Работал кочегаром, машинистом паровозов и тепловозов на железной дороге. В начале 50-х гг. уехал учиться в Московский железнодорожный институт. Работал в управлении железных дорог, в начале 60-х преподавал, читал лекции в обществе «Знание» и в Рижском политехническом институте. В 70-х гг. работал в Министерстве образования начальником средних учебных заведений Латвийской ССР. В 80-х полностью перешел на педагогическую деятельность, получил звание доцента кафедры строительных материалов, участвовал в научной деятельности, писал статьи в «Латвийскую советскую энциклопедию», написал несколько учебников для вузов по строительной технике (на латышском языке). В 1986 г. погиб при испытаниях моста.

<sup>6</sup> Зубцов Игорь Владимирович (1921—1942) — сын В. Зазубрина.

<sup>7</sup> Теряева-Зазубрина Варвара Прокопьевна (1894—1983) — жена В. Зазубрина.

<sup>8</sup> Видимо, С. В. Михалков — известный поэт, в 1970—80-е гг. председатель правления СП РСФСР.

— Горький, который его знал, говорил, что он будет большим ученым. Наверное, слишком умным оказался.

— Да. Игорь учился на биофаке университета. Он препарировал лягушек и однажды дал мне лапку: съешь, говорит. Я поела эту лапку, не зная, что она лягушачья. Заревела потом, пошла жаловаться.

— А у него не было девушки?

— Не знаю, мы ведь жили в Переделкине, а он в Москве. А вот маму никуда на работу не принимали, писали: брат сослан. Бабушек отправили в Моршанск, а мне надо было учиться, в первый класс идти. Вот мама и осталась. И она пошла в органы и попросила ее арестовать, если она виновата. Тогда ей дали работу. За нее вступились евреи, она похожа на них была. Ей даже говорили: ты не мамина дочка. Когда ей дали работу, я и пошла в школу. И вот приехал он, Игорь, высокий, худой, какой-то матрац привез. Когда прощался — и сказал, что у него есть девушка. Но мы его с девушками не видели. Может, там, на Сивцевом Вражке, были...

— Я к тому, что, может, он успел потомство оставить...

— Не знаю. Когда «Два мира» были изданы<sup>9</sup>, я купила эту книгу и положила бабушке на колени, она сидела и плакала: зачем убили человека? И дальше она вспоминала: всю жизнь у нас были сходки, когда Володя молодой был, революционные песни пели. И когда она эти песни слышала, старинные, то тоже плакала: так жалко Володю. Она ведь хотела к ним (революционерам. — В. Я.) примкнуть. Но он сказал: это не женское дело. Бабушка рассказывала, что он ей что-то давал (листочки, газеты, брошюры), когда они (жандармы. — В. Я.) что-то искали. А она вокруг себя заматывала и стерегла нужную литературу<sup>10</sup>. И что-то она там в шляпе носила. Она рассказывала, а меня это не интересовало. Я другого типа была.

— Но вы многое помните...

— Да, помню еще, как в парке гуляли, и было много, прямо груды каких-то камней. Сейчас думаю, почему? И когда ехали в Канск, очень жалела, что не через Новосибирск, а через Дивногорск. Но город очень красивый, воздух чудесный! Мы стояли с мужем — а он по национальности был латыш, но душой был русский, — и он сказал, что да, сюда бы я уехал. А Новосибирск... Я считала, что я сибирячка и должна была там жить. А в Москве сначала было трудно. Но мама ведь окончила курсы, была стенографисткой, за ней машина приезжала. И ее дядя Володя «использовал»: рассказывала, что он ходит и ходит, что-то говорит, а я записываю. Она ему помогала, и поэтому он ее звал, «с расчетом»... А от политики я всегда была далека. Да и при мне никто ничего не говорил. Ни о Горьком, ни о Сталине. Я даже не догадывалась, что мои родители

<sup>9</sup> Очевидно, первые издания В. Зазубрина после его реабилитации 4 августа 1956 г.: «Два мира», Иркутск, 1958; Москва, 1958; Новосибирск, 1959.

<sup>10</sup> См. вариант воспоминаний Н. Я. Каботовой в «Литературном наследстве Сибири» (т. 2, Новосибирск, 1972): «Мама очень любила брата (В. Зазубрина. — В. Я.) и всегда чутко откликнулась на его просьбы кому-либо помочь. А когда появилась в доме нелегальная литература, партийные документы, она охотно соглашалась хранить их, убежденная, что ее сын не может поступить дурно. Документы и литературу она прятала в подполье в плотно запечатанных банках, в хорошо замаскированных местах нашей квартиры. Однажды брат принес много запрещенной литературы, которую он должен был утром срочно распространить. Но ночью к нам пришли с обыском. Мама, увидев в окно городо-вых, быстро разложила всю литературу под матрац моей кровати и потребовала, чтобы я не только делала вид, что сплю, но и стонала бы. Ее распоряжения я, конечно, добросовестно выполнила. Когда непрошенные ночные посетители заглянули в мою комнату, мама сказала, что я тяжело больна, и попросила все осмотреть поспокойней. Они в самом деле не тронули меня на кровати, и литература была сохранена. В другой раз во время особо тщательного обыска (были распороты даже матрацы) она сберегла нелегальную литературу, успев разложить ее вокруг себя под широким халатом. И вообще, сколько я ее помню, она никогда не терялась в трудные минуты и выдержкой своей нередко спасала положение» (с. 398—399).



Слева направо: мать Владимира Зазубрина Вера Алексеевна, племянница Лидия Петровна, сестра Наталия Яковлевна

так ненавидели Сталина, они это скрывали. Я ведь его рисовала, мы учили о нем стихотворения, а когда умер, то все знакомые рыдали.

— У Сталина хоть есть могила, а у Владимира Яковлевича нет.

И вновь помогает Татьяна:

— Есть, на Донском кладбище. К нам приходили кагэбэшные документы, там об этом было сказано. Общая могила.

Что и говорить, на грустной ноте пришлось заканчивать этот разговор. Давно уже надо поставить памятный знак — бюст, барельеф, мемориальную доску, чтобы было куда прийти и положить цветы Зазубрину. Где, когда, как это сделать, в Москве или Новосибирске (возможно, и там и там) — вопрос. Но что это надо сделать, ясно всем, помнящим Владимира Яковлевича. Позже Татьяна сказала мне, что по ее заявке установлена мемориальная табличка «Последний адрес»<sup>11</sup> на «зазубринской» улице Сивцев Вражек в Москве. Пусть это станет началом действительно общероссийского увековечения памяти Владимира Яковлевича Зазубрина.

Прощаясь с Лидией Петровной, я сорвал ветку ароматного винограда на память. На добрую память о В. Зазубрине и о тех милых, родных ему женщинах, которые так бережно хранят память о нем в этом скромном домике под Ригой.

Подготовил Владимир Яранцев

<sup>11</sup> Надпись на табличке: «Кв. 83 Зубцов (Зазубрин) Владимир Яковлевич, род. 25.05.1895, в Пензе, русский, б/п, писатель, член Союза советских писателей. Адрес: Сивцев Вражек пер., д. 15/25, кв. 83. Расстрелян 28.09.1937. Место захоронения: Донское кладбище». «Последний адрес» — проект увековечивания памяти обычных людей, ставших жертвами сталинских репрессий. Таблички для всех одинаковые, с пустым вырезанным местом для портрета. В. Зазубрину и трем другим жильцам этого дома ее установили 17 апреля 2016 г. Инициатором установки является конкретный заявитель. Знак представляет собой пластину из нержавеющей стали размером 11 на 19 см. На ней простым «рубленным» шрифтом вручную с использованием шрифтовых клеев наносится несколько строк с сухими сведениями о жертве политических репрессий. Из этого дома (Сивцев Вражек, дом 15) было арестовано и расстреляно 17 прописанных жильцов, в том числе В. Зазубрин.

## ДОПОЛНЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

## О родственниках Владимира Зазубрина

Дед В. Зазубрина — Алексей Каботов родился крепостным, позже женился на Наталии, осиротевшей дочери своих бывших хозяев. Он был очень хозяйственным, трудолюбивым человеком, замечательным садоводом. Выводил сказочные сорта яблок, за которыми к нему ехали со всей Европы. В браке с Наталией у него было пять детей, четверым из которых он дал высшее образование: Николай Алексеевич Каботов — учитель; Александр Алексеевич Каботов — мировой судья; Иван Алексеевич Каботов («дядя Ваня») — врач; Серафима Алексеевна — окончила институт благородных девиц, в замужестве Шернваль, муж — Альфред Рудольфович Шернваль, посол Швеции в России; Вера Алексеевна — высшее образование не получила, так как ее отец решил, что она должна помогать родителям по хозяйству, мать В. Зазубрина, в замужестве — Зубцова. Муж ее — Яков Зубцов, железнодорожный служащий. У Якова и Веры было двое детей: Владимир Яковлевич Зубцов и Наталия Яковлевна Зубцова. Владимир Яковлевич был женат на Варваре Теряевой, у них был сын Игорь. Наталия Яковлевна вышла замуж за Петра Каботова (Хрущева) — приемного сына своего дяди Ивана Алексеевича. (Кровным отцом Петра был крупный помещик Михаил Хрущев. После революции у него отобрали его богатства и земли, самого арестовали, потом отпустили, но он вскоре умер. Его вдова Татьяна познакомилась с Иваном Алексеевичем Каботовым и вышла за него замуж.) В браке с Петром Каботовым у Наталии Яковлевны родилась дочь Лидия Петровна Каботова, в замужестве — Зиединя (муж — Эйжен Янович Зиединьш, в браке родились две дочери — Татьяна Зиединя (1958, в замужестве Гросманис) и Елена Зиединя (1959).

**Наталия Яковлевна Каботова (урожденная Зубцова).** С детства была очень дружна со своим братом, всегда была его единомышленником и помощником. Родилась в Пензе в 1902 г., там же окончила школу, параллельно училась в музыкальной школе. Педагоги считали, что у нее большой талант к музыке. Ее направили в консерваторию в Петроград на бесплатное обучение, но ее отец был против и не выделил средств на проживание и питание. Пришлось оставить свою мечту (которую позже воплотила в своей внучке Елене). Затем поступила в университет в Томске на юридический факультет, где проучилась полтора года. Но ее отец ушел из семьи, оставив без средств к существованию Веру Алексеевну и Серафиму Алексеевну (овдовев, она до конца жизни жила со своей сестрой). Наталия Яковлевна прекратила обучение и вернулась к матери, окончила курсы воспитателей и стала работать в детском доме с беспризорниками (конец 20-х гг.). В это время она познакомилась с Петром, приемным сыном своего дяди Ивана Алексеевича Каботова, когда гостила у деда Алексея Каботова в местечке Дашково, г. Богоявленск, где у деда были великолепные яблоневые сады. К тому времени Иван Алексеевич умер, и Петр остался один. Дед хотел его выгнать из дома, так как считал бездельником. Петр сделал ей предложение, и Наталия Яковлевна вышла за него замуж, по ее словам, из чувства протеста, так как считала отношение деда к Петру несправедливым. Но дед, по-видимому, был прав, так как брак их оказался неудачным: Петр не хотел работать, занимался в основном охотой, гулял. Узнав однажды об его измене, Наталия Яковлевна потребовала развода. Они развелись, когда их

дочь Лидия была еще совсем маленьким ребенком. В дальнейшем Петр никогда ничем не помогал своей дочери и не участвовал в ее воспитании. Наталия Яковлевна с дочерью, матерью и тетей жили в Новосибирске очень тяжело, в полуподвальном помещении, которое по весне заливало талой водой. Наталия Яковлевна много работала и содержала дочь и двух старушек. Владимир Яковлевич тоже помогал, сколько мог. По настоянию брата («будешь мне помогать») Наталия Яковлевна в 1933—1934 гг. окончила курсы стенографии и машинописи в Новосибирске, ей выдали диплом, где была указана скорость ее стенографирования (сколько слов в минуту может записать). В дальнейшем она помогала брату писать: он диктовал, она записывала. Именно поэтому, когда В. Зазубрин перебрался в Москву, он забрал ее с собой.

В 1936 г. Наталия Яковлевна с дочерью Лидией, Верой Алексевной и Серафимой Алексевной поселились в Переделкине в доме, который построил В. Зазубрин и где они жили до его ареста. Здесь же жила жена В. Зазубрина Варвара Прокопьевна. Наталия Яковлевна устроилась работать секретарем на Селигерский туркомбинат. Одновременно помогала брату в писательской деятельности. Работая на Селигере, научилась водить байдарку под парусом и возила туристов. После ареста В. Зазубрина и ссылки его жены дом в Переделкине был конфискован, жить было негде, и Вера Алексевна увезла свою сестру Серафиму Алексевну и внучку Лидию в Моршанск, так как опасалась репрессий по отношению к себе и своим родным. Там они провели год, пока Наталия Яковлевна искала работу. После ареста брата Наталию Яковлевну уволили с Селигерского туркомбината и нигде не принимали на работу из-за ее статуса «сестры политзаключенного». Наконец, по ее словам, ей помогли «евреи из органов», которые ее пожалели. Она получила работу воспитателя в детском доме в Переделкине (пос. Чоботы). Из Моршанска вернулась Вера Алексевна с сестрой и внучкой Лидией. Наталии Яковлевне выделили для проживания полкомнаты в детском доме (вторую половину за ширмой занимала медсестра), где они жили все вчетвером, затем перебрались в отдельную комнату в общежитии детского дома и, наконец, в отдельный однокомнатный домик площадью 16 кв. м, впритык к сараю со свиньями. О судьбе В. Зазубрина долго ничего не знали, а когда узнали, что он был расстрелян, им сообщили, что приказ о расстреле отдало «очень высокопоставленное лицо».

Когда началась война, детский дом эвакуировали, Наталии Яковлевне предложили тоже уехать, но она отказалась: «Куда я поеду с двумя старушками и ребенком?» Ее оставили комендантом пустого детского дома, отвечать за оставленное имущество. В 1941 г. зимой фронт подошел совсем близко, было слышно канонаду, но немцев остановили под Волоколамском. Зимой 1941—1942 гг. есть было нечего, ходили собирать гнилую мерзлую картошку, которая осталась неубранной, на колхозное поле. Гнилая картошка никому не была нужна, но, если бы их поймали, расстреляли бы на месте. Спасала также козочка, молоко отдавали ребенку (Лидии). В конце 1942—1943 г. в детском доме располагался ансамбль Пограничных <войск> НКВД. Они ездили на фронт с концертами. Все военные музыканты, начиная с директора ансамбля Александра, хорошо относились к Наталии Яковлевне и ее семье. Они приносили ей стирать белье и за это расплачивались хлебом. Лидию брали на концерты и угощали борщом. Когда ансамбль уехал, из эвакуации вернулся детский дом, и Наталия Яковлевна продолжила работать в нем воспитателем.



В конце 40-х умерла Серафима Алексеевна. В 1956 г. Лидия Петровна вышла замуж и уехала в Ригу. Через два года они вместе с мужем и старшей дочерью Татьяной приехали в Переделкино и забрали Наталию Яковлевну и Веру Алексеевну с собой в Ригу, где те остались жить до конца жизни. Вера Алексеевна очень любила мужа Лидии Петровны Эйжена Яновича, с первой минуты, как увидела его и сказала: «Это мой сын...» Эйжен Янович отвечал ей искренней любовью и заботой. Наталия Яковлевна говорила: «Сто грехов прощу Жене за то, как он относился к маме (Вере Алексеевне)». Эйжен Янович заботился также и о Наталии Яковлевне, доставал ей путевки (курсовки) на лечение в Цхалтубо.

Каждый раз, когда Наталия Яковлевна слышала революционные песни, она вспоминала своего брата, их молодость и плакала: «Жалко Володю, как жалко...» Вера Алексеевна умерла в 1961 г. и похоронена в Риге на Вознесенском кладбище. Наталия Яковлевна воспитывала своих внушек Татьяну и Елену. Елене она привила свою любовь к музыке и передала ей свой музыкальный талант. Елена стала музыкантом и преподавателем музыки. Наталия Яковлевна умерла в 1990 г., похоронена в Риге на Вознесенском кладбище.

**Лидия Петровна Зиединя (урожденная Каботова).** Лидия Петровна родилась в 1930 г. в Новосибирске. После ареста В. Зазубрина (июнь 1937 г.) его мать увезла ее в Моршанск, где девочка окончила первый класс, затем, после возвращения в Переделкино, училась в местной средней школе. В начале 50-х поступила в Горный институт. В 1955 г. Лидия познакомилась с Эйженом Яновичем Зиединьшем, который приехал в Москву из Риги на обучение в Железнодорожном институте. (Знакомство произошло в Москве в гостях у Зинаиды Романовны Козловой (Зиединь), которая являлась тетей Эйжена Яновича и работала музыкальным работником в том же детском доме, где воспитателем работала Наталия Яковлевна.) В первый же день знакомства Эйжен проводил Лидию до электрички в Переделкино и попросил познакомить его с ее родителями. Они очень подружились и проводили много времени в прогулках («подмосковные вечера»). Весной 1956 г. Лидия Петровна и Эйжен Янович поженились, в этом же году окончили высшие учебные заведения, получили дипломы инженеров и уехали в Ригу. В 1958 г. у них родилась дочь Татьяна, и в этом же году они забрали Наталию Яковлевну и Веру Алексеевну в Ригу. В 1959 г. родилась дочь Елена, и через год Лидия Петровна устроилась на работу. Она проработала инженером в проектно-конструкторской организации до пенсии. После гибели мужа Лидия Петровна осталась с семьей дочери Елены и воспитывала ее сына, пока на 78-м году жизни не встретила ветерана Великой Отечественной войны, капитана первого ранга Льва Ильича Бойко, за которого вышла замуж и с которым живет по сей день.

**Татьяна Зиединя.** Родилась в 1958 г. В 1980-м окончила биофак Латвийского университета. Работала преподавателем и руководителем проектов по охране природы и окружающей среды. В 1994 г. окончила курс в Полицейской академии, семь лет работала в полиции следователем по особо тяжким преступлениям. В 2002 г. окончила курс предпринимательской деятельности, руководила проектами печатных и онлайн-каталогов по строительным материалам. В данный момент разрабатывает и администрирует различные интернет-сайты. С 2015 г. ведет на «Фейсбуке» страничку Владимира Зазубрина. У нее два взрослых сына — Евгений Гросманис и Владимир Гросманис.

*Подготовила Татьяна Зиединя*



## Пензенские годы Зазубрина

В литературе о В. Я. Зубцове о месте его рождения имеются неоднозначные сведения, и, хотя многие называют местом его рождения Пензу, встречаются и утверждения, что родился он на Тамбовщине. Думается, что документы нашего архива внесут ясность в окончательное решение этого вопроса. В архивном фонде Пензенской духовной консистории в метрической книге Богоявленской церкви г. Пензы за 1895 г. в первой части «О родившихся» имеется метрическая запись о рождении 24 мая (старого стиля) у крестьянина Тамбовской губернии Козловского уезда Якова Николаевича Зубцова и его жены Веры Алексеевны сына Владимира. Семья в Пензе проживала в доме по улице Кузнечный порядок, принадлежавшем ранее Ольге Васильевне Любимовой; в 1895 г. вся усадьба была куплена у нее за три тысячи рублей Иваном Николаевичем Зубцовым (возможно, братом Якова Николаевича). Как следует из архивных документов, усадьба состояла из жилого дома, трех жилых флигелей, хозяйственных построек и сада. Один из этих флигелей и занимала семья Якова Николаевича Зубцова. И Иван, и Яков Зубцовы являлись железнодорожными служащими.

События революции 1905—1907 гг. не обошли стороной Пензу, и, хотя по размаху и организованности рабочее движение Пензенской губернии нельзя было сравнить с событиями в соседних губерниях, начало революции в ней было отмечено довольно крупными волнениями рабочих, интеллигенции и учащейся молодежи. Девятого декабря 1905 г. началась стачка на станции Пенза I, которую возглавили социал-демократ машинист Н. Степанов и телеграфист Г. Морозов. Документы нашего архива свидетельствуют о том, что и отец будущего писателя являлся одним из организаторов этого выступления железнодорожников. Как следует из донесения начальника Пензенского отделения Самарского жандармского управления железных дорог пензенскому губернатору, 9 декабря 1905 г. к нему в дежурную часть обратились члены артели носильщиков багажа с заявлением, что «агент передачи грузов Яков Зубцов, машинист депо Нестер Степанов и телеграфист Григорий Морозов с угрозами склоняли их к забастовке». Учитывая это обстоятельство и то, что указанные лица участвовали и в предыдущих волнениях, они были заключены в тюрьму. Десятого декабря в ответ на арест членов стачкома железнодорожники и примкнувшие к ним солдаты воинских эшелонов общим числом около тысячи человек потребовали освобождения арестованных, начав разоружать жандармов и полицейских; 11 декабря власти были вынуждены освободить арестованных. Стачка продолжалась до 20 декабря 1905 г. К сожалению, о дальнейшем участии Я. Н. Зубцова в революционном движении сведений не обнаружено.

Яков Николаевич, желая дать образование сыну Владимиру, отправляет его на учебу в Пензенское 5-е приходское училище, а в августе 1906 г. обращается с прошением к директору Пензенской 1-й гимназии о допуске Владимира к испытаниям для поступления в гимназию. Выдержав успешно испытания, Владимир зачисляется в первый класс гимназии. Социальный состав учеников был довольно разнообразный — это дети дворян, купцов, мещан, церковно- и священнослужителей. Детей крестьянского сословия, к которому принадлежал Владимир, в классе было немного. Интересен тот факт, что одноклассником Владимира являлся Роман Борисович Гуль, будущий известный писатель-эмигрант.

ФАМИЛИИ И ИМЕНА УЧЕНИКОВЪ.		У С П Ъ Х И.																								
		Повеленіе.	Прислание.	Выпаданіе.	Заполн. Бониф.	Русскій языкъ.	Логика.	Латинскій языкъ.	Греческій языкъ.	Арифметика.	Алгебра.	Геометрія.	Тригонометрія.	Физика.	Математическая географія. Зем. учен.	Исторія.	Географія.	Нѣмецкій языкъ.	Французскій яв.	Числосчисленіе.	Рисованіе.	Гимнастика.	Число преподаваемыхъ уроковъ.	№ въ классѣ.		
<i>Зубцовъ</i> <i>Владимиръ</i>	I ч.	5	3	3	4	2			3					4	4	3	3	4	3		8					
	II ч.	5	4	3	5	2			3					5	4	4	3	4	5		9					
	III ч.	5	3	3	3	3			2					4	4	2	3	-	-		14					
	IV ч.	5	3	3	4	2			2					5	4	4	4	-	-		-					
	Средній выводъ.	5	3	3	4	2			2					5	4	3	3				31.					
	Остав. на 2-й годъ въ кл.	Испытанія:																								
		Письмен.																								
		Устный.																								
		Провѣроч.																								
		Посѣвъ вакаціи.																								
		Дополн.		2,3		2,3																				
		Средній выводъ.																								
		Общій выводъ.		3		3																				

**Сведения об успеваемости Владимира Зубцова (Зазубрина)  
в Пензенской 1-й гимназии (фрагмент ведомости).**

Государственный архив Пензенской области

Вот как Р. Б. Гуль описывает в одном из своих романов гимназию: «Здание пензенской гимназии необычайно обширно, мрачно, бывший дворянский пансион Николаевской эпохи. Гулкие коридоры, грандиозные классы с громадными окнами в сад, портреты царей в актовом зале, где столы накрыты зеленым сукном с позументом. Обучались тут наукам — неистовый Виссарион Белинский, террорист Каракозов с товарищами Ишутиным, Загibalовым, Ермоловым, дворяне-революционеры Войнаральский, Теплов. Стройными рядами маршировали на молитву гимназисты в серых полувоенных куртках; молилась — пела хором — вся гимназия; на правом фланге второклассников стоит высокий, вихлястый темный шатен, красивый мальчик, под ежика, серые странно-разрезанные, чуть навывкате глаза, в фигуре что-то неуравновешенное, но сильное и упорное. Это — Тухачевский». Будущий советский маршал учился в гимназии двумя классами старше Романа Гуля и Владимира Зубцова.

Особым прилежанием в учебе Владимир не отличался, в следующие классы переводился при условии осенней переэкзаменовки как минимум по двум предметам.

Примерно в 1907 г. семья переезжает в Сызрань (по мнению большинства авторов биографий, отца высылают из Пензы за революционную деятельность), а Владимир продолжает учебу в гимназии, выезжая к семье только на каникулы, о чем свидетельствуют записи в журналах гимназии. В отсутствие родительского надзора интерес у Владимира к учебе падает, отметки по всем предметам становятся значительно хуже и, хотя его поведение оценивают на «отлично», в журналах появляются замечания: «наказан за грубую шалость — облил детей прислуги чернилами», «без всяких оснований отпрашивался с последних уроков, а часто и уходил без спросу» и т. п. Четырнадцатого января 1909 г. Яков Николаевич Зубцов обращается к директору Пензенской 1-й гимназии с письмом

следующего содержания: «Не имея в настоящее время средств к продолжению воспитания своего сына отдельно от себя в другом городе, я поставлен в необходимость покорнейше просить распоряжения Вашего Высочества об увольнении сына моего Владимира Зубцова из III класса вверенной Вам гимназии, при чем благоволите не отказать в выдаче ему надлежащего свидетельства о прохождении курса, с удостоверением того обстоятельства, что он уволен в текущем месяце по моему прошению из III класса гимназии по неимению средств к продолжению воспитания». Решением педсовета гимназии от 4 февраля 1909 г. Зубцов Владимир из гимназии был отчислен. В выданном ему свидетельстве об успехах преобладают в основном удовлетворительные отметки. Так закончился пензенский период жизни Владимира Яковлевича Зубцова.

*Татьяна Евневич,*

*директор Государственного архива  
Пензенской области в 1991—2016 гг.*



### *Новосибирскому государственному краеведческому музею — 100 лет*

Наталья МИНИНА

## **УЛИЦЫ НОВО-НИКОЛАЕВСКА: ФОРМИРОВАНИЕ И ТОПОНИМИКА**

В Новосибирском краеведческом музее примерно десять лет назад была разработана программа комплектования фондов, и в ее рамках предполагалось пополнение коллекции планов города, которая в части, относящейся к первым годам существования Ново-Николаевска (будущего Новосибирска), оставляла желать лучшего: в наличии имелись только планы 1906, 1909 и 1912 гг., причем содержание последних было очень схоже, несмотря на разницу в технике исполнения.

В то же время планов советского Новосибирска (в т. ч. и довоенного периода) существовало гораздо больше (1924, 1925, 1928, 1931, 1932, 1935 гг.), но при сравнении их с дореволюционными становилось ясно, что историческое ядро города, сложившееся почти сразу после основания и демонстрирующее завидную стойкость даже сейчас, развивалось достаточно последовательно. В связи с этим нам показалось важным детально изучить процесс формирования исторического центра города, начиная с появления самых первых улиц.

Нужно отметить, что коллекция городских планов комплектовалась в виде электронных копий оригинальных документов, хранящихся в российских архивах, и это растянулось на годы: последний экспонат (из фондов РГИА, Санкт-Петербург) принят музеем в 2017 г. — план земель, полученных городом на выкуп по указу императора Николая II от 18 февраля 1907 г. Документ наглядно показывает, что площадь, занимаемая городом, составляла почти 80 кв. км, а не 15 кв. км, как писали советские историки.

Ранее целый комплект первых планов Ново-Николаевска (начиная с 1893 г.) был обнаружен в Государственном архиве Алтайского края (в фонде Чертежной Алтайского округа), а в других фондах этого же архива со временем нашлась и переписка, относящаяся к выявленным картографическим материалам. Весь этот комплекс документов позволяет довольно подробно разобраться в градостроительной истории Ново-Николаевска, в том числе — понять закономерности развития его улиц и площадей, а также городской топонимики.

...История улиц — прикладная часть краеведения, но она просто необходима, если ты музейный экскурсовод или экскурсовод по городу. И поверьте, никакие придуманные байки не смогут заменить рассказ о подлинных городских событиях, наполненных самыми неожиданными поворотами!

Общеизвестно, что наш город появился буквально из ниоткуда, на месте бора, который, правда, не был вековым — в 1896 г. его обследовала лесная съемочная партия, выяснившая, что почти во всем Николаевском бору растет исключительно сосновый молодняк, что объясняется пожаром, уничтожившим в начале XIX в. практически весь ранее существовавший лесной массив. Тем не менее в период строительства Транссиба здесь велась заготовка древесины на шпалы и другие нужды железной дороги, поэтому к 1897 г. бор так проредили, что в Ново-Николаевском поселке дома строили из осины.

Кстати, историческая часть города своей конфигурацией повторила очертания Николаевского бора, заняв его территорию в междуречье Малой Ельцовки и Каменки, образовав три городских части (района) — Центральную, Вокзальную и Закаменскую.

### Первые улицы и первый план города

Ново-Николаевск рос из двух точек — от станции Обь и от устья Каменки, где шло строительство моста, рядом с которым появилась самовольная жилая застройка многочисленных рабочих и разночинцев — Кривошековский поселок, или деревня Гусевка, как ее называли сами местные жители. Чтобы прекратить эту хаотичную застройку, грозившую в том числе пожаром окружавшему ее бору, чиновники Алтайского округа в срочном порядке летом 1894 г. сделали план местности, а поселившимся самовольно предложили «переставить свои дома» в соответствии с этим планом — так появились протянувшиеся вдоль Оби первые улицы Закаменской части: Трактовая, Инская, Зыряновская. На правом берегу Каменки в будущей Центральной части города запланировали Базарную площадь, а в северном направлении вдоль насыпи железной дороги были разбиты улицы Кольванская, Каинская и Вознесенская.

Растущий поселок доставлял немало хлопот чиновникам Алтайского округа, однако у них нашлось время на споры о том, как оптимально расположить улицы. Начальник Алтайского округа В. К. Болдырев командировал для составления плана чиновника разных поручений М. Н. Сергеева, которому помогал кольванский межевщик Пеньковский, произведший съемки самовольно застроенной местности и распланировавший ее, спроектировав улицы, переулки и торговую площадь в центре поселка, причем в каждом квартале предполагалось до 20 усадеб по 250 кв. сажен каждая. Авторы проекта считали, что поселок представляет собой единое пространство, разбитое рекой Каменкой надвое, поэтому улицы Закаменки на плане являлись лишь продолжением улиц правого берега. 19 июля 1894 г. М. Н. Сергеев отчитался о выполненной работе.

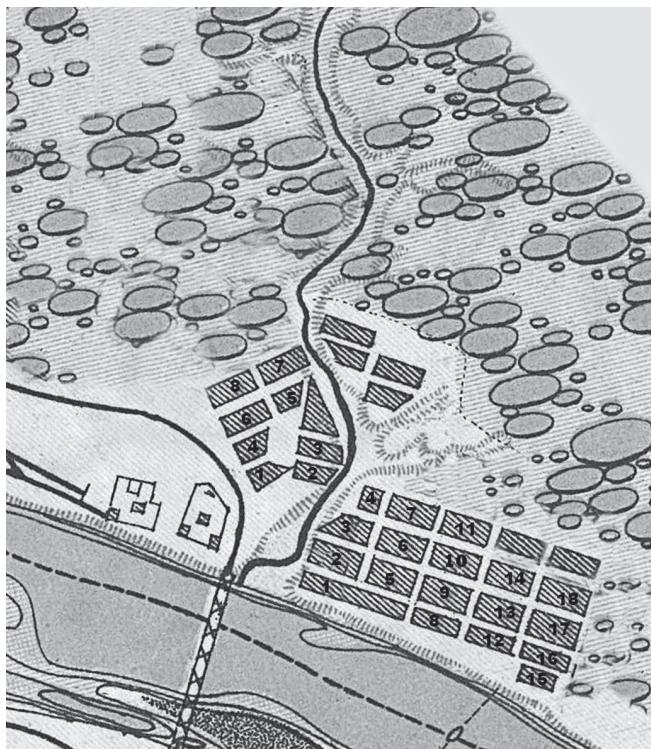
Но чиновник К. И. Бородухо, отвечавший за сбор арендной платы в поселке, увидел в такой планировке недостатки — по его мнению, улицы Закаменки должны идти вдоль Оби, а не быть продолжением улиц правого берега. В сентябре 1894 г. окончательный план поселка был утвержден начальником округа В. К. Болдыревым и стал основой для территориального развития будущего города, причем, как мы видим по сегодняшним улицам, замечания К. И. Бородухо были учтены.





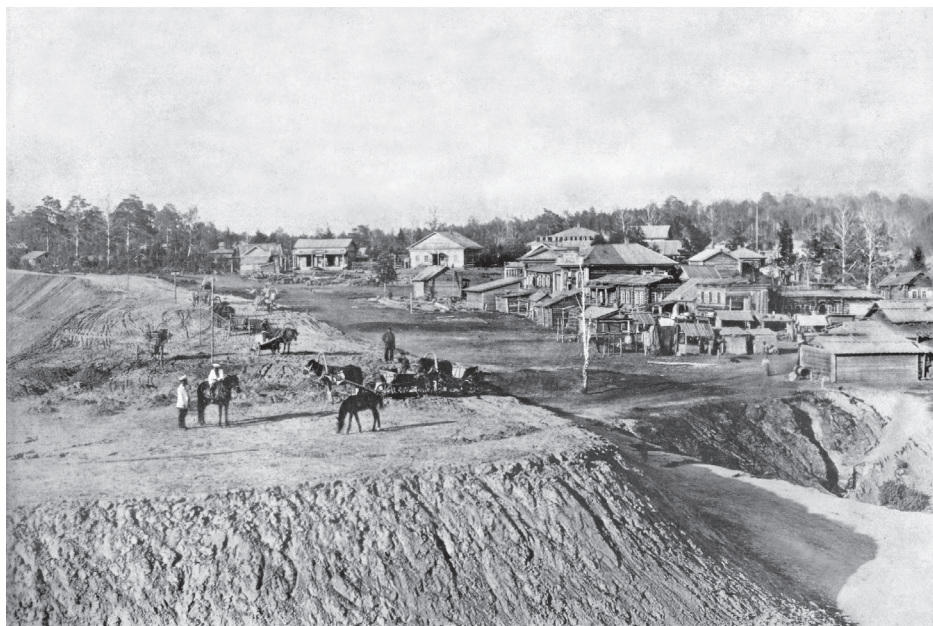
...Город появился на кабинетской земле, планировали его кабинетские чиновники — и это отразилось в названиях первых улиц, особенно закаменских (разумеется, сначала для обозначения места жительства использовали просто номера квартала и участка, а названия улиц в документах впервые появляются лишь в 1896 г.). Сейчас в краеведческой литературе часто встречаются утверждения, что улицы Зырянская, Змеиногорская, Павловская (ныне — Сакко и Ванцетти), Сузунская (ныне — Восход), Локтевская (ныне — Бориса Богаткова), Гурьевская, Гавриловская (ныне — Добролюбова) названы в честь родных мест первых поселившихся там жителей, но это не так. Исследователи горнопромышленной истории Сибири сразу увидят в них наименования заводских поселков и рудников Алтайского горного округа — огромной и богатой территории Южной Сибири, которая с 1747 г. была во владении русских императоров, а управлялась специальным органом, Кабинетом Его Величества, отсюда и название улицы — Кабинетская (сейчас — Советская). К моменту строительства Транссибирской железнодорожной магистрали горнопромышленный комплекс Алтайского округа окончательно пришел в упадок — один за другим закрывались заводы и рудники, некоторые продавались в частные руки, но Ново-Николаевск, появившийся уже в другую, капиталистическую, эпоху, не мог сразу порвать с тем, что было раньше, — и эта «сибирская старина» вошла в названия его улиц.

А их было много, их необходимо было наименовывать — вот так и появился первый ряд названий в Закаменке! Собственно, эти улицы фиксируют границу заселения данной части города по плану 1894 г. Кстати, в Алтайском крае до сих пор есть село Локти, небольшой городок Павловск, где раньше был сереброплавильный завод, в Кемеровской области — город Гурьевск, основанный как поселок при сереброплавильном заводе, а в нашей области — знаменитый своим монетным двором заводской поселок Сузун...



Первый план города,  
выполненный  
в 1894 г.  
(реконструкция  
автора)





**Вид на первую Базарную площадь и магазин Е. А. Жернакова с насыпи, ведущей с железнодорожного моста, 1894 г.**

В рамках первоначальной планировки не удалось реализовать лишь разбивку Базарной площади. Ее место самими торговцами было определено недалеко от Каменки, между самыми первыми самочинно появившимися улицами, чью хаотичную структуру видно и сейчас, — Кривошековской и Мостовой, где на тот момент помимо купцов обосновались прибывшие на заработки крестьяне из села Кривошеково, которых выселить с насиженных мест не удалось, поэтому площадь для торговли оказалась мала.

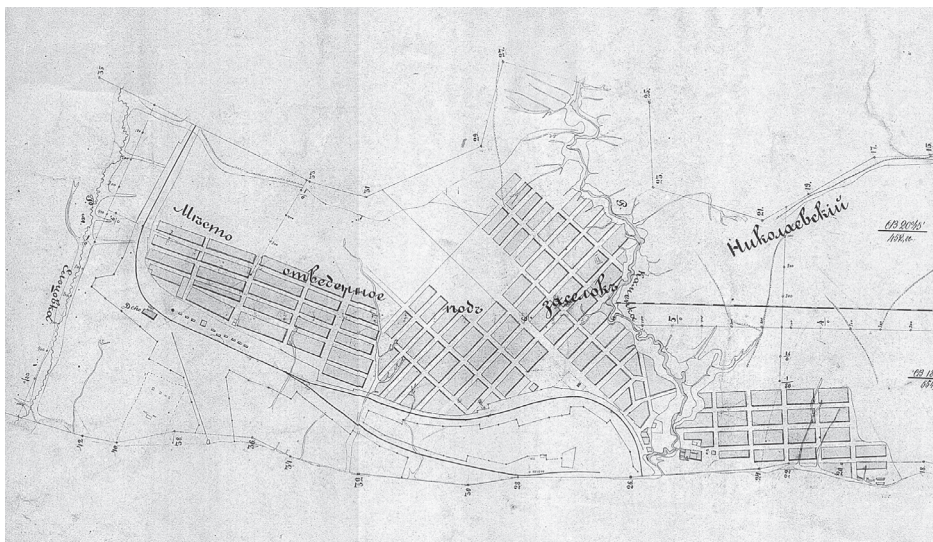
Осенью 1894 г. колыванские купцы Евграф Жернаков, Петр Кривцов и другие в телеграмме на имя начальника Алтайского округа В. К. Болдырева просили отвести под базар более удобное место — и весной 1895 г. на новой Базарной площади, еще не очищенной от пней и деревьев, с торгов уже сдавались участки под лавки и дома. Эта новая площадь находилась чуть севернее прежней (сейчас там Новосибирский государственный художественный музей и Городская детская клиническая больница скорой помощи № 3).

### **План Кузнецова**

Вторым этапом развития уличной сети стала планировка весны — лета 1896 г.; в это время на территориях Николаевской, Бердской и Чемской лесных дач шли лесоустроительные работы. Поселок Ново-Николаевский занимал часть Николаевской лесной дачи и в ходе лесоустройства был из нее выделен: «под расчистку для селитьбы» руководство Алтайского округа отвело 1317,5 десятин (более 13 кв. км).

В ходе лесоустройства производителем работ лесной съемочной партии межешником Г. С. Кузнецовым был разбит и новый поселковый план (т. н. «план Кузнецова»), который сохранился в Государственном архиве Алтайского края под названием «Планшет № 1 Николаевской дачи Томского имения Алтайско-





**План Ново-Николаевского поселка на планшете Николаевской дачи  
Томского имения Алтайского округа. Кузнецов, Вдовин, 1896 г.**

го округа». Как мы видим, само название еще раз напоминает о том, что город наш появился в лесу...

Межевщик Г. С. Кузнецов, окончивший Барнаульское окружное училище и ставший в 1899 г. топографом II разряда, был, как видно, человеком творческим — его проект имел три новых планировочных решения: Николаевский проспект, еще одна базарная площадь (с вариантами названия «Ново-Базарная» и «Ярмарочная») и планировка жилых (гражданских) кварталов в Вокзальной части, хотя в остальном документ был логичным продолжением плана 1894 г. Главное же значение «плана Кузнецова» в том, что он объединил станцию Обь и поселок у Каменки (до этого существовавшие почти автономно) в один населенный пункт, который уже официально тогда назывался поселком Ново-Николаевским.

Новая базарная площадь отличалась от двух предыдущих торговых территорий выдающимися размерами — восемь жилых кварталов с юга на север от Тобизеновской (Максима Горького) до Семипалатинской (Орджоникидзе) улицы и с запада на восток от Кабинетской (Советской) до Александровской (Серебренниковской). К сожалению, у нас нет точных данных, почему межевщик Кузнецов предназначил под торговые ряды такую громадную площадь, но в качестве предположения отметим, что это может быть связано с витавшей в те годы в кабинетских кругах идеей переноса Ирбитской ярмарки в Ново-Николаевск, ведь тогда еще никто не предполагал, что с постройкой Транссибирской магистрали временная ярмарочная торговля почти сойдет на нет, уступив место торговле постоянной. Впрочем, город никогда не испытывал неловкости за большой размер своей главной площади — продавцов и покупателей всегда хватало, хотя торговля здесь официально появилась лишь через несколько лет, после того как в 1900 г. от лица жителей поселка Н. П. Литвинов ходатайствовал перед томским губернатором об открытии Никольской ярмарки. Ходатайство было удовлетворено, и в том же году ярмарка прошла в первый раз.

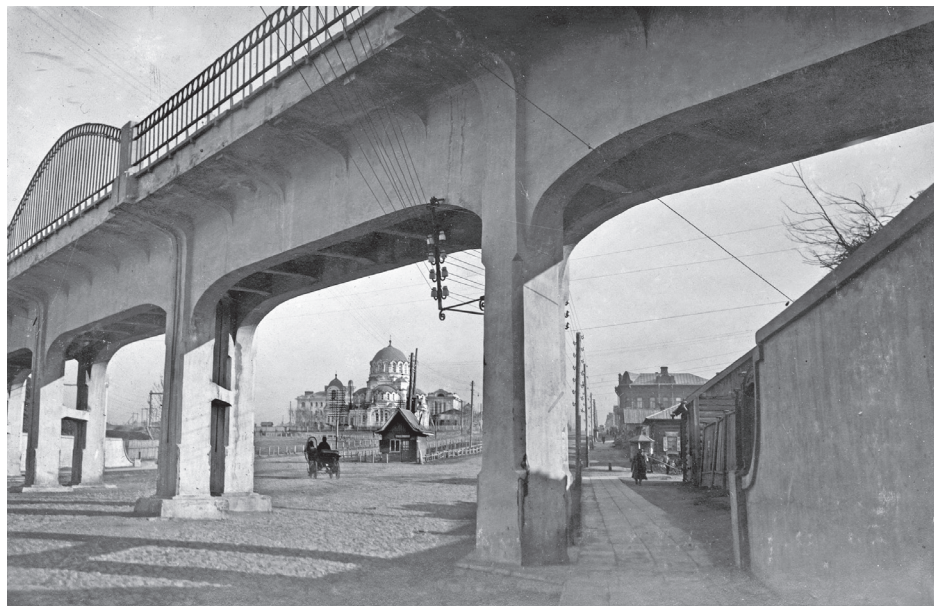


## Николаевский проспект

Реализация «плана Кузнецова» окутана множеством легенд, причина появления которых ясна: о разработке этого проекта практически нет документов. В краеведческой литературе утверждается, что руководил планировкой в 1896 г. заведующий Чертежной Алтайского округа А. А. Лесневский, однако в Государственном архиве Алтайского края обнаружен доклад самого Лесневского, где говорится, что делопроизводства или распоряжений относительно выполненного Кузнецовым плана в Чертежной нет, — значит, план Ново-Николаевского поселка был сделан межевщиком на свой страх и риск. Известный историк архитектуры Сибири С. Н. Баландин критиковал авторов плана за низкую профессиональную подготовку и исполнение; тем не менее приходится признать, что планировка вышла удачной, хотя межевщики были поставлены перед необходимостью увязывать ее с уже существующей железнодорожной линией и непростым ландшафтом. Очевидно, что в расчет брались уклоны местности, и линию проспекта наметили от лога Каменки по точкам максимального подъема междуречья Каменки и Малой Ельцовки. Интересно, что направление проспекта почти совпало с меридианом — отклонение всего семь градусов.

Реализацию «плана Кузнецова» историки часто приписывают «первому старосте» Илье Титлянову — якобы он организовал рубку просеки под Николаевский проспект (ныне — Красный проспект) и другие улицы, но в подтверждение не приводится ни одного источника. В документах на имя томского губернатора, написанных самим Титляновым с целью восстановления в должности старосты, о просеке не упоминается вовсе, хотя очень подробно описана его деятельность и различные заслуги.

Как уже было сказано, поселком вплоть до 1903 г. управляло кабинетское ведомство, а именно — управляющий Томским имением. Эта должность была учреждена весной 1896 г., и первым управляющим стал В. С. Шубенко — вот, соответственно, он и следил за соблюдением планировки и своевременной оплатой аренды усадеб.



Вид на Николаевский проспект от виадука Алтайской железной дороги.  
Д. П. Багаев, 1917 г.



...Николаевский проспект всегда поражал своими масштабами: 58 метров в ширину — это больше, чем Невский проспект в Санкт-Петербурге, тогдашней столице. Но для чего в небольшом сибирском поселке такой размах? Документы сохранили много фактов, подтверждающих, что некоторые крупные столичные чиновники верили в перспективу быстрого превращения этого поселка в крупный торгово-промышленный центр Сибири.

Есть и еще одно любопытное объяснение — старожил Михаил Можаров, служивший приказчиком у купца Евграфа Жернакова, вспоминал: «Составители плана поселка, отводя место для главной улицы (проспекта) в 25 сажен ширины, имели в виду устройство на этой улице сквера, поэтому при расчистке улицы по середине ее сосны и березы оставались не вырубленными». Правда, далее Можаров добавляет, что задумке межевщиков не суждено было исполниться: жители не берегли деревья, и скоро они были вырублены...

Довольно распространенным является предположение о том, что Николаевский проспект появился на месте «магистрального направления» на Томск, однако на известном плане села Кривошеково 1893 г. нанесена единственная на правом берегу проселочная дорога — и не в Томск, а в деревню Каменку. С дорогами в этой местности вообще было все очень плохо, даже в село Бердское новониколаевцы добирались по левому берегу; недаром начальник Алтайского округа назвал Ново-Николаевск «возникшим в лесных дебрях обширного Алтая»...

Пожалуй, самая известная легенда о Красном проспекте гласит, что он возник на месте просеки в бору, фотографию которой любят публиковать во всех изданиях — научных, популярных, подарочных и официальных. Мы прежде всего хотим внести историографическую ясность в рождение этой легенды — впервые фотография просеки появилась в очень известном альбоме с видами Ново-Николаевска, изданном в 1913 г., причем в аннотации нет ни малейшего указания на Николаевский проспект: «Городской бор. (Общий вид месторасположения города в 1893 г.) Просека». Обратим внимание на дату — 1893 г., и если она указана верно, то тогда ни о каком проспекте еще и речи не было, ведь его наметили лишь по «плану Кузнецова» (1896 г.).

Да и «отцы города», издавшие альбом, не делали привязки к конкретному месту, хотя, по праву гордясь Ново-Николаевском, всегда подчеркивали, что еще недавно на этом месте не было ничего, — но вот проходит два десятка лет, и на страницах газеты «Советская Сибирь» появляется знакомое нам утверждение: «Просека в бору на месте Красного проспекта»!

Вообще, в 1893 г. на территории будущего города должны были находиться как минимум две, а то и три просеки. Во-первых, для строительства железной дороги от моста до станции (а это как раз 1893 г.) необходимо было рубить лес, а во-вторых, такая же вырубка должна была производиться и в восточном (на Сокур) направлении. И еще одна просека — для прокладки водопровода от реки Обь до станции Обь, причем как раз эта просека (вид от реки) хорошо видна на снимке Рудольфа Шалля, известного фотографа и последнего городского головы, приехавшего в поселок в 1897 г.

О просеках в бору можно спорить бесконечно, но лучше попытаться понять «технологии» разбивки улиц — в архиве Алтайского края сохранилась переписка чиновников, вносящая ясность в то, как выглядел процесс расчистки «жизненного пространства» первыми жителями Ново-Николаевска.

Вопрос, как быть с лесом, растущим на отведенных усадьбах и будущих улицах, возник еще летом 1894 г., когда приступили к планировке поселка.

Чиновник К. И. Бородухо тогда от окружного начальства получил ответ: не пытаться сохранить лес там, где поселились жители, однако строго смотреть, чтобы лишнего не занимали и где попало не рубили. Более конкретные указания давал окружной лесничий: «Оказавшийся на участках под устройство домов, улиц и проулков лес следует оценивать... по сортиментам, то есть, на что годен лес (бревно, жерди, дрова) и взыскивать с арендаторов стоимость его по таксе 1894 года. Арендатор участка должен уплатить и за лес против его участка до середины улицы или проулка. На вырубку леса нужно выдавать билеты. Если арендатор откажется от леса и уплаты лесных пошлин, то он отпускается желающим по таксе и крестьянам на обустройство усадеб бесплатно».

Как видим, все происходило в соответствии со здравым смыслом — рубка леса на усадьбе, как и на улице, была частным делом застройщика. Но подчеркнем еще раз: использование леса в Алтайском округе — важный финансовый вопрос, и без внимания чиновников он остаться не мог. И при всем этом в обширной переписке того времени чиновники ни разу не упоминают о рубках просек для улиц...

Николаевский проспект, как главная улица, имел очень интересную особенность: на его оси располагались три базарные площади, образовавшиеся буквально за несколько лет, и, пожалуй, вряд ли можно найти более яркий символ торгового происхождения нашего города. Интересно и то, что за очень короткий период две торговые площади исчезли — о судьбе самой первой мы уже упомянули, а вот история другой, Старо-Базарной, в Новосибирске до сих пор не очень известна.

...Старо-Базарная площадь формировалась в общеевропейских традициях — рядом с ней возвели собор Александра Невского, найдя удобной для этого южную часть площади, откуда открывался прекрасный вид на Обь, а со временем усадьбы вокруг были раскуплены крупными купцами — Жернаковым, Маштаковым, Суриковым, Собенниковым, которые, не скупясь, строили каменные дома, украшающие Новосибирск до сих пор. В центре площади были устроены, как водится, торговые ряды — мясной, мелочный, щепной (мелкий столярный товар, в том числе деревянная посуда), мануфактурный...

Но город развивался, его общественные пространства постепенно преобразовывались... На втором десятилетии жизни Ново-Николаевска городское самоуправление объявило, что главной задачей является развитие школьного образования — в 1908 г., решив строить здание реального училища, место для него выбрали в центре, на Старо-Базарной площади. Были у этого решения противники среди депутатов, имевших там коммерческие интересы, но городской голова Владимир Жернаков смог убедить несогласных, заявив, что Старо-Базарная площадь утратила свое торговое значение, а такой дорогой объект, как реальное училище, несомненно станет украшением Ново-Николаевска, поэтому должен находиться в центре.

Для строительства требовалось учесть формальности — по Городовому положению необходимо было включить территорию Старо-Базарной площади в план усадебных земель города, то есть, выражаясь современным канцеляритом, перевести в другую категорию земель. Такой перевод томский губернатор утвердил весной 1910 г., и в том же году началось возведение здания реального училища по проекту гражданского инженера А. Д. Крячкова. После этого Старо-Базарная площадь как по закону, так и фактически прекратила свое существование.

## Именные улицы

Николаевский проспект стал главной планировочной осью, вокруг которой формировалась Центральная часть города — здесь по «плану Кузнецова» жилые кварталы разбивались до улицы Семипалатинской (ныне — Орджоникидзе), а по мере роста населения в северном направлении размечались новые улицы вплоть до линии Транссибирской магистрали. Если к маю 1897 г. линия застройки в Центральной части дошла лишь до улицы Тобизеновской, то к осени 1898 г. эта линия отодвинулась уже за улицу Стевенскую (ныне — Трудовая). Это значит, что в поселке, несмотря на окончание строительства моста, бурный рост населения не прекратился.

В Российском государственном историческом архиве (Санкт-Петербург) обнаружен любопытный документ, составленный осенью 1898 г., — реестр жителей, желающих заключить договор аренды на 36 лет на занимаемую жилую усадьбу в Ново-Николаевске. В этом списке, кроме номеров квартала и участка, указаны улицы: Гудимовская, Болдыревская, Асинкритовская, Бийская, Барнаульская, Стевенская, Ядринцевская, Потанинская — в Центральной части; Михайловская, Вокзальная, Томская, Красноярская — в Вокзальной части. Судя по данному документу, улицы далее Красноярской оставались безымянными: в квартале, который выходит на улицу Иркутскую, стоит пометка: «нет еще названия улицы». Кроме того, в списке присутствуют старые, появившиеся еще по плану 1894 г., улицы — Кривошековская, Мостовая, Вознесенская, Спасская, Каинская, Змеиногорская, Инская.

Конечно, это далеко не полный список существовавших на тот момент улиц (в реестре всего лишь 27 жителей), но документ подтверждает предположение о том, что в период реализации «плана Кузнецова» рождается такая топонимическая традиция Ново-Николаевска, как именные или мемориальные улицы. Главные примеры этой традиции — Николаевский проспект, названный в честь императора Николая II, и параллельная ему улица Александровская, увековечивающая память недавно умершего Александра III. Целый ряд улиц, пересекающих Николаевский проспект, напоминает нам о чиновниках кабинетского ведомства (Воронцовская, Гудимовская, Болдыревская, Стевенская, Журинская, Гуляевская, Вагановская) и о томских губернаторах Германе Августовиче Тобизене и Асинкрите Асинкритовиче Ломачевском (Тобизеновская, Асинкритовская), при которых началась бурная жизнь Ново-Николаевского поселка, во многом зависевшая от их благосклонности. Соответственно, в Вокзальной части две основные улицы — Межениновская (ныне — Челюскинцев) и Михайловская (ныне — Ленина) названы в честь видных русских инженеров, начальников строительства Средне-Сибирской и Западно-Сибирской железных дорог — Меженинова Николая Павловича и Михайловского Константина Яковлевича.

Но вернемся к улицам, получившим имена кабинетских чиновников, — из них только Журинская была названа в память о начальнике Алтайского округа Н. И. Журине, тогда как остальные получили имена здравствовавших на тот момент именитых сановников, например, графа И. И. Воронцова-Дашкова, министра императорского двора, или чиновников рангом поменьше (В. К. Болдырев, П. К. Гудима-Левкович и А. Х. Стевен), «отметившихся» реальными делами в городе и на карте. Так, управляющий Кабинета П. К. Гудима-Левкович был в Ново-Николаевске в 1895 и 1898 гг. — по его инициативе поселок получил







название в честь молодого монарха, а в поездке летом 1898 г. Гудиму-Левковича сопровождал А. Х. Стевен, начальник кабинетского земельно-заводского отдела, через который решались земельные и арендные вопросы, напрямую влиявшие на будущее нашего города; В. К. Болдырев, будучи начальником Алтайского округа, немало сделал для поселка как в период его зарождения, так и позже, находясь на посту заведующего земельно-заводским отделом Кабинета.

Был у новониколаевцев и весомый прагматичный повод для чествования кабинетского начальства посредством названия улиц. Дело в том, что в конце 1897 г. арендная ставка на усадьбы повысилась (2,5 руб. вместо 1 руб.), кроме того, в обязательном порядке требовалось заключить письменный договор аренды на занятую усадьбу, и если такого договора не было заключено ранее, то он заключался сейчас — но уже по новой ставке.

Поскольку многие жили без всяких договоров, надеясь на авось или проживая в поселке временно, и платить повышенную аренду не хотели, то пошли на хитрость: выбрали ходатаев, которые слезно попросили П. К. Гудиму-Левковича, бывшего в это время проездом в Ново-Николаевске, оставить прежнюю аренду, ссылаясь на то, что всегда платили один рубль за усадьбу, а договор не заключили по вине управляющего Томским имением В. С. Шубенко, так как у него не было бланков. Гудима-Левкович явно благоволил новониколаевцам — пообещал разобраться, если они составят список арендаторов, «обиженных» Шубенко. Список составили — в нем оказалось 327 человек!

Но улицы молодого Ново-Николаевска носили не только имена чиновников — довольно неожиданно видеть рядом с этими последними Потанинскую и Ядринцевскую, ведь Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, пользовавшиеся среди образованных людей Сибири непререкаемым авторитетом, не всегда демонстрировали лояльность власти. Однако, как мы видим, власть не мешала увековечивать их имена в названиях улиц молодого города.

А по соседству с Потанинской находилась улица Гуляевская, названная в честь С. И. Гуляева, известного в то время историка и этнографа, исследователя Алтая. Интересно, что, помимо своей научной деятельности, Гуляев также избрал такую обывательскую вещь, как специальная черная краска для популярных тогда овчинных шуб, называемых «барнаулками».

В известной книге «Имя на карте города» сообщается, что улица Вагановская (Фрунзе) — память о балерине Агриппине Вагановой, получившей известность до революции, а затем ставшей народной артисткой СССР, но это не укладывается ни в одну топонимическую традицию города. На наш взгляд, Вагановская названа в честь А. А. Ваганова, чиновника Алтайского округа, помощника Н. И. Журина, — ведь неслучайно она и находится-то рядом с улицей Журинской.

В 1910-е гг. в Ново-Николаевске переименовывают еще две улицы: Трактовую — в Будаговскую (за огромные заслуги Г. М. Будагова перед Ново-Николаевском) и Алтайскую — в Гондатти (в честь томского губернатора Н. Л. Гондатти, оказавшего неоценимую помощь в ликвидации последствий ново-николаевского пожара 1909 г.). Кстати, бывшая Гондатти — это нынешняя Урицкого.

Историки отмечают, что ни в одном городе Сибири нет и не было такого количества «именных» улиц, как в Ново-Николаевске...



## Игра «в города»

Одновременно с практикой мемориальных названий в Ново-Николаевске возникла и другая традиция — нарекать улицы в честь сибирских городов — соседей, близких и дальних: Барнаульская, Бийская, Алтайская, Кузнецкая (Кузнецк, который потом был Сталинском, а ныне — Новокузнецк), Семипалатинская, Омская, Томская, Красноярская, Иркутская, Енисейская, Бурлинская, Нерчинская, Нарымская, Обдорская... Ново-Николаевск очень быстро рос, улицы частенько заселялись быстрее, чем получали названия, а названий нужно было много, поэтому своеобразная административная игра «в города» здесь пользовалась популярностью.

Летом 1908 г. городское самоуправление одним постановлением наименовало сразу 37 улиц, поддержав наметившуюся традицию; правда, теперь масштаб стал всероссийским — в Закаменке появились Казанская, Самарская, Саратовская, Нижегородская, Московская, Петербургская, а в Вокзальной части — Сахалинский переулочек и улица Туруханская...

Также в этом постановлении вновь обратились и к мемориальным названиям, в результате чего одномоментно возникла 21 «писательская» улица, почти все из которых до сих пор присутствуют на карте Новосибирска: Ломоносова, Державина, Крылова, Карамзина, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Достоевского, Жуковского, Кольцова, Писарева — в Центральной части, а в Закаменской — Шевченко, Толстого, Чехова, Тургенева, Белинского, Лескова, Короленко, Никитина и Грибоедова. Этот почин местная газета «Обь» назвала «вечным памятником русским писателям». Отметим, кстати, что из всего вышеуказанного ряда позднее была переименована только улица Жуковского, носящая сейчас имя пролетарского поэта Демьяна Бедного.

По этому же постановлению в Закаменской части появилась улица художника Маковского, а в центре — улица Ермака, что, очевидно, было инициативой представителей местной интеллигенции, еще в 1897 г. объединившихся для создания «Общества попечения о народном образовании», но получивших от губернатора отказ.

При подготовке документа городские депутаты следовали и самой простой логике: так, выходящая на берег Оби улица стала Береговой; Бердской улицей названа самая южная (а значит, самая близкая к селу Бердское) улица на границе города и земель деревни Усть-Инской, а самая удаленная улица в Закаменке — Кирпичной, поскольку рядом находились кирпичные заводы, обычно называвшиеся тогда «кирпичными сараями»; там же, в Закаменке, появились улицы Садовая и Телеграфная (сейчас — Кирова), а в Центральной части — Граничная (крайняя на тот момент, сейчас — Ольги Жилиной), в Вокзальной части — Мочищенская, как самая близкая к деревне Мочище.

Происхождение названий некоторых именных улиц вызывает вопросы — например, Владимировская. Есть мнение, что эту улицу, расположенную за железнодорожным вокзалом и путями, называли в честь инженера путей сообщения Владимира Жандра, но в советское время в книге «Улицы расскажут вам...» сообщалось: «Владимировская — улица ссыльных. Тесной и неприглядной была в свое время Владимировская улица с ее казармами для солдат железнодорожного батальона, с ее бараками, кухнями, жителями — в основном ссыльными, пришедшими сюда по Владимирке». Интересно и то, что на плане станции Обь



**Контора Санкт-Петербургского транспортного  
и страхового агентства «Надежда». Р. С. Шалль, 1898 г.**

улица подписана как «Владимирская», а значит, в советские годы название по какой-то причине было изменено.

Что же касается В. К. Жандра, то он был назначен начальником 1-го участка Средне-Сибирской железной дороги в 1896 г., тогда как в основном комплекс станции Обь был построен под руководством другого инженера, начальника 1-й дистанции В. С. Королева. Можно предполагать, что Жандр сделал немало для благоустройства улицы, чем и заслужил наименование ее в свою честь.

Очевидно, что Владимировская (Владимирская) возникла в ходе строительства комплекса станции Обь — на плане предварительного отчуждения земли для железной дороги (до 1897 г.) контуры улицы просматриваются в линии «временной дороги для доставки строительных материалов», возле которой возведены «временные постройки». Эта «временная дорога» вела к железнодорожной станции от берега Оби, где была устроена пристань для приема грузов и строительных материалов.

Как в любом городе, в Ново-Николаевске для улиц выбирали и естественные названия, отражавшие их географические особенности или символизировавшие объекты, которые на них находились. Например, в Вокзальной части была улица Надеждинская (ныне — Федора Ивачева), унаследовавшая название от конторы Санкт-Петербургской транспортно-страховой компании «Надежда», которая обосновалась здесь не позднее 1897 г.

Переселенческая улица (ныне — улица 1905 года) получила название в связи с тем, что находилась в створе переселенческого пункта, открытого возле станции Обь в 1896 г., а в центре города и сейчас есть улица Каменская, получившая имя от легендарной речки Каменки. По территории города, кстати, проходила дорога в деревню Каменку, которая позже получила название Каменского шоссе и стала основой для проспекта Дзержинского.



## Улицы промышленного пригорода

К большому сожалению, в формировании улиц Ново-Николаевска исследователи склонны усматривать стихийность и беспорядочность, что особенно касается улиц, появившихся в промышленном пригороде. Градостроительного беспорядка было, однако, все же меньше, чем нам сейчас кажется: пригородные земли довольно продолжительное время принадлежали Кабинету, строго следившему за их использованием (особенно под промышленные предприятия), ведь эффективная эксплуатация территорий приносила больше прибыли.

...Сейчас, находясь, например, на запруженной транспортом улице Фабричной, невозможно поверить, что еще в начале XX в. здесь была почти идиллическая картина: шумели молодые сосны, среди массива которых в 1910 г. был разбит городской Александровский сад. В народе его называли «Сосновкой», но вовсе не потому, что здесь росли сосны, — Сосновской оброчной статьёй (или Сосновской дачей) называлась вся эта местность, зажатая между железной дорогой и берегом Оби и принадлежавшая первоначально Алтайскому округу. Эта арендная (оброчная) земельная дача была специально размежевана на 15 участков для сдачи промышленникам под фабрики, мельницы и заводы. Сосновская дача находилась в очень удобном месте для размещения промышленных предприятий — железная дорога и речная пристань совсем рядом. Доходность данной территории была очевидна для руководства Алтайского округа еще в 1890-е гг., но сдача участков в аренду началась только с 1904 г.

В центре Сосновской дачи находился проезд для гужевого транспорта, по сторонам от которого располагались арендные участки, — этот проезд и стал улицей Фабричной. Очевидно, что название улицы стало употребляться уже после передачи Сосновской дачи в собственность города в 1907 г. На Фабричной улице находились самые крупные в городе частные предприятия. Например, здесь работала самая мощная мельница Западной Сибири, принадлежавшая Алтайской торгово-промышленной компании и производившая в сутки 8 000 пудов муки (в настоящее время от промышленного комплекса компании осталось лишь здание конторы на Фабричной, 17). Любопытно, что в створе улицы Коммунистической с тех времен сохранился проезд — в начале XX в. это была дорога, которая связывала центр города через линию железной дороги с Фабричной улицей и пристанью.



Вид на город и Александровский сад с мельницы  
Алтайской фабрично-промышленной компании, 1912 г.



Но вернемся к Александровскому саду. Весной 1899 г. управляющий Томским имением П. Н. Соболев в ответ на запрос из Барнаула, какие земли в Ново-Николаевске следует оставить во владении Кабинета, предлагал оставить за Кабинетом территорию «Сосновки», которую было «желательно сохранить в тех целях, что место имеет громадное значение, как прилегающее к пристани, а кроме того здесь сохранился сосновый молодняк, и это единственное место в центре поселка, где может быть устроен общественный сад».

То есть городской сад открыли здесь в 1910 г. благодаря тому, что лес для него сохранили по инициативе кабинетского чиновника, выпускника Санкт-Петербургского лесного института! А могли и вырубить в угоду увеличению доходов Кабинета...

В пригороде Ново-Николаевска было несколько промышленных объектов, возле которых с течением времени образовывались целые улицы; так, Сухарная появилась уже в советское время на местности, прилегающей к сухарному заводу, построенному военным ведомством еще в 1903 г., а знаменитое товарищество «Братья Нобель» с 1897 г. арендовало у Кабинета участок за железной дорогой для склада нефтепродуктов и керосина, после чего вскоре там возникла Нобелевская улица (сейчас — Ногина). До сих пор на карте Новосибирска существует и Чернышевский спуск — по имени владельца частного лесопильного завода А. С. Чернышева.

Но существовали в Ново-Николаевске две территории, где улицы были вне закона, — это самовольные поселки, получившие названия Большая Нахаловка (она же — Братолюбовка) и Порт-Артур (Малая Нахаловка). Жители этих поселков писали вороха ходатайств и в Кабинет, и городским властям с просьбой узаконить их самовольные владения и взимать все причитающиеся подати, но власти были непреклонны: поселения, нарушающие все существующие строительные и пожарные нормы, не могут быть признаны в законном порядке. Добиться официального статуса жителям «нахаловок» удалось лишь при советской власти...

\* \* \*

Итак, уличная система Ново-Николаевска имела четкую структуру и была заложена в 1894 г. первым планом города, который был разработан для предотвращения самовольной застройки. Нужно отметить, что Ново-Николаевск, распланированный алтайскими межевщиками, унаследовал от Алтайского округа архаичную ортогональную планировку, восходящую к традициям регулярных городов XVIII в. (тот же Барнаул и казенные горнозаводские поселки), хотя в это время такие русские города, как Харбин, Дальний и Порт-Артур, возникшие, как и Ново-Николаевск, на железной дороге, испытали на себе градостроительную новацию — планировку по типу городов-садов.

Зато система наименования городских объектов по сути была очень близкой к современному состоянию: улицы и площади имели официальное происхождение, когда этим непосредственно занимался уполномоченный орган — городское самоуправление или кабинетское ведомство. В Ново-Николаевске практически не было народных, естественно сложившихся топонимов, поскольку город объективно не имел на это времени. Тем не менее к народным (естественным) топонимам можно отнести названия улиц, появившихся в результате плана 1894 г., — Кривошековская, Мостовая, Инская, Тракторная, а также улиц, названных в православной традиции, — Спасская, Вознесенская. Особенностью же топонимики Ново-Николаевска стала традиция мемориальных улиц, названных в честь конкретных людей, чего тогда не наблюдалось ни в одном городе Томской губернии.

Алла РАНСКАЯ

**СИБИРСКИЙ ПОЭТ ИВАН ЧЕРКАСОВ**

Имя Ивана Львовича Черкасова, одного из плеяды сибирских поэтов конца 20-х — начала 30-х годов XIX века, было на слуху у современников, его произведения публиковались на страницах газеты «Литературные прибавления к «Русскому Инвалиду»», на его стихи Александр Алябьев написал романс и ряд музыкальных сочинений для хора с оркестром.

Прошло почти два века, и это имя затерялось во времени. Сегодня мы не найдем его ни в одном биографическом справочнике. И мне, родившейся в Сибири прапраправнучатой племяннице поэта, хотелось бы рассказать о жизни Ивана Львовича и познакомить читателей «Сибирских огней» с некоторыми поэтическими произведениями этой незаурядной творческой личности.

В ходе исследования сибирского дворянского рода Черкасовых удалось собрать биографические данные о почти всех его представителях, но до недавнего времени они рассматривались мной лишь в качестве окружения главной фигуры моего исследования — генерал-майора Николая Львовича Черкасова, отца Елены Николаевны Черкасовой, ставшей женой автора «Конька-горбунка» Петра Ершова (в третьем браке поэта). Однако выявленные историком литературы Т. П. Савченковой стихи Ивана Черкасова в газете «Литературные прибавления к «Русскому Инвалиду»» несколько изменили направление моих изысканий. Иван Черкасов словно вышел из тени своего брата и предстал для меня в но-

вом качестве — поэта пушкинской эпохи. Надо отметить, что Иван Львович — не единственный поэт в роде Черкасовых. К этому роду относится и правнук Александра — родного брата Ивана — поэт Александр Блок.

Что же нам известно о происхождении Ивана Черкасова? Он — потомок двух известных сибирских дворянских родов: Панаевых и Черкасовых. Мать его, Елена Ивановна Панаева (1759—1840), — дочь туринского городского воеводы, председателя верхнего надворного суда Тобольского наместничества надворного советника Ивана Андреевича Панаева (1720—1796), положившего начало роду Панаевых, оставивших заметный след в литературе XIX—XX веков (уже родной брат Елены Ивановны — Иван Иванович Панаев — обладал несомненным литературным талантом). Отец Ивана Черкасова, Лев Иванович Черкасов, — потомственный военный, дворянин, отслужив в кавалерии и получив чин секунд-майора, перешел на гражданскую службу: «состоял сверх комплекта и находился в городе Перми с 15.05.1781» [1].

Установлено, что именно об отце наших Черкасовых — поручике Льве Черкасове — пишет Пушкин в своей «Истории Пугачева».

Родился Иван Львович в 1798 году, вероятно в Перми, и был самым младшим из восьми детей Льва Ивановича Черкасова (с 1801 года — городничего города Верхотурья). Год рождения Ивана Черкасова установлен на основе ряда документов: росписи Градо-Верхотурской



церкви за 1801 год [2] и послужного списка за 1831 год [3]. В 1810-м Лев Иванович Черкасов в связи с новым назначением переезжает в Ирбит, в этом городке вся семья находилась до самой его смерти 16 июня 1814 года. Ивану в ту пору было 16 лет. 11 августа 1817-го Иван начинает обучение в специальном учебном заведении — Дворянском кавалерийском эскадроне в Петербурге.

В 1819 году, 10 декабря, Иван Черкасов произведен в корнеты, «имея от роду двадцать лет, с определением в сей Лейб-Гвардии в Уланский полк» [4]. Полк этот выбран не случайно. В лейб-гвардии Уланском полку Его Высочества Константина Павловича служил его старший брат — Николай Львович Черкасов. Через четыре года Иван Львович возведен в чин поручика, а 1 февраля 1827 года назначен старшим адъютантом в штаб Сибирского отдельного корпуса. Поступив в распоряжение генерал-губернатора П. М. Капцевича, Черкасов из Петербурга переезжает в Омск. Однако 25 июля 1827 г., с приходом нового генерал-губернатора И. А. Вельяминова, резиденция переносится в Тобольск. С ним переезжает в этот город и Иван Львович.

Когда же Иван Черкасов стал писать стихи? Когда почувствовал в себе поэтический дар? Предполагаю, что его первые небольшие стихотворные произведения могли появиться в журнале «Благонамеренный», издававшемся в Петербурге с 1818-го по 1826 год А. Е. Измайловым. Здесь можно найти публикации кузена Ивана Черкасова — Владимира Панаева и других членов семьи Панаевых. Возможно, стихотворение-логогриф «Я место покажу, где летом жить приятно...» [5] и ряд других популярных в то время логогрифов и анаграмм за подписью «Ч—въ» принадлежат И. Черкасову. Но несомненно, что серьезно он стал заниматься поэтическим творчеством уже после переезда в Тобольск, где в то время жили и писали стихи И. И. Веттер, Е. Л. Милькеев, Н. А. Чижов. С 1828 по 1832 год здесь отбывал ссылку композитор А. А. Алябьев.

С последним у Черкасова начинается плодотворное сотрудничество. Известны четыре крупных произведения Алябьева на стихи «штаб-ротмистра» Ивана Черкасова. Все они были написаны в одно время, в 1828—1829 годах, а два из них, судя по указанной на партитуре дате, даже в один день — 20 ноября 1829 года («Мазурка» и «Полонез»).

Произведение для смешанного хора с оркестром под названием «Гимн на случай посещения Его Высокопревосходительством бароном Александром Гумбольдтом Войскового Училища Сибирского Линейного Казачьего войска в Омске. 1829 года Августа» («Сыны Сибири отдаленной...») предназначалось для исполнения в омском казачьем училище, где и было исполнено 15 августа 1829 года [6]. Надо отметить, что директором упомянутого училища в то время был старший брат Ивана Львовича, полковник Николай Львович Черкасов, вступивший в эту должность 28 марта 1828 года. Александр Гумбольдт высоко оценил «Гимн», о чем известно из письма А. А. Алябьева А. Н. Верстовскому из Оренбурга 20 марта 1834 года: «...один [гимн] я написал в Тобольске для приезда знаменитого, известного Гумбольд[д]та, он был доволен и взял с собою в Берлин» [7]. На смерть императрицы Марии Федоровны 13 октября 1828 года Алябьев пишет новое произведение — элегию на слова Ивана Черкасова («Ты плачешь, скорбная Россия, внимая смерти роковой...») [8]. Прозвучала элегия 22 января 1829 года на благотворительном музыкальном вечере в Тобольске во втором отделении, последним номером перед финальным гимном «Боже, царя храни» [9]. В том же 1829 году 20 ноября появляются еще два произведения Алябьева на слова Ивана Львовича: «Мазурка для смешанного хора с оркестром» («Осень седая, скройся от глаз...») и «Полонез для смешанного хора с оркестром» («Тебе, наш царь, краса царей...») [10]. Известно еще одно произведение Алябьева на стихи Ивана Черкасова, это романс «Очи,

мои очи. Песня донской казачки». Годом рождения собственно романса считается 1836 год [11], но когда именно появились стихи, пока не установлено. Как мне представляется, это часть стихотворения «Донская быль», появившаяся в «Литературных прибавлениях к “Русскому Инвалиду”» за 1834 год, но возможно, и отдельное произведение. Так или иначе, обращает на себя внимание интерес Ивана Черкасова к теме донского казачества. Т. П. Савченкова в своей статье о поэте Иване Нагибине отмечает (со ссылкой на М. К. Азадовского), что в списке подписчиков на второй том «Истории русского народа», опубликованном в одном из номеров «Московского телеграфа», есть и «старший адъютант Штаба отдельного сибирского корпуса, Гвардии штаб-ротмистр Иван Черкасов» [12], что свидетельствует об интересе его к русской истории и, в частности, к истории рода Черкасовых. Согласно ряду исследований, черкасы — это и есть донские казаки, вероятно, именно поэтому эта тема привлекала Ивана Черкасова.

Стихи И. Л. Черкасова, как уже указывалось, периодически публиковались на страницах газеты «Литературные прибавления к “Русскому Инвалиду”», которая издавалась в Санкт-Петербурге в 1831—1839 годах. Первая публикация состоялась в 1831 году. В субботнем выпуске № 91, «ноября 14 дня», появилось стихотворение «На взятие Варшавы». В конце стихотворения — место и дата создания его: «Тобольск, 8 октября 1831 года». В 1832 году в «Литературных прибавлениях» выходят уже два стихотворения Ивана Черкасова: 9 марта в № 20 появляется его стихотворение «На Новый год», 25 июня в № 51 — стихотворение «Истинное блаженство». Интересно, что в следующем, от 29 июня, номере помещено стихотворение другого сибирского поэта — Ивана Нагибина «Гроза», посвященное «И. Л. Ч...ву», написанное 1 мая 1832 года. В 1834 году в «Литературных прибавлениях» появляется уже пять стихотворений Ивана Черкасова: первые два — в № 60 и 66. Это,

соответственно, отрывок из стихотворения «Донская быль. Колдун» и «Игрок». Следующие три стихотворения написаны уже не гвардии штаб-ротмистром, а подполковником жандармерии Иваном Черкасовым, речь о них пойдет ниже.

В жизни Ивана 1 сентября 1834 года было ознаменовано двумя событиями. В этот день Черкасов высочайшим приказом переведен в корпус жандармов — по собственному желанию и с переименованием в подполковники со старшинством со дня производства в ротмистры. Причина такого решения со стороны Ивана Черкасова — смена его непосредственного начальника, генерала от инфантерии Ивана Александровича Вельяминова: 28 сентября 1834 года он покидает пост командира корпуса и генерал-губернатора Западной Сибири. На смену ему назначен генерал-лейтенант Н. С. Сулима, служить под руководством которого Иван Черкасов не желал. Вдаваться в подробности политических процессов, происходивших в те годы в Сибири, в статье, где мы уделяем внимание Ивану Черкасову как поэту, мы не будем, это отдельная тема. Отметим только, что офицерство Сибири, представленное коренными сибиряками, пыталось предотвратить произвол со стороны направленного из Петербурга руководства, воспринимающего Сибирь как место временного пребывания — с вытекающими отсюда последствиями. Эта борьба объединила трех братьев Черкасовых — директора казачьего училища полковника Николая Черкасова, дежурного штаб-офицера Александра Черкасова и жандармского подполковника Ивана Черкасова.

И случайное ли это совпадение или оригинальный подарок друзей, но в этот же день, 1 сентября 1834 года, в № 70 «Литературных прибавлений» выходит очередное стихотворение Ивана Черкасова. Символично его название: «Прощание 1833 года». Или это запоздалая публикация, которая предназначалась для последнего номера уходящего 1833 года, или же сознательная задержка с публикацией — оригинальная инициатива друзей,

знавших о столь значительных изменениях в военной карьере ротмистра (а теперь подполковника) Черкасова. Прощай, 1833-й... Так или иначе, но день этот был запечатлен, как видим, на века. Через две недели, 15 сентября 1834 года, приказом шефа жандармов подполковник Иван Львович Черкасов назначен губернским штаб-офицером в Тобольскую губернию. Перемена места службы не повлияла на творчество И. Черкасова, стихи его продолжают публиковаться в газете. Через месяц после нового назначения в «Литературных прибавлениях» № 80 от 6 октября 1834 года появляется очередное стихотворение Ивана Черкасова «Водопад», в № 95 от 28 ноября — стихотворение «Пельмени». В 1835 году в № 40 от 18 мая выходит последняя известная нам публикация Ивана Черкасова — стихотворение «Чай».

Как же складывалась дальнейшая жизнь И. Л. Черкасова? Мне удалось установить, что в конце 1835 года относительно спокойный образ жизни семьи Ивана Черкасова заканчивается — начи-

нается череда переводов, связанных со служебной деятельностью. 16 ноября 1835 года приказом шефа жандармов Иван Черкасов переведен в Томскую губернию, 13 января 1836 года — в Оренбургскую губернию, 18 сентября 1837 года — в Нижегородскую. Сроки пребывания на местах продолжают уменьшаться. Менее чем через два месяца, 7 ноября 1837 года, — очередной перевод. На этот раз в Саратовскую губернию, а еще через полтора месяца — 20 декабря — в Минскую губернию. Наконец, в 1838 году, 1 февраля, «из сей последней перемещен по особым поручениям к начальнику 7 округа» [13] Корпуса жандармов, возглавлял который в те годы генерал-майор граф Апраксин.

Это последняя запись в послужном списке. Вскоре Ивана Львовича не стало. Согласно записи в метрической книге Воскресенской церкви Казани за 1838 г., умер И. Л. Черкасов 15 апреля 1838 года «от чахотки», похоронен на «градском при Куртинской Ярославских чудотворцев церкви кладбище» [14]. На день смерти Ивану Черкасову не было и сорока лет...

### Примечания

1. Послужной список Черкасова Льва Ивановича. РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 492. Л. 919 об., 920.
2. Роспись Градо-Верхотурской Одигитриевской церкви за 1801 год. Государственный архив Свердловской области. Ф. 6. Оп. 3. Д. 3. Л. 38 об., 39.
3. Бобровский П. О. История Лейб-Гвардии Уланского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. — СПб, 1903. — Том 2. Приложения. — С. 78.
4. Там же.
5. Ч—вь. «Я место покажу, где летом жить приятно...» — «Благонамеренный», 1820, № 5 (март). — С. 357.
6. Российский национальный музей музыки. Архив Алябьева. Ф. 40. № 472. Л. 1—15.
7. Штейнпресс Б. С. Страницы из жизни А. А. Алябьева. — М., 1956. — С. 267.
8. Российский национальный музей музыки. Архив Алябьева. Ф. 40. № 79. Л. 1—20.
9. Тетерина Н. И., Левашев Е. М. Вариации на тему «Боже, Царя храни»: к истории музыкальных и поэтических видоизменений гимна Российской империи // Келдышевские чтения — 2005. Множественность научных концепций в музыкознании. К 60-летию Е. М. Левашева. — М., 2009. — С. 263—280.
10. Российский национальный музей музыки. Архив Алябьева. Ф. 40. № 318. Л. 1.
11. Алябьев А. Романсы и песни. Полное собрание для голоса в сопровождении фортепиано. — Москва, 1976. — Том 3. — С. 44.
12. Савченкова Т. П. Тобольский поэт-романтик Иван Андреевич Нагибин и его поэма «Алтын-Аргинак» // Сибирские огни. — 2019, № 4.
13. Формулярный список Ивана Львовича Черкасова. Национальный архив республики Татарстан. Ф. 407. Оп. 1. Д. 659. Л. 277 об., 278.
14. Метрическая книга г. Казани за 1838 год, Воскресенской церкви. Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 47. Оп. 2. Д. 182. Л. 164, 164 об.

## Стихотворения Ивана Черкасова

### На взятие Варшавы

Греми победный глас Кимвала:  
Мятежная Варшава пала,  
Стыдом, раскаяньем полна;  
Свои колена преклоняя,  
К стопам державным НИКОЛАЯ.  
Так в тщетной ярости волна;  
Ударясь о скалы гранита,  
К ним упадет в прах разбита.

\*

Но обновится бедный край  
Тобою, твердый НИКОЛАЙ!  
В твоей деснице благотворной  
Забудет страх години черной,  
Залечит ран глубокий след.  
И крепко свяжет две Державы  
Родства и дружества обет  
Навеки для взаимной славы.

\*

В боях изведанный Герой,  
Наш Граф Паскевич-Эриванской  
Громил с дружиною Славянской  
Мятежных Ляхов буйный строй.  
Тебе была предтечей слава,  
Ты страшен в буре бранных сеч;  
Твой испытал могучий меч  
Смирилась гордая Варшава.

\*

Святой преданностью горя  
К престолу Русского Царя,  
Ты в ряд с Суворовым поставил  
Себя, и родину прославил!  
И щедрый Царь из рода в род;  
Из века в век передает  
Достойный подвиг громкой славы:  
Ура, Паскевич — Князь Варшавы!

*Тобольск, 8 октября 1831 года*

### На Новый год

Шел великан, но дорога крутая,  
Шел он, и в бездну безбрежную пал.  
Гордо за ним и другой выступая  
Подвиг годичный, как время приял.

Мчится, расширя могучие длани  
Он, как орел в голубых небесах;  
Скорби и радости, бури и брани  
С ним пронесутся, и в вечных странах  
Мирно починут на лоне забвенья.  
Так в предрассветных, густых облаках  
Кроется легкая тень сновиденья.  
Но великан на щите золотом  
Вырежет дивный рассказ о былом,  
В память грядущего, в дар поколениям.

*Тобольск*

### Истинное Блаженство

Блажен, кто слабому отрадой  
Умеет в нуждах сердца быть,  
И сильного презрев досадой,  
Святую истину любить.

\*

Блажен, кто мудростью надежной  
Смиренно оградил себя,  
Как дар святыхи безмятежной  
Ее душою возлюбя.

\*

Блажен герой в венце лавровом,  
Внесенный в летопись веков,  
Когда он делом, а не словом,  
Встречал в бою своих врагов.

\*

Блажен юрист миролюбивый,  
Тогда, как овладев пером,  
Внимал он совести правдивой  
И вел закон ее путем.

\*

Блажен богач великодушный,  
Щедролюбивый к нищете;  
Влеченью сладкому послушный,  
Он знает радость не в мечте.

\*

Блажен в беседе напоенной  
Любимец Муз и недруг сна;  
Цевницы ими вдохновенной  
Игра волшебная славна.

\*

Блажен, кто сердцем терпеливым  
Был очарован в жизни сей,  
Кто равнодушием счастливым  
Охолодил порыв страстей.

\*

Но тот блаженней, о Мария!  
Кто будет, милая, с тобой  
Все наслаждения земные  
Делить беспечною душой.

*Тобольск*

### ***Отрывок из стихотворения «Донская Быль»***

#### **Колдун**

Я тьму чудес о колдуне  
Отрыв в заветной старине:  
Он волком серым, кошкой черной,  
Совой, сорокой, мертвецом,  
Из старца с ловкостью проворной  
Вмиг обратясь, в часу ночном  
Пугал народ, и на болото  
Летал блуждающим огнем,  
Томимый вражеской заботой,  
И там скрывался в черной мгле...  
Не перечить его проказы —  
То пыль взметая, на метле  
Он ездил, и поток заразы  
Вдруг разливал в Донской земле;  
То на Днепровские пороги  
Он к ведьме Киевской летал,  
Избушку на курины ноги  
Колдун ей ставить помогал, —  
И в ней кикимору седую  
Венчал он с карлой-домовым,  
И синим огоньком, как дым,  
Зажег лампаду ледяную.  
И на пуховую постель  
Колдун, за тридевять земель,  
К царевне славной Милитрисе  
Кирбитьевне, скакал на крысе  
В молчаньи полночи глухой,  
Закутавшись в туман седой.  
И у прекрасной Царь-Девы  
Был в тридцатом царстве он,  
И щедро ею наделен:  
Пером блистательной Жар-Птицы,  
Ширинкой с вечною казной,  
Водою мертвой и живой.

Но говорят и небылицы:  
Что ими он целил, морил,  
И будто бы в могильном трупе  
Однажды чувства пробудил.  
А с Бабою-Ягою в ступе  
Объехал целый свет кругом,  
И даже в царстве золотом  
У тощего гостил Кощея.  
За то у огненного змея  
В плену проспал он триста лет.  
Однако ж, выбравшись на свет,  
Он на ковре на самолете  
Взвился, как из лука стрела  
В своем губительном полете,  
И вдался в прежние дела.  
С тех пор нечистою наукой  
Морочил старый чародей  
Крещенных на Дону людей,  
Для них был страхом, чудом, мукой.  
Всегда его недобрый глаз  
Виною — в бедах, причиной — в горе,  
Невзгодой — в жизни, бурей — в море.  
За то в мирских делах не раз  
К нему ж ходили на советы.  
Хоть стар, но сметлив, зорок он,  
На все готов, во всем смышлен.  
Порывы чувств еще согреты  
У старца юности огнем  
И не по летам бодрость в нем.  
Он, первый гость в беседе шумной,  
Был важен, как боярин Думный  
В почтенной Русской старине;  
Разборчив — в пище, в разговоре,  
Умерен в смехе и вине,  
Решителен — в беде и в споре,  
И в нем правдив, как встарь судья;  
Но позабыл прибавить я,  
Что он на свадьбах, меж гостями,  
Был неизбежное лицо,  
Он и с крыльца и на крыльцо  
Вел новобрачных, и дарами  
От них почтен был прежде всех.  
При нем всегда вершилось дело;  
А без него оно не зрело,  
Во всем был верный неуспех.  
И даже бранные набег  
Бестрепетных детей войны  
Бывали им же внушены;  
Усталых воинов ночлеги  
Им от врагов охранены.  
Светом смелым, в вихре битвы,  
Донцов к победе вел старик.  
При нем всегда острее бритвы



Их сабли и железо пик.  
При нем в опасностях бодрее,  
Отважней в натисках казак,  
Добьча — сильных, дань — вернее;  
Смирней, уступчивее враг.  
Черкесы, Турки и Татары  
В науке Славы и побед  
Донцам указывали след,  
И храбрых первые удары  
Им были платой за совет.  
Не уставали в буре-брани  
Казнить врагов огнем, мечом  
За Волгой, Камой и Днепром,  
В Крыму, в Сибири и в Казани.  
За волны Терека, Кубани —  
Везде со славой казаки  
Водили смелые полки.

*Тобольск*

### **Игрок**

Угрюм, задумчив, одинок,  
Сидел обыгранный игрок  
В своем опустошенном доме.  
Он взоров горестной семьи  
Сносить не мог, не смел, и в роме  
Все думы утопил свои,  
С рублем из кошелька последним.  
Кружилась сильно голова,  
Теснились в ней мечты и бредни.  
Смущенной совести слова:  
«Зачем я вверился коварным,  
Зачем не слушался жены!»...  
Еще твердил, — как со стены,  
Висевшие шинель и шляпу,  
Он снял дрожащею рукой.  
Но прежде что-то взял из шкафа,  
Стакан до капли выпил свой  
И трубку выкурил вакштафа,  
Пускаясь на полночный бой! —  
В глазах летучею мечтой  
Летают карты роковые;  
Безмолвен, холоден, как лед,  
Как председатель, банкомет  
Решает тяжбы игровые:  
То даст, то вдвое оберет,  
Тревожит, мучит ожиданьем,  
Не слышит воплей и роптанья,  
Не морщит при беде чела —  
Знаток коварный ремесла.  
На все готов: он из кармана  
Отдаст и приборет, шутя.  
А наш игрок — в игре дитя —

В азарте, как в чаду тумана, —  
Он вовсе без ума с умом;  
Кипит надеждой, как огнем,  
В каком-то буйстве исступленном,  
Все выиграть на короля; —  
И с единицей три ноля  
Прехладнокровно и степенно  
Противник записал на нем...  
И крепость выиграл на дом.

### **Прощание 1833 года**

Прощайте, детки! ваш старик  
На белом свете отдежурил:  
С одними ладил, балагурил,  
С другими был несносен, дик;  
Одним придумывал я моды,  
Другим завязывал глаза;  
Одним дал много на туза,  
Других спустил детьми природы...  
Но триста шестьдесят пять дней  
Бесплотному, в трудах бессчетных,  
Не шутка выжить меж людей,  
Затейливых и беззаботных,  
И умников, и простяков. —  
Я, в тьме бесчисленных трудов,  
Педристов дал в пример Испанцам;  
Французов ссорил с королем;  
Полярным заслонив щитом,  
Царь-град не выдал Африканцам;

В Британии мутил умы;  
В Италии читал псалмы;  
В России твердый мир упрочил;  
В Германии мятеж карал;  
Войну всеобщую отсрочил,  
И Грекам короля послал.

### **Водопад**

Темных дебрей сторож шумный,  
Сребропенный водопад,  
Ты стремишься, как безумный,  
Падая с крутых громад;  
Рокот твой, как взрыв бурана,  
Как в дали ревущий гром;  
Поднял брызги ты кругом,  
Будто занавес тумана;  
Ты, как небо, как алмаз,  
Блещешь радуги огнями.  
Но под лунными лучами  
Ты походишь на Кавказ,  
Занавешенный снегами;  
А как летнее тепло



Сменят вдруг мороз и вьюга,  
Хоть не прячешь ты чело  
Под ледяное стекло, —  
Но смиренней, как в дни недуга  
Слабый, утомленный лев.  
Чуть весна — и тот же гнев  
Вскипятит поток сердитый.  
Захлопочет страшный зев,  
Под водой в граните взрытый.

### Пельмени

Люблю, когда в один кружок,  
Окончив дружно вечерок,  
Семья засядет небольшая,  
И важно миса суповая  
Пред нами станет на столе;  
Когда — друзей досужной лени —  
И хвалят и едят — пельмени;  
Когда, блистая в хрустале  
Рубином, яхонтом, княжника  
Свой разливает аромат;  
Когда смелей заговорят...  
Когда, напелясь, костяника  
В бокал польется круговой  
И пьют заздравный тост душой.

*Тобольск*

### Чай

Как приятно  
Ароматный  
Чай Китайский  
В вечер Майский  
Пить без счету,  
С милым другом  
И с досугом  
Гнать заботу,  
А в награду  
Звать отраду  
Поцелуя.  
Как люблю я,  
Как приятно,  
В ароматный  
Чай Китайский  
Ром Ямайский  
Лить без меры;  
С ним живее  
И светлее  
Все химеры,  
С ним люблю я  
Звать в награду  
Всю отраду  
Поцелуя.

### Гимн на случай посещения Его Высокопревосходительством бароном Александром Гумбольдтом Войскового Училища Сибирского Линейного Казачьего войска в Омске: 1829 года Августа

1.

Сыны Сибири отдаленной  
Приносят радостный привет.  
Живым восторгом вдохновенный,  
Тебе, — Кому дивится свет,  
Кому все таинства открыты  
Природы и чудес! —  
Наш посетитель знаменитый:  
Живи под благодатью небес.

2.

Хвала тебе и удивленью  
Предшествуют из края в край.  
Ты наших чувств благословенье  
Усердьем полное, внимай!  
Сей день, как дар неоцененный,  
В сердцах мы вечно сохраним  
И в благодарности священной,  
Из рода в род передадим.

### Очи, мои очи. Песня Донской казачки

Очи мои, очи,  
С утра до полночи  
Вы не просыхали;  
А тоска и горе,  
Будто сине море,  
Сердце волновали,  
Сердце волновали.  
Долго ли вам очи,  
Плакать дни и ночи.  
Долго ли, кручина,  
Знать тебя мне, злая!  
Стала как чужбина  
Ты, земля родная!  
Ты, земля родная!  
Лучше бы вам, очи  
Не видать той ночи,  
Что свела с бедою.  
Я ее не знала,  
А чуть свыклась с злою  
Какова я стала!  
Какова я стала!

Елизавета МАРТЫНОВА

## «ПОЭЗИЯ И МУЗЫКА ОДНА...»

*Размышления о современной молодой поэзии*

### 1.

Я начну с вопросов. И не потому, что не знаю ответов, — просто сам процесс ответа нагляднее для читателя, чем готовое мнение автора статьи; мне не хотелось бы выглядеть самонадеянной, тем более что речь пойдет о поэзии, а это дело и вкуса, и профессионализма.

Итак, вопросы. Существует ли современная молодая поэзия? И как определить, насколько она «современная» и насколько «молодая»? Каковы критерии современности и молодости?

Предвижу два варианта ответа.

Первый: поэзия не может быть ни «современной», ни «молодой». Поэзия — это просто поэзия, без возрастных и временных ограничений. Если мы говорим о современности, то это не показатель качества текста, а определение (и ограничение) временного отрезка, на протяжении которого развиваются несколько ярких литературных течений и направлений (или появляются оригинальные дарования). Определение это — дело в большей степени литературоведов, чем критиков, а появляется оно, когда проходит время и вырисовываются признаки поэтической эпохи. Но пока «лицом к лицу» — «лица не увидеть», от литературоведов в лучшем случае можно ждать только вот таких «примирительных» выводов: «...главной особенностью современной поэзии

является ее огромное многообразие. Она подобна мозаичному полотну, в котором каждая деталь самобытна, имеет свой цвет и форму, но, только соединяясь с другими, мелкие фрагменты мозаики создают уникальную картину. Ни об одном из поэтических направлений нельзя сказать, что оно является ведущим и формирует генеральную линию литературы, ни одну поэтическую школу нельзя считать основной. Они разнообразны и непохожи, но у каждой из них есть свои заинтересованные читатели» (Н. В. Беляева, «Взгляд на современную поэзию»).

Мне эти выводы не кажутся утешительными: это как если бы современники уравнивали Александра Пушкина с Владимиром Бенедиктовым, Николая Гоголя с Нестором Кукольниковым, а Льва Толстого, скажем, с Лидией Чарской — нет, у каждого из них были «свои заинтересованные читатели», а у Чарской еще и поболее, чем у Толстого.

Ну а если говорить о молодости, то это понятие еще более сомнительное и качество, как известно, очень быстро проходящее. Значит ли это, что через десять-двадцать лет стихи того или иного автора, ярко начинавшего, перестанут быть стихами только оттого, что он уже не «молодой» и не «новый»? Если да, то написанное им никогда и не было поэзией.

Второй вариант ответа: конечно, современная молодая поэзия существует, но

это море, в котором чрезвычайно трудно ориентироваться — нужно не только художественное чутье, но и профессиональный инструментальный критика для того, чтобы двигаться в правильном направлении. А цель — понять, «дотягивают» ли современные авторы до уровня, дающего возможность конкурировать с классиками или хотя бы с профессионально пишущими поэтами старшего поколения.

К сожалению, море современной поэзии при всей его необозримости почти никогда не бывает глубоким; слишком много пишущих людей — это основная проблема. Зайдя на любой сайт, массово публикующий стихи, читатель испытывает легкое головокружение — смотрит одно, другое стихотворение, не видит особой разницы между авторами, теряется, но иногда все же находит нечто созвучное его эмоциям — и принимает это за современную поэзию, особенно если у автора множество откликов и прочтений, что работает как реклама, хотя может быть и «накрученным», и «накачанным», и «заказным» — технологии-то позволяют, дело-то нехитрое...

Поголовная грамотность (даже не грамотность, а всего лишь умение писать) позволяет любому человеку создавать «что-то в рифму», но при этом никто почему-то не задумывается, что навык выведения слов на бумаге (набора на компьютере, смартфоне) и способность писать стихи — абсолютно разные вещи. Для написания стихов техника (как минимум!) столь же необходима, как и, например, для живописи или игры на пианино, поэтому рисуют или играют на музыкальных инструментах далеко не все — но уже почти все пишут стихи!

Даже оставив в стороне не владеющих элементарной техникой, мы все равно получим значительное число версификаторов, ухвативших чью-то понравившуюся интонацию, чужой ритм, расстановку смыслов, языковые особенности или штампы, — они знают себе рисуют

чужими красками на чужом холсте: кто-то копирует Золотой век, кто-то пишет «под Бродского» (хотя эта мода уже проходит), кто-то создает «актуальные тексты» без точек и запятых, имитируя поток сознания, но забывая, что это уже было, было, было...

Никакой живой энергии от таких текстов читатель не получает, но может при этом восхищаться старыми смысловыми фокусами и словесной эквилибристикой, не понимая их цели. А цель — имитация чувства, которого нет, цель — игра, изображение несуществующего, и авторы в текстах ведут себя как новаторы, усвоив чужие приемы, но чистота душевного движения в их стихах утрачена (если она была), и литературной образованности тоже нет, есть только полуобразованность. Но вторичность этих произведений — не главная проблема, гораздо интереснее, откуда берется эта вторичность.

У молодых авторов (даже у очень способных) часто утрачены жизненные и творческие ориентиры, утерян смысл создания стихотворения — автор стремится выплеснуть эмоции, получить психотерапевтический эффект от самого процесса написания и самоутвердиться (тут в стихах и появляются т. н. «художественные средства», в основном сводящиеся к штампам и красотам). Лирический герой этих стихотворений ощущает лишь пустоту жизни, а поэт не знает, для чего он это написал, — если, например, смешать строки из стихов нескольких десятков случайно выбранных (допустим, с одного литературного конкурса) авторов, то, скорее всего, отличить их будет невозможно, индивидуальности мы не увидим.

Бесцельность и пустота как определяющие черты основной массы «современной поэзии» меня очень настораживают — такое ощущение, что молодой поэт боится быть если не глубоким, то хотя бы искренним, боится не попасть в мейнстрим. Усвоив актуальные техники и веяния, автор начинает писать грамотно,

он публикуется в толстых журналах (его же на семинарах научили, как надо!), но на себя-то он не похож... Он похож на основную массу, на направление.

Нет, я не спору, обучать молодого автора необходимо, но, думаю, будет лучше, если он сам найдет себе учителя — по своему душевному складу. И нужно давать возможность начинающему поизобретать свой наивный «велосипед», даже нарушая законы ремесла, — воздух и рост нужны в самом начале без ограничений. «Охлаждение мастерства» (это из стихотворения В. Соколова о М. Лермонтове) все равно наступит — правда, если поэт этого мастерства достигнет.

Выбор ориентиров у молодых авторов иногда мне кажется странным, очень эклектичным: на семинарах они называют Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и тут же — Иосифа Бродского, Юрия Казарина, ну и Бориса Рыжего, конечно... Но почти никто не вспоминает Николая Рубцова, Юрия Кузнецова, Владимира Соколова, Алексея Прасолова, Анатолия Передреева, Николая Тряпкина и более близких по времени поэтов: Николая Зиновьева, Светлану Сырневу, Диану Кан, Александра Нестругина, Евгения Семичева, Сергея Васильева и других — тех, кто по сути и является продолжателями русской литературной традиции; эта ситуация обусловлена, скорее всего, «всеядностью» в чтении и неумением выстроить для себя внутреннюю иерархию. И здесь мы подходим к основной проблеме молодой поэзии, заключающейся в том, что современным поколением недостаточно освоена русская поэтическая традиция. А ведь это — единственное богатство, которое у молодой литературы только и есть, это — море, где нужно учиться плавать самостоятельно, извлекая для себя сокровища из глубин! Думается, именно сейчас необходимо восприятие традиции во всей ее полноте и понимание того, что в ней — такие источники нового, которых

нет ни в авангардной поэзии XX века, ни в модернизме, ни в метафоризме, являющихся по сути лишь нежизнеспособной интерпретацией канона. Да и современность более всего ощущается в поэзии традиционной, неавангардной, когда поэт напрямую пишет о своей эпохе...

Хорошо сказал о традиции поэт Евгений Винокуров: «Чтобы быть традиционным, нужен талант, нужна сила. Нужна мощь, нужна творческая дерзость, чтобы подключиться к традиции... Традиция — это не чулан с устаревшими вещами, ветшью и рухлядью. Традиция — это лучшее, что отстоялось, это все живое, что осталось жить для нас...»

...Меня всегда удивляет, когда критик начинает требовать от молодого поэта нового языка, соответствующего современности. А в чем должна заключаться эта новизна? Новую грамматику придумать, что ли? Или новый синтаксис? Новые части речи?

Речь не о новизне языка, отображающего современные реалии, — стихи, написанные на молодежном сленге, новизны языку не прибавят и устареют через несколько лет. Свежий и чистый взгляд, выявляющий и современное, и вечное, возможен только тогда, когда автор мыслит самостоятельно, а не просто натужно пытается сказать что-нибудь этакое, нечто новое... Новое, кстати, — не всегда лучшее, и оригинальный язык — не всегда поэзия. Не лучше ли беречь чистый литературный язык как основу, без которой невозможны русская речь и русская поэзия?

Традиция никак не связана с подражанием и стилизацией, о которой иронически говорит Владимир Набоков в романе «Дар»: «Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал “горчайшую” любовь к России: есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уже различим след пушкинского локтя. <...> Эпитеты,

жившие у него в гортани, — “невероятный”, “хладный”, “прекрасный”, — эпитеты, жадно употребляемые поэтами его поколения, обманутыми тем, что архаизмы, прозаизмы или просто обедневшие слова вроде “роза”, совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть, возвращаясь с другой стороны, — эти слова... как бы делали еще один полукруг... снова являя всю свою ветхую нищету... <...> И все это было выражено бледно, кое-как, со множеством неправильностей в ударениях...»

Набоков говорит о чисто внешнем, формальном восприятии традиции как совокупности приемов и эклектичном копировании классических образов, но со времен Набокова мало что изменилось — живое и органичное восприятие традиции всегда было более трудным, чем ее заведомое отрицание.

## 2.

С моей точки зрения, лучшая часть современной молодой поэзии — это авторы, продолжающие русскую классическую традицию. В каждом регионе (и я как литредактор не раз в этом убеждалась) появляются новые, интересные и перспективные молодые поэты, которые усваивают многообразие русской поэтической традиции, руководствуясь при этом своим вкусом, — они литературно образованны, талантливы и хорошо понимают, что есть столбовая дорога русской поэзии, есть ее основное направление, но для себя путь и цель они выбирают сами.

О чем же может писать поэт? Только о самых главных вещах — о жизни и смерти, о любви... Как трагична жизнь — и как мало поэтов, способных передать глубину этого трагизма... Но несколько молодых авторов отваживаются на попытку сделать это, а их понимание развития человеческой жизни во времени — показатель творческой зрелости.

Руслан Кошкин, Мария Знобищева, Карина Сейдаметова — думается, они уже сложились как поэты, потому что художественность и нравственность для них — понятия неразделимые.

\* \* \*

Стихи Руслана Кошкина острохарактерны, их не спутаешь ни с какими другими — не то чтобы это был специально разработанный, нарочито созданный поэтический язык, но его оригинальность, органичное соединение архаизмов, книжных слов и просторечия (даже жаргонизмов) — следствие неординарного мышления с четко выстроенной иерархией ценностей. Для Руслана Кошкина черное — это всегда черное, белое — это белое, правда — это правда, а ложь, в какие бы одежды ни рядилась, всегда остается ложью, как тьма остается тьмою и свет не перестает быть светом. Потому и одна из книг Руслана Кошкина называется «Свечение» — в ней он «высвечивает» главные земные (да и не только земные) истины: «Поиски... Света, отделение его от мрака и всякой серости — задача одновременно и творческая, и душевспасительная. И потому так дорого оно — открывающееся и исходящее ли изнутри, подаваемое ли свыше (как шест или веревка уходящему в полынью, как надежда), благодатное и благостное — свечение», — пишет автор во вступительном слове к сборнику.

О чем прежде всего говорит поэт? О том, чем жив человек, о связи с родным, с почвой:

**Корнями, нитями, наитьями —  
держи, родная, взгляд мой острый.**

**Спасительны, когда пленительны  
твои размашистые версты.**

**Ты силой своего воздействия  
возносишь сердце к поднебесью.**

**А почвенность — всегда естественна,  
как дух, соединенный с перстью.**

Лирический герой в стихах Руслана Кошкина живет по-настоящему только тогда, когда у него есть почва под ногами и ощущение родства с другими людьми — и с Богом:

**Поклонюсь я на четыре ветра,  
обмахнусь я знаменным крестом  
и из жажды Божьего привета  
из руин Ему воздвигну дом...**

При этом он себя не теряет — напротив, в тесной связи с родным обретает:

**Беспокоиться не изволь:  
не пройдут ни печаль ни боль.  
Или так: наряду с судьбой,  
все твое — навсегда с тобой.  
И печали, и боль, и крест.  
Все, что было, и все, что есть.  
Все, что выписано в судьбе,  
все твое и навек — в тебе...**

Многие стихи Руслана Кошкина — притчи о человеческой жизни, но автор предстает перед нами и мастером любовной и пейзажной лирики, способным передать тонкие душевные движения и философски осмысляющим противоречия, заложенные в природе человека. Все стихотворения, опубликованные в книгах Руслана Кошкина, отличаются твердостью нравственной и творческой позиции, а также авторской индивидуальностью — перед нами четко очерченный мир, в котором читатель не заблудится, а воспримет умом и сердцем истинное поэтическое слово.

\* \* \*

Похожим путем идет и Карина Сейдаметова — у нее жесткие, совсем не женские стихи, несущие особый заряд энергии, но при этом они светлы и оптимистичны, в них есть преодоление трагедии и печали, что большая редкость для текстов молодого автора.

При чтении стихов Карины Сейдаметовой почти физически ощущаешь их

зримость и яркость — словесная живопись и гибкость интонации, осязаемая живость и жизненность сказанного являются их несомненными достоинствами. Русское пространство, смену времен года, русские праздники, движение стихий и движения человеческого сердца — все это впитывает поэтическая интонация Карины Сейдаметовой, а ключевым становится понятие родства, но при этом семейная сага вписана в русскую историю — и старинную, и современную:

**Край наследный мой —  
мир соколиный,  
Мой нежданно-негаданный рай.  
Домик в листьях отцветшей малины,  
Блик остатного солнца вбирай!  
Может, мнится мне, как барабанят  
По залатанной кровле дожди  
Иль меня окликает бабана  
Дробным сердцебиеньем в груди?  
Иль туман-атаман Стенька Разин  
Снова губит княжну на реке?  
Край соколий, не чувствуешь разве,  
То заря-кровяница в строке  
Иль студеная Волга-водица  
Все целует заплаканный клен?  
...Ночью что только нам не приснится!  
Тихий мой новорожденный сон...  
Новокуйбышев. Бабушка Анна.  
Душный август... Прости-прощевай,  
Край охранный мой, обетованный,  
Вспоминай обо мне, вспоминай!**

Читатель невольно обращает внимание на язык этих стихов — красивый, в чем-то даже орнаментальный, сохраняющий редкие русские слова, ткущий причудливое словесное кружево, — и в этой тяге к красоте проявляется женское начало:

**Чем грустнее родная сторонushка,  
Тем к ней бережней наша любовь...  
А пойдем закликаль жаворонushек —  
Явь столетий, крылатую новь.  
Мы веснянку поем, но весна еще  
Не спешит на сторонку мою.  
Лишь одни воробьишки всезнающе**



Хороводятся в здешнем краю.  
Погоди, скорым-скоро в проталинках  
Расшалится марток-зимобор,  
А пока все бока о завалинку  
Лютень, снежный котейко, обер.  
Через причеты и выкликания  
Растолкнется весна у ворот  
И заклички, заплачки, предания  
Пропоеет нам, споеет нам, шепнет...

\* \* \*

Внимание к русскому слову, сбережение его — вот чего не хватает сейчас в молодежной поэзии... И когда видишь, что поэт чувствует и знает родное слово, пользуется неизмеримыми его возможностями, — всегда становится отрадно, но, наверное, ни у кого из молодых поэтов русская традиция не видна так отчетливо, как у Марии Энобицевой, поэта из Тамбова.

Стихи Марии Энобицевой абсолютно естественны и в то же время уверенно мастеровиты, когда читаешь их, не думаешь ни о каких технических вещах: ритме, рифме и т. п., просто читаешь — и понимаешь, что это поэзия в чистом виде. А если говорить о мастерстве, как о свойстве врожденном, то в стихах Марии оно сказывается именно на уровне слова — и из слова органично вырастает. Есть поэты, которые идут от интонации, от строки, от фразы, а есть те, которые идут от слова, становящегося «зерном», основой текста. Вот так и у Марии Энобицевой — стихотворение начинается со слова, игры с ним, его созвучия с другими словами:

Этот воздух пронизан —  
Навылет, насквозь —  
Голубыми капризными  
Звонами звезд...

Или:

Взмах махаона, крик стрижа,  
дыханье прерий,  
И мускус уст, и ладан роц,  
и запах тмина...

Любое перечисление не кажется случайным, точная звукопись надежно связывает строку:

Кисло-сладкая сказка финского языка.  
Волглых гласных клюквенная  
округлость  
И согласных ласковая упругость.  
Лепет летнего колоска.

Иной раз кажется, что стихотворение создано из ничего, из воздуха, из мимолетного ощущения, но даже в таком воздушном творении есть сюжет, лирический, любовный:

Постой! Тут не до мастерства.  
Мне надо подобрать слова.  
Ну, эти: двор, трава, дрова,  
Вода, деревья, синева.

Простые самые: рука,  
Свет солнца, облако цветка.  
Пока не втоптыны, пока  
Сойти готовы с языка...

Не стану их перебирать,  
Мне б только взять — и подобрать,  
Омыть прохладой дождевой  
И вместе с ними стать живой.

Слова подобраны с земли.  
— Зачем? Они бы проросли.  
Все, что просилось на уста,  
Оставь земле — она чиста.

Мария Энобицева пишет не только стихи, но еще и рассказы; правда, читая ее прозу, все равно угадываешь, что написана она поэтом: тщательная выверенность образов, внимание к детали, увлеченность лирическим настроением и даже само построение фразы показывают, насколько автор чувствует ритм, наполненность и глубину, значимость одного-единственного слова.

\* \* \*

Поэтическое слово — это прежде всего возможность разговора с читателем,

и естественность обращения к собеседнику может не требовать ярких образных строк, которые легко было бы цитировать, но доверительность и человечность обязательно нужны для того, чтобы человек на поэзию откликнулся. Особенность стихов Григория Шувалова в том, что он прислушивается к человеку в себе и вот это человеческое нам передает:

**Начиналось все бойко и дерзко,  
а потом развалили страну.  
Из скупого советского детства  
я запомнил игрушку одну,**

**что стояла в ДК неизменно,  
фантастических звуков полна:  
в ней гудела ночная сирена  
и шумела морская волна.**

**Я пятнашку ей в брюхо закину,  
и прицелюсь, и кнопку нажму,  
и торпеда, разрезав пучину,  
со всей дури ударит в корму.**

**Я не ведал расстрельной свободы,  
потому не боялся ее —  
философские шли пароходы  
через горькое детство мое.**

**Я теперь научился толково,  
не теряя в сраженьи лица,  
направлять броневойное слово  
на людские умы и сердца.**

**Ни себя, ни других не жалея,  
научился судить обо всем,  
и стреляет моя батарея,  
как и в детстве, прицельным огнем.**

Четко обозначенные приметы времени, отношение автора к тому времени и к самому себе на удивление не воспринимаются как стихотворная публицистика — скорее, как желание осмыслить прошлое, которое мы потеряли, и понять, что все-таки осталось, что мы вынесли из той, советской эпохи.

Стихи Григория Шувалова целенаправленно спроецированы на прошлое,

без осмысления которого для него нет понимания настоящего. И если даже Шувалов в стихотворении фиксирует настоящее и проявляется поэзия мгновения, то она всегда опирается на осознание жизненного пути целиком:

**И иду я, дорогой влеком,  
Открестясь от унынья и грусти.  
Эта жизнь нам далась нелегко,  
И легко мы ее не отпустим.**

Эти стихи человечны, просты, ясны, но даже в некоторой их наивности есть своя изюминка — недаром стихи Григория Шувалова хорошо воспринимаются и сразу запоминаются, что является немаловажным достоинством на фоне сонма аморфных и «неорганизованных» стихов. Шувалов пишет логично, сюжетно, это типичная «говорная» лирика, но при этом — лирический разговор с читателем. И, я думаю, читатель оценит такой открытый разговор:

**Мне повезло, дела мои неплохи,  
Я на ногах уверенно стою,  
И поздний яд сомнительной эпохи  
Еще не тронул молодость мою.**

**Еще горит в груди огонь желанья,  
И я не сожалею ни о чем —  
Я испытал любовь и расставанье,  
И смерть стояла за моим плечом.**

**Я разлюбил бездушных и строптивых,  
Похожих на холодную зарю,  
Я счастлив был когда-то в этих ивах,  
А нынче с равнодушием смотрю.**

**Ушла вода, и обнажились мели,  
Притихли у причала корабли,  
И всё, что в этой жизни не сумели,  
Мы словно крошки со стола смели.**

\* \* \*

Иван Александровский тоже работает в русле «говорной» лирики, но его стихи скорее обращены к своему внутрен-

нему «я» и более сдержанны, чем стихи Григория Шувалова. Лирический герой Александровского сочувственно относится к людям и вообще ко всему живому, для него необходима и важна связь с прошлым, но это не привязанное к эпохе «советское» детство, а просто городское детство с живописными приметам времени, своей детской «мифологией», особым фокусом зрения — одновременно и ребенка, и взрослого. В умении мастерски совмещать прошлое и настоящее — особенность многих стихов Ивана Александровского:

...Мы ходили за околицу,  
за околицей — дракон,  
на скамейке дядьки молятся  
под стаканый перезвон,  
их завидев, бабки крестятся  
на пустые рукава,  
время вниз идет по лестнице,  
как солдатская вдова.  
Вниз, под улицу Вавилова,  
там, где райвоенкомат,  
где на стеночке акриловый  
улыбается солдат.

Иногда поэзия Ивана Александровского может показаться сдержанной и холодноватой, на самом деле она исполнена внутреннего напряжения:

Красота не ведает покоя,  
А судьба вершится на бегу.  
Я держусь за дерево рукою,  
Но остановится не могу.

В этот раз тебя зовут береза,  
Значит, и меня зовите так.  
Показав, откуда что берется,  
Почки распускается кулак.

Лирический герой не особо жалеет себя, не заикливается на собственных переживаниях, не ставит их во главу угла, но в то же время и не убирает из стихов — он здесь, он живет, он рисует не только портреты предыдущих поколений, но и свой «непарадный портрет» как живого

человека, нашего современника, ощущающего связь времен:

Суров непарадный портрет,  
Не верит ему отраженье,  
Но части мозаики лет  
Сжимают кольцо окруженья.  
<...>  
Вы словно большая семья,  
Где каждый другому любезен.  
Примите меня, если я  
Могу быть хоть чем-то полезен.

Пускай я зеленый пока,  
Вы в братство свое боевое  
Примите хоть сыном полка  
В конец бесконечного строя.

\* \* \*

Иначе происходит создание поэтической реальности в стихах Дарьи Ильговой — здесь авторское «я» становится центром мира, центром осмысления, переживания, страдания и сострадания, ведь даже пережитое близким человеком лирическая героиня Дарьи Ильговой принимает на себя, перевоплощаясь:

Руки, которые помнят, как обнимать.  
Я была тебе мать. Не такая плохая мать.  
И я здесь, мы идем вдоль дома,  
рука в руке,

Объясняем на неведомом языке,  
Обменявшись ролями.  
Отчаянно жжет внутри —  
Говори со мной, говори со мной, говори.

Вдоль малины и виноградника  
до скамьи —  
Еще слово, еще мгновение —  
вот скамья.

Собирая по косточкам жалкий  
скелет семьи,

Вспоминая, что мы семья.  
Вечная радость моя,  
Вечная боль моя.

В стихах Дарьи Ильговой есть гармоническая цельность уже сложившегося, почти потустороннего мира поэзии,

определяющей жизнь; потусторонним становится и настоящее, и прошлое, одно перетекает в другое, и возникает идея бессмертия, пугая и маня одновременно:

**Легим и замираем перед краем —  
У пропасти, где не нащупать дна.  
Нет на земле ни ада и ни рая —  
Поэзия и музыка одна.  
Как жаль, что мы судьбу не выбираем.  
Как жаль, что выбирает нас она.**

**Представь, что можно жить легко  
и славно —  
Творений не вымучивать в ночи,  
На десять лет вперед построить планы,  
Шить обувь на заказ, детей учить.  
Но не умею я молчать о главном,  
Пока иду и музыка звучит.**

Поэтический герой Дарьи Ильговой — человек, счастливый тем, что просто живет, он не осмысливает прошлое и крепко привязан к реальности своей наблюдательностью, самой принадлежностью к бытию.

**Под лай дворняг докуришь, осторожно  
Пойдешь вперед, ругаясь так и сяк.  
В ночи морозной, железнодорожной  
Тебя проводит черный товарняк.**

**На станции, где даже нет вокзала, —  
Дыра такая, господи прости, —  
Вновь сходятся и вновь берут начало  
Надежды непутевые пути.**

Просторечие здесь естественно перетекает в поэтическую напевность, и это говорит о цельности мировосприятия, которое гармонией преодолевает трагедию бытия.

\* \* \*

Мария Четверикова, словно продолжая предложенную Дарьей Ильговой тональность, пишет:

**Прожито. И держись за то, что  
прошлое становится вечным...**

Но здесь тема преобразуется и приобретает иное звучание — это жадное внимание к жизни, к ее подробностям, любовь к реальности и четко выраженная эмоциональность. Стихи Марии Четвериковой вообще радуют подвижностью, гибкостью лирического сюжета и «лица необщим выраженьем», при этом в текстах есть яркое живое чувство — мы сразу видим человека, который доверительно с нами беседует:

**Я остаюсь упрямой и стихийной,  
свободной и сжигающей мосты;  
стоят цветами в вазе мастихины,  
а значит, мне подвластны все цветы.**

Для меня это — поэзия преодоления и любви. Сейчас мало кто из молодых авторов по-настоящему, без оглядки на условно традиционные клише, без боязни — такие стихи пишет. Для этого нужна смелость. И в стихах Четвериковой смелость и энергия любви есть, но это не лежит на поверхности, а словно спрятано — лирическая героиня сначала приучается существовать в безвоздушном пространстве и лишь потом создает любовь, чтобы отдать ее миру:

**Ты точку не даешь поставить —  
закончить книгу.  
Я в ливне слышу неспроста ведь  
мотив из Грига:  
мне страшно годы ждать напрасно,  
горя украдкой...**

**Но, отпустив тебя, погаснуть  
страшней стократно!**

**Отбросив муть драматизаций,  
услышу в ливне,  
что Сольвейг, если разобраться,  
была счастливой.**

В этом и сила стихов Марии Четвериковой: любовь должна преобразовывать мир, как солнце топит лед. Не Бог приходит к нам — мы приходим к Богу...

**Ничего, что не мост, а мостки лишь:  
это просто — немного да малость.  
Знай, тоска: мое сердце покинешь —  
дозвониться бы только до мамы.**

**Ничего, если путь через пустышь:  
это просто — туда и обратно.  
Знай, беда: мое сердце отпустишь —  
дозвониться бы только до брата.**

**Ничего! Пожимая плечами,  
принимаю любую дорогу.  
Только б близких сберечь от печалей —  
домолиться бы только до Бога.**

\* \* \*

«Улица Бога» — запоминающееся название стихотворения, а его автор Дмитрий Ханин, один из самых интересных молодых поэтов современности, пишет в классической, традиционной, немного замедленной философской манере — так, что сразу вспоминаются стихи «тихих лириков» Владимира Соколова, Анатолия Передреева, Николая Рубцова.

...а я бы назвал эту улицу — улицей Бога.  
Хоть ангелов, даже на Пасху,  
пока не встречал.  
Здесь церковь снесли, а пивная —  
грешна и убога.  
Но первый фонарь от угла —  
как начало начал.

...и я бы развесил таблички —  
«Вот улица Бога».  
Пусть редким прохожим не так  
будет страшно идти...  
Пусть между акаций священной  
станет дорога  
И каждый бредущий почувствует  
ценность пути...  
А если в безумье отвергну наивность  
прогулок,  
То в паре кварталов отсюда куплю себе дом  
И жизнь проведу, ощущая,  
что мой переулок  
На улице Бога выходит последним  
окном...

Несмотря на некоторую абстрактность отдельных стихотворений, Дмитрий Ханин отличается от большинства молодых авторов верной интонацией и точным нравственным камертоном, его стихи наполнены музыкой. И музыка эта связана с осмыслением прошлого, его проживанием и переживанием:

**Я в ностальгии буднично тону,  
Смотрю на мир, живущий по старинке,  
И вижу, что отдельные снежинки  
Сливаются в большую белизну.**

Стихи Дмитрия Ханина не богаты подробностями и деталями быта прошлого или настоящего, но в них есть ощущение лирического героя — себя — в бытии, удивленное и свободное:

**Я пока еще, кажется, молод,  
Я иду в безмятежном краю,  
А на ветках сверкают жердёлы,  
Освещая дорогу мою.  
И при тихом спокойном сиянье  
Видно то, что не выявит свет, —  
Перешедшие в сны очертанья  
Отгоревших, как ягоды, лет.  
Я о прошлом тоскую нередко,  
А мечты о грядущем скупы —  
Мне бы стать плодоносной веткой  
У изгиба тернистой тропы.**

## 2.

Разумеется, современная молодая поэзия — это не только имена, названные сегодня, я всегда рада читать новые, живые и честные стихи других поэтов, которые стремятся прояснить суть современности и современного человека. И разумеется, в таких текстах, как и в любых настоящих стихах, хотелось бы видеть стремление постигнуть прошлое для познания будущего; есть поэзия настоящего и ускользающего момента, есть осознание трагичности человеческой жизни, приятие и неприятие современного

мира, овладение традиционным стихом — и разумное отталкивание от него, эксперимент с формой, не отказывающийся от сущности «изначального единственного Слова», как сказано в замечательном стихотворении Павла Великжанина «Дети девяностых», которое, пожалуй, стоит привести целиком:

**Ледяные батареи девяностых.  
За водой пройдя полгорода с бидоном,  
Сколько вытатишь из памяти заноз ты,  
Овдовевшая усталая мадонна?**

**Треск речей, переходящий в автоматный,  
Где-то там, в Москве, а тут — свои заботы:  
Тормозуху зажевав листком зарплатным,  
Коченели неподвижные заводы.**

**Наливались кровью свежие границы —  
Ну зачем же их проводят красным цветом?  
А подростки участники «Зарницы»  
Косяки крутили из бумажных вето.**

**Только детям все равно, когда родиться:  
Этот мир для них творится, будто снова.  
Сколько раз тебе и петься, и рыдаться,  
Изначальное единственное Слово?**

**Мы играли на заброшенном «Чермете»,  
В богадельне ржавых башенных атлантов,  
И не знали, что судьба кого-то метит  
Обжигающими клеймами талантов.**

**Мы росли, а небо падало, аля.  
Подставляй, ровесник, сбитые ладони!  
Вряд ли ноша эта будет тяжелее,  
Чем вода в замерзшем мамином бидоне.**

...На литературных семинарах и форумах всегда есть перспективные молодые поэты, но большинство из них пока все-таки находится в процессе роста — и мне интересно, как будут творчески развиваться Александр Тихонов, Александр Рухлов, Павел Великжанин, Александр Лошкарёв, Василий Нацентов, Елена Жамбалова. Интересно мне наблюдать, и как переплавляются традиции и влияния в стихах молодых авторов, соединяясь с их собственным опытом, с чистотой душевного движения, с сочувствием к другому человеку, с проникновением в судьбу современника, — у каждого создается свой индивидуальный узор, который можно было бы иной раз и покритиковать за нечеткость или декларативность, но все-таки главное в том, что интонация найдена и за стихами я вижу «внутреннего человека», опыт гармонизации современности, объединения временных пластов... Вижу я и влияние старших современников — это прекрасно, что у молодых писателей есть такие учителя, живой источник поэтического слова. Традиция не прерывается...





Анна ТРУШКИНА

## УВИДЕТЬ СВЕТ ТВОЙ...

*Рычкова-Закаблуковская А.*

*Птица сороказим: книга стихотворений. — Иркутск; издательская серия «Переplet», Иркутское региональное представительство Союза российских писателей, 2019.*

В стихах Алены Рычковой-Закаблуковской, родившейся в селе Баклаши, а сейчас живущей в Иркутске, — особый микроклимат. На страницах «Птицы сороказим» поэтическая вселенная не расширяется, как мы привыкли, растекаясь и расплываясь, а, подобно воронке, втягивает в себя мир, концентрирует его, уплотняет. Возникает ощущение, что Рычкова-Закаблуковская сознательно замыкается в дружественном пространстве, обживаясь там как в личном огороде-вертограде и временами даже намеренно ограничивая свой словарный запас — любое лишнее, чужеродное слово или образ, не принадлежащий этому миру, выдергиваются с корнем, выпалываются, как сорняк.

«Птица сороказим» — всего лишь вторая книга автора, но это уже солидный стостраничный сборник, состоящий из трех глав, с четкой структурой и внутренним сюжетом. Почти у каждого стихотворения есть название — стихи как будто раскладываются по полкам, по баночкам с наклейками...

\* \* \*

В главе «Детские клады», открывающей книгу, поэт рассказывает историю

своей жизни — с самого начала, со знакомства родителей и собственного рождения:

**Гудел наш дом. Плескался самогон.  
А как иначе — человек родился.**

И здесь же, на первых страницах, начинают звучать фольклорные мотивы, очень органичные для автора; они искусно вплетены во вполне современные тексты, благодаря чему даже время в этих стихах течет не остро и прямолинейно, а мягко, циклично. Думается, что у лирики Рычковой-Закаблуковской два начала, две глубинные основы — фольклорная и религиозная.

В книге есть очень любопытное для внимательного читателя стихотворение «Скорлупка» — своеобразный оммаж «Некрасивой девочке» Заболоцкого. Рискованное предприятие — сделать объектом вдохновения прекрасные, но уже достаточно затертые строки про «огонь, мерцающий в сосуде». Тем не менее Алена берется за эту задачу. В двух стихотворениях схожи портретные черты героев (рубашонка, мелкие рыжие кудряшки) и сюжет (дитя-уродец бежит за чужим велосипедом). Но есть и разница: у Заболоцкого чужое счастье обладания



Василии и — внезапно! — о шаолиньском монастыре и о шамане Будахе. Главный мотив этой части «Птицы сороказим» — чувство личной ответственности за связь ушедших и живущих, осознание и принятие своего посреднического долга:

**Несказанно по ним болею.  
И за них продолжаю жить.**

Третья глава, «Река», — самая личная часть книги. Здесь собрана любовная лирика. Она необычна прежде всего тем, что чувство внутренней гармонии, такое органичное для лирической героини, в этой главе иногда все-таки уступает место женской, земной боли. Но от своего предназначения не уйдешь, поэтому уже знакомые читателю бережное отношение, высокую заботу и материнскую жалость можно разглядеть и здесь:

**ничего-то ты не знаешь  
просветлен и обезличен  
словно в скорлупе яичной здесь  
в заснеженной глуши**

**я возьму тебя в ладони  
и по имени окликну  
прилеплю как мякиш хлебный  
к полой дудочке души**

Понятное многим женщинам неясное желание видеть в любимом мужчине сына тут проговаривается внятно, осознанно и без стыда. Конечно, исток этого чувства — народный, фольклорный:

**Солоны их макушки, млечные ушки.  
Пряны  
Переносицы и тонкие шейки.  
Это не их я пестую-поднимаю-  
над-собой-лелею.  
Это я тебя — маленького — колыбелю.**

Алена Рычкова-Закаблуковская — автор цельный, внутренне спокойный, мудрый, со светом в душе. Этой внутренней цельностью и спокойствием напитываешься, читая книгу. Значит, мир может быть светлым и гармоничным — нужно просто взглянуть на него глазами поэта.

Спасибо за это, «Птица сороказим».

---

**Мария БУШУЕВА**

## **ЧУВСТВО СЧАСТЬЯ**

*Габриелян В. Я поступила в университет: сборник рассказов. — М.: Издательский дом «Ромм и сыновья», 2019.*

«Я поступила! Мне хотелось кричать об этом, бегать вокруг огромных корпусов ереванского университета и обнимать каждого встречного», — такие радостные чувства испытывает героиня Виктории Габриелян. В университете ее ждет обожаемая биология, дружба, любовь с первого взгляда...

Казалось бы, симпатичный и светлый рассказ о студенческой поре, и вдруг — внезапное: «...никто еще не знает, что через несколько лет мы начнем войну, развалим страну... Что жить мы будем в разных странах и даже на разных континентах». Вся семья героини после распада Союза эмигрирует из Армении. Лишь

любимый двадцативосьмилетний муж останется на родине — «навсегда останется там, на старом кладбище в деревне Арынч», где «стоят древние хачкары, а пыльные серые могилы покрыты замшелыми базальтовыми камнями — вечными, как армянское горе».

Лучшие рассказы Виктории Габриелян — автобиографичны. Их героев читатель, без сомнения, воспримет как близких автору людей. Там, где писательница от личного опыта несколько отходит, энергия чувства слабее, но сюжетные линии историй все равно интересны, поскольку основаны опять же на личных наблюдениях.

Виктории Габриелян удалось не только воссоздать страницы памяти, но и ненавязчиво показать очень существенное малоисследованное явление — смену социальных и психологических приоритетов у эмигрантов. Констатирует писательница и смену представлений этических, поднимая этот вопрос в рассказе «Шпионские страсти»: «Если бы вы спросили моего деда — ветерана Великой Отечественной, то он однозначно назвал бы вашего отца предателем. И мой отец — полковник медслужбы, лечивший советских солдат в Афганистане, думаю, тоже сказал бы: предатель. <...> Задай вы свой вопрос моим дочери и зятю, — продолжала я, — то, во-первых, они бы спросили, кто такие власовцы, во-вторых, кто такие денкинци. Для них все эти судьбы и человеческие трагедии, как для нас с вами — Варфоломеевская ночь. Шпионаж в их представлении, это когда воруют секреты корпораций».

Бывшее «свое» и бывшее «чужое» поменялись местами, изменяя и людей. Чаще всего перемена требовала сознательного усилия: «Она давно пыталась многое стереть из своей жизни, в том числе и привычку думать по-русски. Желала полностью раствориться в новой стране, языке и культуре. Удавалось плохо, но она старалась» («Закон буме-

ранга»). Память удается стереть только в том случае, если человек стар и смертельно болен: «Мама живет со мной и американским зятем в большом доме под Вашингтоном. Она давно потерялась в пространстве и во времени. Ее память коротка, как грибной дождик...»

Память самой рассказчицы — бесконечный дождь. Со страниц коротких рассказов встают и погибшие во время землетрясения в Ленинакане («Клубника»), и убитые во время Карабахского конфликта («Гандзасар»), и жертвы горбачевских реформ («Одиночество — сволочь»). Но, несмотря на трагические события, которых в рассказах очень много, в книге присутствует и юмор, ведь это вечная пара — армянская боль и армянский юмор. Порой рассказы Виктории Габриелян начинают напоминать прозу Сергея Довлатова («Магарыч», «Хорошим парням В. и А.» и др.). Нередки в рассказах и параллели с прекрасными советскими комедиями «Иван Васильевич меняет профессию», «Не горюй!»: ассоциативный процесс отсылает героиню обратно, в годы советской юности. И конечно, память рассказчицы невольно воссоздает бесценную картину того, что ставшие американцами героини рассказов потеряли: удивительную дружественность ереванских соседей, независимо от их национальности, искреннюю взаимопомощь, открытую эмоциональность, армянское гостеприимство и поражающее американцев бескорыстное хлебосоличество: «Джефф шепотом по-английски спрашивал: “Мы должны им заплатить?” Я ужасалась: “Ты что?! Ты их обидишь”.

<...> Родственники пили и не верили:

— И ты никогда их раньше не встречал?

— Нет! Мало того — и Виктория не встречала!» («Гандзасар»).

Чемоданчик с инструментами врачей, мужа и жены (родителей главной героини

книги), стоял всегда в прихожей квартиры, чтобы в любое время дня и ночи они могли мгновенно собраться и поспешить на помощь заболевшему, — это была не обязанность, а душевная потребность: помогать страждущему. А вот позиция другого медика: «Медицина — это большой бизнес!» Чемоданчик с инструментами — это еще советский Ереван, а медицина как бизнес — это уже штат Вирджиния.

Нет, автор никаких оценочных акцентов не расставляет, и, разумеется, не все так однозначно, везде есть люди, способные сострадать, но ей, как человеку очень наблюдательному, удается точно провести границу между мирами — потерянным и обретенным, и более того, возможно, случайно, с помощью дара психолога, вывести одну из главных формул, благодаря которой США — процветающая страна: героиня рассказа говорит мужу-американцу, что ядерная бомбардировка — это преступление против человечества, а «Джефф неизменно отвечает: “Если я не буду доверять правительству страны, в которой живу, и верить в правильность их решений, то, пойми, разрушится весь мир моих ценностей, морали и понятий. А зачем мне это нужно?”» («Гандзасар»). Невольно напрашивается сравнение с противоположным российским менталитетом...

Очень тонко пишет автор и о религии: «Грузинские студентки... с ликами

мадонн, — вдруг сняли повязанные вокруг шеи шали и покрыли ими головы. И только потом вошли в храм». И героине рассказа «стало стыдно за свои непокрытые волосы, захотелось склонить голову, стать на колени перед прелестными голосами и ангельской музыкой» («Черная магия»).

Виктория Габриелян поставила перед собой сложную задачу, о которой говорит искренне и просто: «А я, устраиваясь в своем полукресле перед монитором, записываю историю нашей семьи, нашей страны и ваши истории, дорогие читатели». И ей действительно удалось рассказать о самых обыкновенных людях, «чьи жизни не изменили ни политику, ни экономику ни одной страны», а «идеи не стали революционными. Побывав в жерновах трех эпох, они выжили и даже счастливы».

Как выжили? Возможно, косвенный ответ в рассказе «Постскрипtum» дает американский врач: «Тот, кто занимается медициной и при этом не верит в Бога — тот идиот. Сколько раз я видел людей в совершенно безнадежном состоянии, а они каким-то чудом выкарабкивались».

И чувство счастья — счастья обычной мирной жизни, витающее над страницами книги и смягчающее боль памяти о разрушенном прошлом, мне кажется, передается и читателям...



Евгений ПРОКОПОВ

## МИР СВЕТА, ТЕПЛА И ДОБРОТЫ

Ушел из жизни старейший художник Новосибирска, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Копаев. Выдающийся мастер одухотворенного лирического пейзажа, светлый и солнечный человек, он неизменно привлекал к себе людей. Благодаря его искусству мы глубже ощущаем радость и полноту жизни родной земли и ее очарование.

### Родная улица

С тех пор как в 1935 г. десятилетний Володя Копаев приехал с родителями из алтайского провинциального городка Славгорода в бурно растущий Новосибирск, жизнь его неразрывно была связана с Железнодорожным районом.

Здесь, на улице Обдорской, они жили.

Здесь в изокружке при Доме пионеров он получил первые навыки рисования, руководила кружком великолепная Вера Федоровна Штейн, старейший скульптор Новосибирска.

Отсюда в мае 1943 г. он был призван со школьной скамьи в ряды Красной армии. В мае 1950 г., после демобилизации, поступил в Костромское художественное училище, окончив которое, он возвратился в Новосибирск с молодой женой Эммой.

Более тридцати лет супруги Копаевы работали в школах Железнодорожного района: в девятой, сорок первой, восьмой, сто тридцать седьмой, в школе рабочей молодежи. Сотни и тысячи ребятшек

учились у них рисованию и черчению. Во время замеченные и развитые способности помогли некоторым ученикам Копаевых стать художниками, архитекторами, дизайнерами.

Молодые педагоги получили квартиру на улице Владимировской. Копаевы до сих пор здесь живут, считая Железнодорожный район своей малой родиной. Владимир Иванович всегда умел видеть поэзию в повседневном и с особенным чувством писал Владимировскую улицу и Владимировский спуск с их домишками, деревьями, детьми, сугробами и лужами...

Шло время. На месте домов-развалюх стали подниматься новые многоэтажные здания Прибрежного жилмассива. Копаев с интересом наблюдал за ходом строительства. Новые урбанистические мотивы появились в его творчестве и добавили своеобразия в привычный облик Копаева-пейзажиста.

### Начало пути

Страсть к рисованию возникла у Володи в ранней юности. Призвание вело его по жизни. Показателен его ранний рисунок «Думка», на котором солдатик, в чертах которого легко узнать самого автора, уносится мечтами в мастерскую, к мольберту, к мирной творческой жизни.

Мечты стали претворяться в жизнь в период учебы в Костромском училище, верном традициям русской реалистической школы.



Шли годы. Ставшие одно время привычными упреки в незатейливости копаевских сюжетов сами собой отпали. Стало понятно, что это осознанная позиция художника, верящего в непреходящую ценность каждого мига жизни, в чудесную целительную силу природы. «Красота рассеяна всюду, задача художника ее увидеть» — с этим творческим кредо живописца Николая Ромадина мог бы согласиться Копаев.

Хотя напрасны попытки жестко «привязать» копаевское творчество к каким-либо предшественникам, корням, истокам, можно попробовать поискать их в богатом инструментарии художника. Заметно влияние художников барбизонской школы, мотивы и приемы импрессионистов, отзвуки искусства передвижников; вспоминаются Левитан, Саврасов и Пластов, Грабарь и Юон, Крымов и Рылов.

## Мастер

Миновала пора ученичества, подражаний. Индивидуализировалась художественная манера. Владимир Копаев стал признанным мастером лирического пейзажа.

С 1955 г. он начинает участвовать в профессиональных вернисажах. В. И. Копаев — член Союза художников России, участник более 90 выставок — областных, зональных, региональных, международных, персональных. Его произведения есть в различных музеях и коллекциях.

Незаурядный творческий багаж, виртуозная техника, принцип намеренной эстетизации остановленного мгновения позволили В. Копаеву в определенный момент перейти к ненавязчивому философскому осмыслению бытия. Изначально не слишком склонный к излишним умствованиям, философским обобщениям, Владимир Копаев с годами стал тяготеть к более глубокому поэтическому осмыслению явления, образа, к более емкой живописной метафоре.

То, что раньше ставилось в упрек художнику, теперь стало вроде бы неоспоримым достоинством: неангажированность таланта, отсутствие конъюнктурных расчетов. Мастер пытается ставить и решать задачу поэтизации быденной жизни простого человека; темами его картин становятся задушевная песня на полевом стане, вечер на тихой деревенской улочке, чаепитие на дачной веранде. И это не просто созерцание стороннего наблюдателя, а психологическое проникновение: Владимир Копаев был влюблен в изображаемое им, он пытался передать пластическими живописными средствами его ценность. Весь профессиональный багаж, приемы, навыки в передаче световоздушной среды, тональных соотношений — все вольно или невольно подчинялось этой сверхзадаче. Оттого так эмоционально наполнены полотна Копаяева.

## Непростой жанр

Стоит подчеркнуть, что сложность пейзажного жанра часто недооценивается. Принято считать, что половина успеха портрета — фотографическое сходство; тематическую картину «вывезет» значимость поднятой темы, актуальность ситуации. А в пейзажном жанре нужно конкретными, вполне материальными средствами передать *состояние*, то есть некую эфемерную категорию.

Владимир Копаев даже в малых по размеру работах, этюдах находил способы адекватной передачи света, сумерек, теней, рефлексов, темноты.

С большим живописным мастерством, трепетным, мерцающим рефлексами мазком написаны им картины переходных состояний: улицы весеннего города, лунные зимние ночи, грозовые тучи.

Более умиротворенная манера, иное цветовое решение отличают работы, где в гаснущих, приглушенных тонах изображает художник речные просторы, песчаные берега, безоблачное небо, лесные дали, убегающие вдаль проселки.

С самозабвенным упоением, с радостным чувством обретения истинного цвета писал Копаев разнотравье, залитые солнцем рощи, полевые цветы, детишек на берегу, цветущие яблони и сирень, мягкий трепет березовой листвы.

Городские сценки, уличные зарисовки пленяют мимолетной непринужденностью, мягким дружелюбным юмором и оптимизмом.

Для усиления эффектов часто применяется художником прием контражурного освещения, варьируется яркость и нарядность цветового строя. Обычную копаевскую мажорность колористической гаммы создает сочетание голубых тонов неба, белых облаков, теплой зелени травы и листьев, разноцветья полевых цветов, золотисто-охристых тонов «пляжных» картин. Картины словно пронизаны солнечным светом, и это создает оптимистическое настроение, атмосферу радости.

### Искусство возможного

Жизнь творческого человека — искусство возможного.

Никто не мог упрекнуть Владимира Копая в односторонности, которая неизбежно возникает при узкой специализации художника. Пробовал Владимир Иванович работать в газетах. «Вечерний Новосибирск» и «Советская Сибирь» охотно печатали его графические зарисовки из жизни горожан, уличные сценки. С увлечением он брался за иллюстрирование некоторых любимых книг, таких, в частности, как «Вечный зов» А. Иванова, рассказы А. Чехова.

Теперь смешны укоры, которые раньше частенько доводилось слышать художнику Копая. То, что якобы проходит он мимо жизни, не замечает социалистической действительности, нови преобразований, а всё у него березки, рощицы, речушки, детишки. Где трудовые будни села, где трактор или комбайн на тучной колхозной ниве? Такое непонимание особенностей его индивидуального видения

мира приносило много боли Владимиру Ивановичу.

Тонкий лирик сибирского пейзажа достиг расцвета своего таланта в 1980—1990-е гг., когда ведущей темой художника стало торжество жизни, чувственная красота бытия.

Копая был увлечен пленэром, стремился разглядеть, понять и передать ритмы и состояния сибирской природы, ее неповторимость и особенности. У него особенно многочисленны пейзажи пригородов Новосибирска, окрестностей села Мочище, берегов Оби и Обского водохранилища. Как правило, сочетание тонов в его речных пейзажах создает тонкий и очень выразительный живописный эффект. Поэтичности прибавляют силуэты юных рыбачков, лодок у берега, белых теплоходов вдали.

Возможно, сосредоточившись на пейзажном жанре, Копая лишил нас многого. После дипломной работы «На колхозном собрании», защищенной с хорошей оценкой, не довелось художнику поработать над масштабными полотнами. Работа над тематической картиной плохо совмещалась с рутинной ежедневного педагогического труда в школе.

Умение выстроить композицию, придать героям живую силу достоверности, полнокровность жизненной конкретности — все эти черты художественного дарования Владимира Копая лишь изредка применялись на практике. Но не пропали даром и эти умения. Некоторые произведения его хотя и не дотягивают по жанровым признакам до полноценной тематической картины, но вполне могут рассматриваться как своеобразные живописные новеллы, в которых с необычайным теплом и симпатией повествуется о повседневной жизни простых людей. Таковыми являются «Вечер на даче», «С танцев», «На пляже», «Концерт на полевом стане», «У теплой водички», «Перед обедом».

Владимир Копая всю жизнь хранил верность реалистическому искусству. И активно его пропагандировал своим

творчеством. «За сохранение традиций реалистического искусства» — с такой формулировкой обычно награждали его на всех вернисажах последних лет.

### **Блажен незлобивый художник...**

В 1970 г. Владимира Копаяева не приняли в Союз художников РСФСР.

«Может быть, это и к лучшему», — размышляла его жена, сподвижница и единомышленница Эмма Константиновна, поясняя, что при мягком и уступчивом характере не смог бы он удержаться от навязчивых соблазнов художондических застолий с коллегами.

Обида в душе художника, наверное, оставалась: как-никак участвует с 1955 г. в выставках профессиональных художников, имеет теплые характеристики и рекомендации от известных новосибирских мастеров (А. Чернобровцева, Г. Качальского, В. Хлынова).

Но жизнь продолжалась. Работал в школе, в редкие свободные часы ездил на этюды. Участвовал в выставках, печатался в газетах.

В 1980-х гг. была еще одна попытка вступления в творческий союз, опять безуспешная. Художник замкнулся в себе. Появлялись порой сомнения в профессионализме, грустные думы о неверно выбранной стезе. Только вера родных и близких людей, искренняя любовь многочисленных поклонников придавали сил и помогли преодолеть кризис.

Копаяев продолжал работать. Уровень мастерства все рос. Работы его охотно покупались во всех салонах Новосибирска и разлетались по миру: во Францию, США, Италию, Испанию, Швейцарию.

Шли годы. Положение становилось анекдотичным: один из лучших живописцев Новосибирска — не член профессионального союза художников!

На представительной выставке в Новосибирском художественном музее, посвященной 70-летию В. И. Копаяева, выступал давний знакомец Владимира

Ивановича и одноклассник по Костромскому училищу. Он искренне, казалось, удивлялся, что такой мастер, как Копаяев, — до сих пор не член Союза художников. Единодушный гул одобрения пронесся по залам.

Но тут к микрофону подошел художник-монументалист Александр Чернобровцев, бескомпромиссный и решительный:

— Не вы ли дважды категорически выступали против его приема в Союз и сумели убедить правление, что Копаяев — непрофессиональный художник? Не стыдно вам удивляться?

История имела продолжение. Это было в 1996 г., на заре моего собирательства. Я сидел в мастерской художника Геннадия Крапивина и с энтузиазмом неопита хвастался своей фотоколлекцией. Вдруг из кучи фотографий он решительно отделил три-четыре.

— Это кто?

— Копаяев!

Геннадий Никитович перебирал цветные фотографии с каким-то любовным удивлением.

— Мы виноваты перед ним. Обидели человека. Срочно приведите его ко мне. Надо его принимать в Союз. Поздно, конечно. Но лучше поздно...

В тот же день я отправился к Копаяевым. Владимир Иванович три раза заставил меня пересказать разговор с Крапивиним, все переспрашивал, качал головой. Но Эмма Константиновна взяла у меня бумажку с телефоном мастерской Геннадия Никитовича и заверила: созвонимся и пойдем! Скоро Владимира Ивановича Копаяева приняли в Союз художников России...

Зимой 2020 года, в самый разгар трескучих морозов, в последний день января ему исполнилось девяносто пять лет. А в марте закончился его земной путь. Но душа художника, весь светлый мир его большого таланта по-прежнему распахнуты для каждого из нас.

## РЫЦАРЬ КНИГИ И ВОЛЬНОЙ ОХОТЫ

Генеральный директор издательства «Вече», управляющий вице-президент Российского книжного союза, секретарь правления Союза писателей России, кавалер орденов Дружбы и Почета... И все это — об одном человеке, Леониде Леонидовиче Палько, который в июне нынешнего года отмечает свое 60-летие.

Родился он в Убинском районе Новосибирской области, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, был на комсомольской работе, но главное дело его жизни — создание издательства «Вече», которому скоро исполнится тридцать лет. За эти годы издательство выпустило множество книг историко-патриотической направленности, открыло десятки талантливых авторов, многие книжные серии «Веча» стали любимыми у российских читателей.

И произошло это, прежде всего, благодаря неустанным трудам Л. Л. Палько, человека неумной энергии и уникальной работоспособности. Он успевает везде: и в повседневной издательской деятельности, и в общественной работе в Российском книжном союзе, и во множестве поездок и встреч с читателями, на которых всегда дарит книги, — в Сирии, на российской военной базе, на Новой Земле, в Донбассе и в Хакасии. И при этом никогда не забывает о родной сибирской земле: только за последнее время сельским библиотекам Убинского и Здвинского районов было передано книг на несколько миллионов.

А еще Леонид Леонидович — один из лучших охотников России. Охота — его главная страсть. Об этом он даже написал книгу, а еще создал охотничье хозяйство в Рязанской области, а в родном сельхозинституте (теперь Новосибирский аграрный университет) на кафедре охотоведения на свои средства полностью оборудовал именную аудиторию, где периодически проводит встречи и читает студентам лекции.

Что пожелать такому человеку?

Только лишь одного — и дальше успешно и неумолимо шагать по широкой жизненной дороге, оставаясь верным рыцарем книги и вольной охоты.

*Редакция журнала «Сибирские огни»*



**Л. Л. Палько вручает медаль Российского книжного союза директору Новосибирской государственной областной научной библиотеки С. А. Тарасовой. Февраль 2020 г.**



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Беличенко Юрий Николаевич** (1939—2002) родился в с. Манев Черкасской области. Окончил Харьковский политехнический институт, Литературный институт им. А. М. Горького, Донецкое высшее военно-политическое училище. Был спецкором газеты «Красная звезда». Награжден серебряной медалью имени А. А. Фадеева, лауреат премии имени М. Ю. Лермонтова, премий журналов «Огонек» и «Москва». Жил в Москве.

**Бушуева (Китаева) Мария** — прозаик, критик, автор нескольких книг, многочисленных публикаций в журналах и сетевой периодике. Окончила Высшие литературные курсы и аспирантуру Литературного института им. А. М. Горького. Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2017), вошла в лонг-лист международной премии им. Ф. Искандера (2016). Член Союза писателей России. Живет в Москве.

**Гончаров Евгений Петрович** родился в 1955 г. в Благовещенске. Окончил Благовещенский коммунально-строительный техникум и факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Работал в газетах Амурской области. Три года жил и работал в Китае в качестве свободного журналиста. Публиковался в журналах «Юность», «Дальний Восток» и др. Автор книги «“Злой” дворник». Живет в Благовещенске.

**Кононов Дмитрий Алексеевич** родился в 1988 г. в Омске. Окончил Омский государственный университет. Работает преподавателем перевода. Финалист Национальной премии «Русские рифмы. Русское слово» (2019). Живет в Омске.

**Лаптев Александр Константинович** родился в 1960 г. в Иркутске. Окончил Иркутский государственный университет. Работал инженером на заводе, охранником в частной охранной фирме, редактором книжного издательства. Публиковался в журналах «Роман-газета», «Юность», «Литературная Россия» и др. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.

**Мартынова (Данилова) Елизавета Сергеевна** родилась в 1978 г. в Саратове. Окончила филфак Саратовского государственного университета. Кандидат филологических наук. С 2008 г. по настоящее время — главный редактор журнала «Волга — XXI век». Публиковалась в журналах «Наш современник», «Подъем», «Русское эхо» и других изданиях. Член Союза писателей России. Живет в Саратове.

**Минина Наталья Алексеевна** родилась в 1975 г. в Алтайском крае. Окончила исторический факультет Барнаульского государственного педагогического университета. Старший научный сотрудник ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей». Автор статей по истории Ново-Николаевска. Живет в Новосибирске.

**Михеева Светлана** родилась в 1975 г. в Иркутске. Окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик, эссеист. Автор нескольких книг

прозы и стихов. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Волга», «Сибирские огни», «Юность» и др. Участник ряда литературных фестивалей. Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

**Прокопов Евгений Васильевич** родился в 1953 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский институт народного хозяйства. Автор семи книг (проза, очерки, пьесы). Публиковался в журнале «Сибирские огни». Член Союза писателей России, Творческого союза художников России. Живет в Новосибирске.

**Радашкевич Александр Павлович** родился в 1950 г. в Оренбурге, вырос в Уфе. В 70-е годы жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в 1978 г. в США, работал в библиотеке Йельского университета (Нью-Хейвен). В 1984 г. переехал в Париж, где работал редактором в еженедельнике «Русская мысль». В 1991—1997 гг. был личным секретарем великого князя Владимира Кирилловича и его семьи. Автор 12 книг поэзии, прозы и переводов. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века, официальный представитель Международной Федерации русскоязычных писателей во Франции. Стихи переведены на английский, французский, немецкий, сербский, болгарский и арабский языки. Живет в Париже.

**Ранская Алла Геннадьевна** родилась в 1961 г. в Иркутске. По образованию врач — гигиенист-эпидемиолог. Возглавляет благотворительный «Фонд П. П. Ершова» в Калифорнии. Работает волонтером в Музее-архиве русской культуры при Русском центре в Сан-Франциско. Автор ряда публикаций в «Новом журнале», «Художественном вестнике», газете «Русская жизнь» и др. Живет в г. Санта-Круз (Калифорния, США).

**Рычкова-Закабуковская Алена** родилась в 1973 г. в с. Баклаши Иркутской области. Окончила Сибирскую академию права, экономики и управления, по образованию психолог. Публиковалась в журналах «Юность», «Байкал» и др. Автор двух книг поэзии. Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

**Трушкина Анна Васильевна** родилась в Иркутске. Окончила филологический факультет и аспирантуру Иркутского государственного университета, защитила кандидатскую диссертацию в Литературном институте им. А. М. Горького по творчеству Георгия Иванова. Публиковалась в иркутской периодике, альманахе «Зеленая лампа», журналах «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Дружба народов», «Знамя». Живет в Москве.

**Яранцев Владимир Николаевич** родился в 1958 г. в Калининне. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки в Сибири», «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.

# СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [sibirskieogni.pf](http://sibirskieogni.pf)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 21.05.2020. Дата выхода № 6 за 2020 г. в свет 27.06.2020.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.